

"Кавалерист-девица"

[Н. А. Дурова](#)

Текстовый материал, заимствованный у <http://www.museum.ru/museum/1812/Library/durova/index.htm> перевел в формат *pdf В. Цибанов для размещения на сайте <http://tsibanof.narod.ru/>
Дополнительно рекомендуется посетить сайт http://yro.narod.ru/bibliotheca/gen/DUROVA/Durova_N.html

Надежда Андреевна Дурова (1783-1866) - человек героической биографии, первая женщина-офицер. Жизнь ее воспроизведена в ряде произведений русской дореволюционной и советской литературы. Н. Дурова была талантливой писательницей, творчество которой высоко ценил А.С. Пушкин, В.Г. Белинский. В книгу включены ее автобиографические записки «Кавалерист-девица», печатающиеся здесь полностью.

ОГЛАВЛЕНИЕ

«Кавалерист-девица»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

[Детские лета мои](#)

[Записки](#)

[Возвращение войск в Россию](#)

[Первый приезд мой в столицу](#)

[1808 год](#)

[Бал](#)

[Отпуск](#)

[Командировка. 1810 год](#)

[Поездка в Петербург](#)

[Перевод в другой полк](#)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

[Война 1812 г.](#)

[Фуражировка](#)

[Рассказ татарина](#)

[1813 год](#)

[Ночь в Богемии](#)

[1814 год](#)

[Поход обратно в Россию](#)

[Дуэль](#)

[1815 год](#)

[Две недели в отпуску. 1816 год](#)

[Поездка на Ижевский оружейный завод](#)

Дополнение к «Кавалерист-девице»

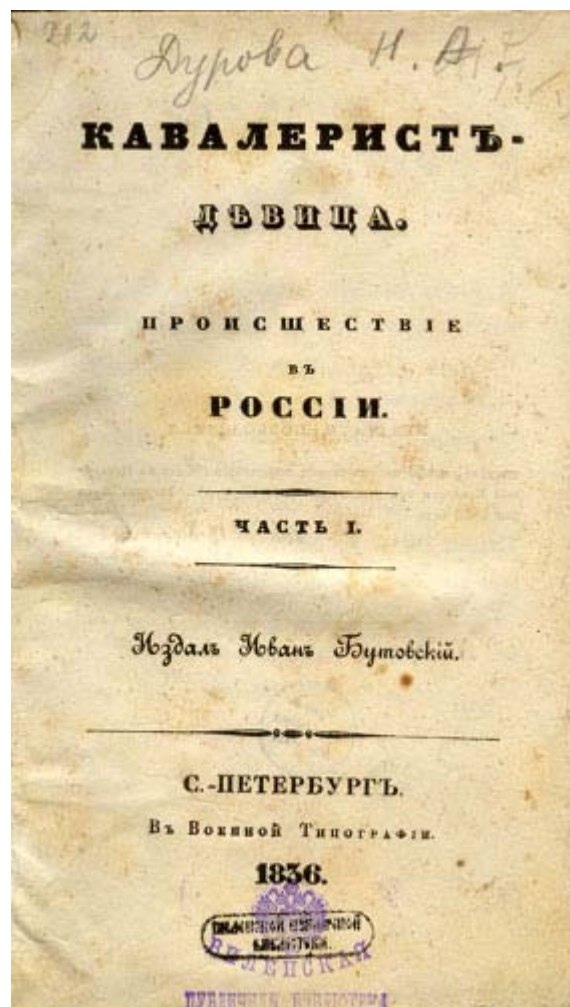
[Некоторые черты из детских лет](#)

[Дон](#)

[Гудишки](#)

[Домбровица](#)

[Литературные затеи](#)



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСКИЕ ЛЕТА МОИ



Мать моя, урожденная *Александровичева*, была одна из прекраснейших девиц в Малороссии. В конце пятнадцатого года ее от рождения женихи толпою предстали искать руки ее. Из всего их множества сердце матери моей отдавало преимущество гусарскому ротмистру *Дурову*; но, к несчастью, выбор этот не был выбором отца ее, гордого властолюбивого пана малороссийского. Он сказал матери моей, чтоб она выбросила из головы химерическую мысль выйти замуж за *москаля*, а особливо военного. Дед мой был величайший деспот в своем семействе; если он что приказывал, надобно было слепо повиноваться, и не было никакой возможности ни умиловать его, ни переменить однажды принятого им намерения. Следствием этой неумеренной строгости было то, что в одну бурную осеннюю ночь мать моя, спавшая в одной горнице с старшею сестрою своею, встала тихонько с постели, оделась, и, взяв салоп и капор, в одних чулках, утаивая дыхание, прокралась мимо сестриной кровати, отворила тихо двери в залу, тихо затворила,

проворно перебежала ее и, отворя дверь в сад, как стрела полетела по длинной каштановой аллее, оканчивающейся у самой калитки. Мать моя поспешно отпирает эту маленькую дверь и бросается в объятия ротмистра, ожидавшего ее с коляскою, запряженною четырьмя сильными лошадьми, которые, подобно ветру, тогда бушевавшему, понесли их по киевской дороге.

В первом селе они обвенчались и поехали прямо в Киев, где квартировал полк *Дурова*. Поступок матери моей хотя и мог быть извиняем молодостию, любовью и достоинствами отца моего, бывшего прекраснейшим мужчиною, имевшего кроткий нрав и пленительное обращение, но он был так противен патриархальным нравам края малороссийского, что дед мой в первом порыве гнева проклял дочь свою.

В продолжение двух лет мать моя не переставала писать к отцу своему и умолять его о прощении; но тщетно: он ничего слышать не хотел, и гнев его возрастал, по мере как старались смягчить его. Родители мои, потерявшие уже надежду умиловать человека, почитавшего упорство характерностью, покорились было своей участи, перестав писать к неумолимому отцу; но беременность матери моей оживила угасшее мужество ее; она стала надеяться, что рождение ребенка возвратит ей милости отцовские.

Мать моя страстно желала иметь сына и во все продолжение беременности своей занималась самыми обольстительными мечтами; она говорила: «У меня родится сын, прекрасный, как амур! я дам ему имя *Модест*; сама буду кормить, сама воспитывать, учить, и мой сын, мой милый *Модест* будет утешою всей жизни моей...» Так мечтала мать моя; но приближалось время, и муки, предшествовавшие моему рождению, удивили

матушку самым неприятным образом; они не имели места в мечтах ее и произвели на нее первое невыгодное для меня впечатление. Надобно было позвать акушера, который нашел нужным пустить кровь; мать моя чрезвычайно испугалась этого, но делать нечего, должно было покориться необходимости. Кровь пустили, и вскоре после этого явилась на свет я, бедное существо, появление которого разрушило все мечты и ниспровергнуло все надежды матери.

«Подайте мне дитя мое!» — сказала мать моя, как только оправилась несколько от боли и страха. Дитя принесли и положили ей на колени. Но увы! это не сын, прекрасный, как амур! это дочь, и дочь *богатырь*!! Я была необыкновенной величины, имела густые черные волосы и громко кричала. Мать толкнула меня с коленей и отвернулась к стене.

Через несколько дней маменька выздоровела и, уступая советам полковых дам, своих приятельниц, решила сама кормить меня. Они говорили ей, что мать, которая кормит грудью свое дитя, через это самое начинает любить его. Меня принесли; мать взяла меня из рук женщины, положила к груди и давала мне сосать ее; но, видно, я чувствовала, что не любовь материнская дает мне пищу, и потому, несмотря на все усилия заставить меня взять грудь, не брала ее; маменька думала преодолеть мое упрямство терпением и продолжала держать меня у груди, но, наскуча, что я долго не беру, перестала смотреть на меня и начала говорить с бывшею у нее в гостях дамою. В это время я, как видно, управляемая судьбою, назначавшею мне *солдатский мундир*, схватила вдруг грудь матери и изо всей силы стиснула ее деснами. Мать моя закричала пронзительно, отдернула меня от груди и, бросив в руки женщины, упала лицом в подушки.

«Отнесите, отнесите с глаз моих негодного ребенка и никогда не показывайте», — говорила матушка, махая рукою и закрывая себе голову подушкою.

Мне минуло четыре месяца, когда полк, где служил отец мой, получил повеление идти в Херсон; так как это был домашний поход, то батюшка взял семейство с собою. Я была поручена надзору и попечению горничной девки моей матери, одних с нею лет. Днем девка эта сидела с матушкою в карете, держа меня на коленях, кормила из рожка коровьим молоком и пеленала так туго, что лицо у меня синело и глаза наливались кровью; на ночлегах я отдыхала, потому что меня отдавали крестьянке, которую приводили из селения; она распеленывала меня, клала к груди и спала со мною всю ночь; таким образом, у меня на каждом переходе была новая кормилица.

Ни от переменных кормилиц, ни от мучительного пеленанья здоровье мое не расстраивалось. Я была очень крепка и бодра, но только до невероятности криклива. В один день мать моя была весьма в дурном нраве; я не дала ей спать всю ночь; в поход вышли на заре, маменька расположилась было заснуть в карете, но я опять начала плакать, и, несмотря на все старания няньки утешить меня, я кричала от часу громче: это переполнило меру досады матери моей; она вышла из себя и, выхватив меня из рук девки, выбросила в окно! Гусары вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей и подняли меня всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни; они понесли было меня опять в карету, но батюшка подскочил к ним, взял меня из рук их и, проливая слезы, положил к себе на седло. Он дрожал, плакал, был бледен, как мертвый, ехал не говоря ни слова и не поворачивая головы в ту сторону, где ехала мать моя. К удивлению всех, я возвратилась к жизни и, сверх чаяния, не была изуродована; только от сильного удара шла у меня кровь из рта и носа; батюшка с радостным чувством благодарности поднял глаза к небу, прижал меня к груди своей и, приблизясь к карете, сказал матери моей:

«Благовари бога, что ты не убийца! Дочь наша жива; но я не отдам уже ее тебе во власть; я сам займусь ею». Сказав это, поехал прочь и до самого ночлега вез меня с собою; не обращая ни взора, ни слов к матери моей.

С этого достопамятного дня жизни моей отец вверил меня промыслу божию и смотрению флангового гусара *Астахова*, находившегося неотлучно при батюшке как на квартире, так и в походе. Я только ночью была в комнате матери моей; но как только батюшка вставал и уходил, тотчас уносили меня. Воспитатель мой Астахов по целым дням носил меня на руках, ходил со мною в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, и я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали; вечером он приносил меня к музыкантам, игравшим пред зарею разные штучки; я слушала и, наконец, засыпала. Только сонную и можно было отнесть меня в горницу; но когда я не спала, то при одном виде материной комнаты я обмирала от страха и с воплем хваталась обеими руками за шею Астахова. Матушка, со времени воздушного путешествия моего из окна кареты, не вступалась уже ни во что, до меня касающееся, и имела для утешения своего другую дочь, точно уже прекрасную, как амур, в которой она, как говорится, души не слышала.

Дед мой, вскоре по рождении моем, простил мать мою и сделал это весьма торжественным образом: он поехал в Киев, просил Архиеерея разрешить его от необдуманной клятвы не прощать никогда дочь свою и, получив пастырское разрешение, тогда уже написал к матери моей, что прощает ее, благословляет брак ее и рожденное от него дитя; что просит ее приехать к нему, как для того, чтобы лично принять благословение отца, так и для того, чтобы получить свою часть приданого. Мать моя не имела возможности пользоваться этим приглашением до самого того времени, как батюшке надобно было выйти в отставку; мне было четыре года с половиною, когда отец мой увидел необходимость оставить службу. В квартире его, кроме моей кровати, были еще две колыбели; походная жизнь с таким семейством делалась невозможною; он поехал в Москву искать места по статской службе, а мать со мною и еще двумя детьми отправилась к своему отцу, где и должна была жить до возвращения мужа. Взяв меня из рук Астахова, мать моя не могла уже ни одной минуты быть ни покойна, ни весела; всякий день я сердила ее странными выходками и рыцарским духом своим; я знала твердо все командные слова, любила до безумия лошадей, и когда матушка хотела заставить меня вязать шнурок, то я с плачем просила, чтоб она дала мне *пистолет*, как я говорила, *пощелкать*; одним словом, я воспользовалась как нельзя лучше воспитанием, данным мне Астаховым! С каждым днем воинственные наклонности мои усиливались, и с каждым днем более мать не любила меня. Я ничего не забывала из того, чему научилась, находясь беспрестанно с гусарами; бегала и скакала по горнице во всех направлениях, кричала во весь голос: «*Эскадрон? направо заезжай! с места! марш-марш!*» Тетки мои хохотали, а матушка, которую все это приводило в отчаяние, не знала границ своей досаде, брала меня в свою горницу, ставила в угол и бранью и угрозами заставляла горько плакать. Отец мой получил место городничего в одном из уездных городов и отправился туда со всем своим семейством; мать моя, от всей души меня не любившая, кажется, как нарочно делала все, что могло усилить и утвердить и без того неодолимую страсть мою к свободе и военной жизни: она не позволяла мне гулять в саду, не позволяла отлучаться от нее ни на полчаса; я должна была целый день сидеть в ее горнице и плести кружева; она сама учила меня шить, вязать, и, видя, что я не имею ни охоты, ни способности к этим упражнениям, что все в руках моих и рвется и ломается, она сердилась, выходила из себя и била меня очень больно по рукам.

Мне минуло десять лет. Матушка имела неосторожность говорить при мне отцу моему, что она не имеет сил управиться с воспитанницею Астахова, что это гусарское воспитание

пустило глубокие корни, что огонь глаз моих пугает ее и что она желала бы лучше видеть меня мертвою, нежели с такими наклонностями. Батюшка отвечал, что я еще дитя, что не надобно замечать меня, и что с летами я получу другие наклонности, и все пройдет само собою. «Не приписывай этому ребячеству такой важности, друг мой!» — говорил батюшка. Судьбе угодно было, чтоб мать моя не поверила и не последовала доброму совету мужа своего... Она продолжала держать меня взаперти и не позволять мне ни одной юношеской радости. Я молчала и покорялась; но угнетение дало зрелость уму моему. Я приняла твердое намерение свергнуть тягостное иго и, как взрослая, начала обдумывать план успеть в этом. Я решилась употребить все способы выучиться ездить верхом, стрелять из ружья и, переодевшись, уйти из дома отцовского. Чтобы начать приводить в действие замышляемый переворот в жизни моей, я не пропускала ни одного удобного случая украсться от надзора матушки; эти случаи представлялись всякий раз, как к матушке приезжали гости; она занималась ими, а я, я, не помня себя от радости, бежала в сад к своему арсеналу, то есть темному углу за кустарником, где хранились мои стрелы, лук, сабля и изломанное ружье; я забывала целый свет, занимаясь своим оружием, и только пронзительный крик ищущих меня девок заставлял меня с испугом бежать им навстречу. Они отводили меня в горницу, где всегда уже ожидало меня наказание. Таким образом минуло два года, и мне было уже двенадцать лет; в это время батюшка купил для себя верховую лошадь — черкесского жеребца, почти неукротимого. Будучи отличным наездником, отец мой сам выездил это прекрасное животное и назвал его *Алкидом*. Теперь все мои планы, намерения и желания сосредоточились на этом коне; я решилась употребить все, чтоб приучить его к себе, и успела; я давала ему хлеб, сахар, соль; брала тихонько овес у кучера и насыпала в ясли; гладила его, ласкала, говорила с ним, как будто он мог понимать меня, и наконец достигла того, что неприступный конь ходил за мною, как кроткая овечка.

Почти всякий день я вставала на заре, уходила потихоньку из комнаты и бежала в конюшню; Алкид встречал меня ржанием, я давала ему хлеба, сахару и выводила на двор; потом подводила к крыльцу и со ступеней садилась к нему на спину; быстрые движения его, прыганье, храпенье нисколько не пугали меня: я держалась за гриву и позволяла ему скакать со мною по всему обширному двору, не боясь быть вынесенною за ворота, потому что они были еще заперты. Случилось один раз, что забава эта прервалась приходом конюха, который, вскрикнув от страха и удивления, спешил остановить галопирующего со мною Алкида; но конь закрутил головой, взвился на дыбы и пустился скакать по двору, прыгая и брыкая ногами. К счастью моему, обмерший от страха Ефим потерял употребление голоса, без чего крик его встревожил бы весь дом и навлек бы мне жестокое наказание. Я легко усмирила Алкида, лаская его голосом, трепля и гладя рукою; он пошел шагом, и когда я обняла шею его и прислонилась к ней лицом, то он тотчас остановился, потому что таким образом я всегда сходила, или, лучше сказать, сползала, с него. Теперь Ефим подошел было взять его, бормоча сквозь зубы, что он скажет это матушке; но я обещала отдавать ему все свои карманные деньги, если он никому не скажет и позволит мне самой отвести Алкида в конюшню; при этом обещании лицо Ефима выяснилось, он усмехнулся, погладил бороду и сказал: «Ну извольте, если этот пострел вас более слушается, нежели меня!» Я повела в торжестве Алкида в конюшню, и, к удивлению Ефима, дикий конь шел за мною смирно и, сгибая шею, наклонял ко мне голову, легонько брал губами мои волосыли за плечо.

С каждым днем я делалась смелее и предприимчивее и, исключая гнева матери моей, ничего в свете не страшилась. Мне казалось весьма странным, что сверстницы мои боялись оставаться одни в темноте; я, напротив, готова была в глубокую полночь идти на кладбище, в лес, в пустой дом, в пещеру, в подземелье. Одним словом, не было места, куда б я не пошла ночью так же смело, как и днем; хотя мне так же, как и другим детям,

были рассказываемы повести о духах, мертвецах, леших, разбойниках и русалках, щекочущих людей насмерть; хотя я от всего сердца верила этому вздору, но нисколько, однако ж, ничего этого не боялась; напротив, я жаждала опасностей, желала бы быть окруженною ими, искала бы их, если б имела хотя малейшую свободу; но неусыпное око матери моей следило каждый шаг, каждое движение мое.

В один день матушка поехала с дамами гулять в густой бор за Каму и взяла меня с собою для того, как она говорила, чтоб я не сломила себе головы, оставшись одна дома. Это было в первый еще раз в жизни моей, что вывезли меня на простор, где я видела и густой лес, и обширные поля, и широкую реку! Я едва не задохлась от радости, и только что мы вошли в лес, как я, не владея собою от восхищения, в ту же минуту убежала — и бежала до тех пор, пока голоса компании сделались неслышны; тогда-то радость моя была полная и совершенная: я бегала, прыгала, рвала цветы, взлезала на вершины высоких деревьев, чтоб далее видеть, взлезала на тоненькие березки и, схватясь за верхушку руками, соскакивала вниз, и молодое деревце легонько ставило меня на землю! Два часа пролетели как две минуты! Между тем меня искали, звали в несколько голосов; я, хотя и слышала их, но как расстаться с пленительною свободою! Наконец, уставши чрезвычайно, я возвратилась к обществу; мне не трудно было найти их, потому что голоса, меня зовущие, не умолкали. Я нашла мать мою и всех дам в страшном беспокойстве; они вскрикнули от радости, увидев меня; но матушка, угадав по довольному лицу моему, что я не заплуталась, но ушла добровольно, пришла в сильный гнев. Она толкнула меня в спину и назвала проклятою девчонкою, заклявшуюся сердить ее всегда и везде! Мы приехали домой; матушка от самой залы до своей спальни вела и драла меня за ухо; приведши к подушке с кружевом, приказала мне работать, не разгибаясь и не поворачивая никуда головы. «Вот я тебя, негодную, привяжу на веревку и буду кормить одним хлебом!» Сказавши это, она пошла к батюшке рассказать о моем, как она называла, чудовищном поступке, а я осталась перебирать коклюшки, ставить булавки и думать о прекрасной природе, в первый раз еще виденной мною во всем ее величии и красоте! С этого дня надзор и строгость матери моей хотя сделались еще неусыпнее, но не могли уже ни утратить, ни удержать меня.

От утра до вечера сидела я за работою, которой, надобно признаться, ничего в свете не могло быть гаже, потому что я не могла, не умела и не хотела уметь делать ее, как другие, но рвала, портила, путала, и передо мною стоял холстинный шар, на котором тянулась полоскою отвратительная путаница — *мое кружево*, и за ним-то я сидела терпеливо целый день, терпеливо потому, что план мой был уже готов и намерение принято. Как скоро наступала ночь, все в доме утихало, двери запирались, в комнате матушки погашен огонь, я вставала, тихонько одевалась, украдкою выходила через заднее крыльцо и бежала прямо в конюшню; там брала я Алкида, проводила его через сад на скотный двор и здесь уже садилась на него и выезжала через узкий переулок прямо к берегу и к Старцовой горе; тут я опять вставала с лошади и взводила ее на гору за недоуздок в руках, потому что, не умея надеть узды на Алкида, я не могла бы заставить его добровольно взойти на гору, которая в этом месте имела утесистую крутизну; итак, я взводила его за недоуздок в руках и, когда была на ровном месте, отыскивала пень или бугор, с которого опять садилась на спину Алкида, и до тех пор хлопала рукою по шее и щелкала языком, пока добрый конь пускался в галоп, вскачь и даже в карьер; при первом признаке зари я возвращалась домой, ставила лошадь в конюшню и, не раздеваясь, ложилась спать, через что и открылись, наконец, мои ночные прогулки. Девка, имевшая за мною смотренье, находя меня всякое утро в постели совсем одетую, сказала об этом матери, которая и взяла на себя труд посмотреть, каким образом и для чего это делается; мать моя сама видела, как я вышла в полночь совсем одетая и, к неизъяснимому ужасу се, вывела из конюшни злого жеребца! Она не смела остановить меня, считая лунатиком, не смела кричать, чтобы не испугать меня, но, приказав дворецкому и Ефиму смотреть за мною, пошла сама к

батюшке, разбудила его и рассказала все происшествие; отец удивился и поспешно встал, чтоб идти увидеть своими глазами эту необычайность. Но все уже кончилось скорее, нежели ожидали: меня и Алкида вели в триумфе обратно каждого в свое место. Дворецкий, которому матушка приказала идти за мною, видя, что я хочу садиться на лошадь, и, не считая меня, как считала матушка, лунатиком, вышел из засады и спросил: «Куда вы, барышня?»

После этого происшествия мать моя хотела непременно, чего бы то ни стоило, избавиться моего присутствия и для того решились отвезти меня в Малороссию к бабке, старой Александровичевой. Мне наступал уже четырнадцатый год, я была высока ростом, тонка и стройна; но воинственный дух мой рисовался в чертах лица, и, хотя я имела белую кожу, живой румянец, блестящие глаза и черные брови, но зеркало мое и матушка говорили мне всякий день, что я совсем не хороша собою. Лицо мое было испорчено оспою, черты неправильны, а беспрестанное угнетение свободы и строгость обращения матери, а иногда и жестокость напечатлели на физиономии моей выражение страха и печали. Может быть, я забыла бы наконец все свои гусарские замашки и сделалась обыкновенною девицею, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве; что вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетение есть ее доля от колыбели до могилы; что она исполнена слабостей, лишена всех совершенств и не способна ни к чему; что, одним словом, женщина самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение в свете! Голова моя шла кругом от этого описания; я решилась, хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием Божиим. Отец тоже говорил часто: «Если б вместо *Надежды* был у меня сын, я не думал бы что будет со мною под старость; он был бы мне подпорою при вечере дней моих». Я едва не плакала при этих словах отца, которого чрезвычайно любила. Два чувства, столь противоположные — *любовь к отцу и отвращение к своему полу*, — волновали юную душу мою с одинаковою силою, и я с твердостью и постоянством, мало свойственными возрасту моему, занялась обдумыванием плана выйти из сферы, назначенной природою и обычаями женскому полу.

При таком-то расположении ума и воли моей, в начале четырнадцатого года моего от рождения, отвезла меня мать моя в Малороссию к бабке и оставила у нее. Деда не было уже на свете. Всю нашу семью составляли бабка моя осьмидесятилетняя, умная и благочестивая женщина; она была некогда красавица и известна по необычайной кротости нрава; сын ее, а мой дядя, средних лет человек, пригожий, добрый, чувствительный и до несносности капризный, был женат на девице редкой красоты из фамилии *Лизогубов*, живущих в Чернигове; и, наконец, тетка лет сорока пяти, девица. Я более всех любила молодую и прекрасную жену дяди, но никогда однако ж не оставалась охотно в сообществе моих родных: они были так важны, так набожны, такие непримиримые враги воинственных наклонностей в девице, что я боялась думать в их присутствии о своих любимых намерениях. Хотя свободы моей не стесняли ни в чем, хотя я могла с утра до вечера гулять, где хочу, не опасаясь быть браненною, но если б я осмелилась намекнуть только о верховой езде, то, думаю, меня осудили бы на церковное покаяние. Так нелегко был ужас родных моих при одной мысли об этих противозаконных и противоестественных, по их мнению, упражнении женщин, а особливо девиц!

Под ясным небом Малороссии я приметно поздоровела, хотя в то же время загорела, почернела и подурнела еще более. Здесь меня не шнуровали и не морили за кружевом. Любя страстно природу и свободу, я все дни проводила, или бегая по лесным дачам дядиного поместья, или плавая по *Удаю* в большой ладье, называемой в Малороссии *дуб*.

Может быть, этой последней забавы не позволили б мне, если б знали об ней; но я имела предосторожность пускаться в навигацию после обеда, когда зоркие глаза молодой тетки закрывались для сна. Дядя уходил заниматься хозяйством или читал газеты, которые тетушка-девица слушала с большим участием; оставалась только бабушка, которая могла бы увидеть меня; но она имела уже слабое зрение, и я в совершенной безопасности разъезжала прямо перед ее окнами.

Весною приехала к нам еще одна тетка моя, *Значко-Яворская*, живущая близ города Лубен; она полюбила меня и выпросила у бабушки позволение взять меня к себе на все лето.

Здесь и занятия мои и удовольствия были совсем другие; тетка была строгая женщина, наблюдавшая неослабный порядок и приличие во всем; она жила открыто, была знакома с лучшим обществом из окружных помещиков, имела хорошего повара и часто делала балы; я увидела себя в другой сфере. Не слыша никогда брани и укоризн женскому полу, я мирилась несколько с его участием, особливо видя вежливое внимание и угождения мужчин. Тетка одевала меня очень хорошо и старалась свести загар с лица моего; воинские мечты мои начинали понемногу изглаживаться в уме моем; назначение женщин не казалось уже мне так страшным, и мне наконец понравился новый род жизни моей. К довершению успокоения бурных помыслов моих, дали мне подругу; у тетушки жила другая племянница ее, *Остроградская*, годом моложе меня. Мы обе были неразлучны; утро проводили в комнате у тетки нашей, читая, рисуя или играя; после обеда до самого чаю мы были свободны гулять и тотчас уходили в *ливаду*; так называется часть земли, обыкновенно примыкающая к саду и отделяемая от него одним только рвом; я перескакивала его с легкостью дикой козы; сестра следовала моему примеру, и мы в продолжение урочного времени нашей прогулки облетали все соседние ливады во всем их пространстве.

Тетка моя, как и все малороссиянки, была очень набожна, строго наблюдала и исполняла все обряды, предписываемые религиею. Всякий праздник ездила к обедне, вечерне и заутрене; я и сестры должны были делать то же. Сначала мне очень не хотелось вставать до свету, чтоб идти в церковь, но в соседстве у нас жила помещица *Кириякова* с сыном и также всегда приезжала в церковь. В ожидании начатия службы Кириякова разговаривала с теткою, а сын ее, молодой человек лет двадцати пяти, подходил к нам, или, лучше сказать, ко мне, потому что он говорил только со мною. Он был очень недурен собою, имел прекрасные черные глаза, волосы и брови и юношескую свежесть лица; я очень полюбила божественную службу и к заутрене вставала всегда уже прежде тетушки. Наконец разговоры мои с молодым Кирияковым обратили на себя внимание тетки моей. Она стала замечать, расспрашивать сестру, которая тотчас и сказала, что Кирияк брал мою руку и просил меня отдать ему кольцо, говоря, что тогда сочтет себя уполномоченным говорить с тетушкою.

Получа такое объяснение от сестры моей, тетка призвала меня к себе: «Что говорит с тобою сын нашей соседки всякий раз, когда мы бываем вместе?» Не умея вовсе притворяться, я рассказала тотчас все, что было мне говорено. Тетушка покачала головою; ей это очень не нравилось. «Нет, — говорила она, — не так ищут руки девицы! К чему объясняться с тобою! Надобно было прямо отнестись к твоим родственникам!» После этого меня отвезли обратно к бабке; я долго скучала о молодом Кирияке. Это была первая склонность, и думаю, что если б тогда отдали меня за него, то я навсегда простилась бы с воинственными замыслами; но судьба, предназначавшая мне поприщем *ратное поле*, распорядилась иначе. Старая Кириякова просила тетку мою осведомиться, имею ли я какое

приданое, и, узнавши, что оно состоит из нескольких аршин лент, полотна и кисеи, а более ничего, запретила сыну своему думать обо мне.

Мне наступил пятнадцатый год, как в один день принесли дяде моему письмо, повергшее всех в печаль и недоумение. Письмо было от батюшки; он писал к матери моей, умолял ее простить ему, возвратиться и давал клятву все оставить. Никто ничего не мог понять из этого письма. Где мать моя? Почему письмо к ней адресовано в Малороссию? Разошлась ли она с мужем, и по какой причине? Дядя и бабка мои терялись в догадках.

Недели через две после этого письма я каталась в лодке по Удаю и вдруг услышала визгливый голос бабушкиной горничной девки: «*Панночко, панночко! идыть до бабусци!*». Я испугалась, услыша призыв к бабушке, повернула лодку и мысленно прощалась с своим любезным *дубом*, полагая, что теперь велят его приковать цепью к свае и прогулки мои по реке навсегда кончились. «Как это случилось, что бабушка увидела?» — спрашивала я, приставая к берегу. «Бабушка не видала, — отвечала Агафья, — но за вами приехал Степан; матушка ваша прислала». Матушка? За мною? Возможно ли? Ах, прекрасный край, неужели я должна буду оставить тебя?.. Я шла поспешно домой; там увидела старого слугу нашего, бывшего во всех походах с отцом моим; седой Степан почтительно подал мне письмо. Отец писал, что он и мать моя желают, чтоб я немедленно приехала к ним, что им скучно жить розно со мною. Это было непонятно для меня; я знала, что мать не любила меня; итак, это батюшка хочет, чтоб я была при нем; но как же согласилась мать моя? Сколько я ни думала и сколько ни сожалела о необходимости оставить Малороссию, о стеснении свободы, меня ожидающем, о неприятном размене прекрасного климата на холодный и суровый, но должна была повиноваться! В два дня все приготовили, напекли, нажарили, лакомств дали огромный короб и все уложили. На третий почтенная бабка моя прижала меня к груди своей и, целуя, сказала: «Поезжай, дитя мое! Да благословит тебя господь в пути твоём! Да благословит он тебя и в пути жизни твоей!» Она положила руку свою мне на голову и тихо призывала на меня покровительства божия! Молитва праведницы была услышана: во все продолжение воинственной, бурной жизни я испытывала во многих случаях видимое заступление всевышнего.

Нечего описывать путешествия моего под надзором старого Степана и в товариществе двенадцатилетней Аннушки, его дочери; оно началось и кончилось, как начинаются и оканчиваются подобные вояжи: ехали на протяжных тихо, долго и наконец приехали. Отворяя дверь в зал отцовского дома, я услышала как маленькая сестра моя, Клеопатра, говорила: «Подите, маменька, какая-то барышня приехала!» Сверх ожидания, матушка приняла меня ласково; ей приятно было видеть, что я получила тот скромный и постоянный вид, столько приличествующий молодой девице. Хотя в полтора года я много выросла и была почти головою выше матери, но не имела уже ни того воинственного вида, делавшего меня похожею на Ахиллеса в женском платье, ни тех гусарских приемов, приводивших мать мою в отчаяние.

Прожив несколько дней дома, я узнала причину, заставившую прислать за мною. Отец мой, всегда равнодушный к красоте, изменил матери моей в ее отсутствие и взял на содержание прекрасную девочку, дочь одного мещанина. По возвращении матушка долго еще ничего не знала, но одна из ее знакомых думала услужить ей, объявив гибельную тайну, и отравила жизнь ее ядом, жесточайшим из всех, — ревностью! Несчастная мать моя помертвела, слушая рассказ безумно услужливой приятельницы, и, выслушав, ушла от нее, не говоря ни слова, и легла в постель; когда батюшка пришел домой, она хотела было говорить ему кротко и покойно, но в ее ли воле было сделать это! С первых слов терзание сердца превозмогло все! Рыдания пресекли ее голос; она била себя в грудь,

ломала руки, кляла день рождения и ту минуту, в которую узнала любовь! просила отца моего убить ее и тем избавить нестерпимого мучения жить, быв им пренебреженною! Батюшка ужаснулся состояния, в котором видел мать мою; он старался успокоить ее, просил не верить вздорным рассказам; но, видя, что она была слишком хорошо уведомлена обо всем, клялся богом и совестью оставить преступную связь; матушка поверила, успокоилась и простила. Батюшка несколько времени держал свое слово, оставил любовницу и даже отдал ее замуж; но после взял опять, и тогда-то мать моя в отчаянии решилась было навсегда расстаться с неверным мужем и поехала к своей матери в Малороссию; но в Казани остановилась. Батюшка, не зная этого, написал в Малороссию, убеждая мать мою простить ему и возвратиться; но в то же время и сам получил письмо от матери моей. Она писала, что не имеет силы удалиться от него, не может перенести мысли расстаться навек с мужем, хотя жестоко ее обидевшим, но и безмерно ею любимым! Умоляла его одуматься и возвратиться к своим обязанностям. Батюшка был тронут, раскаялся и просил матушку возвратиться. Тогда-то она послала за мною, полагая, что присутствие любимой дочери заставит его забыть совершенно недостойный предмет своей привязанности. Несчастливая! ей суждено было обмануться во всех своих ожиданиях и испить чашу горести до дна! Батюшка переходил от одной привязанности к другой и никогда уже не возвращался к матери моей! Она томила, увядала, сделалась больна, поехала лечиться в Пермь к славному *Гралю* и умерла на тридцать пятом году от рождения, более жертвою несчастья, нежели болезни!.. Увы! бесполезно орошаю теперь слезами строки эти! Горе мне, бывшей первоначальною причиною бедствий матери моей!.. Мое рождение, пол, черты, наклонности — все было не то, чего хотела мать моя. Существование мое отравляло жизнь ее, а непрерывная досада испортила ее нрав и без того от природы вспыльчивый и сделала его жестоким; тогда уже и необыкновенная красота не спасла ее; отец перестал ее любить, и безвременная могила была концом любви, ненависти, страданий и несчастий.

Матушка, не находя уже удовольствия в обществе, вела затворническую жизнь. Пользуясь этим обстоятельством, я выпросила у отца позволение ездить верхом; батюшка приказал сшить для меня казачий чекмень и подарил своего Алкида. С этого времени я была всегдашним товарищем отца моего в его прогулках за город; он находил удовольствие учить меня красиво сидеть, крепко держаться в седле и ловко управлять лошадью. Я была понятная ученица; батюшка любовался моею легкостью, ловкостью и бесстрашием; он говорил, что я живой образ юных лет его и что была бы подпорою старости и честью имени его, если б родилась мальчиком! Голова моя вскружилась! но теперешнее кружение было уже прочно. Я была не дитя: мне минуло шестнадцать лет! Обольстительные удовольствия света, жизнь в Малороссии и черные глаза Кирияка, как сон, изгладились в памяти моей; но детство, проведенное в лагере между гусарами, живыми красками рисовалось в воображении моем. Все воскресло в душе моей! Я не понимала, как могла не думать о плане своем почти два года! Мать моя, угнетенная горестию, теперь еще более ужасными красками описывала участь женщин. Воинственный жар с неимоверною силою запылал в душе моей; мечты зародились в уме, и я деятельно зачала изыскивать способы произвести в действие прежнее намерение свое — сделаться воином, быть сыном для отца своего и навсегда отделиться от пола, которого участь и вечная зависимость начали страшить меня.

Матушка не ездила еще в Пермь лечиться, когда в город наш пришел полк казаков для умирения непрерывного воровства и смертоубийств, производимых татарами. Батюшка часто приглашал к себе обедать их полковника и офицеров; ездил с ними прогуливаться за город верхом; но я имела предусмотрительность никогда не быть участницею этих прогулок: мне нужно было, чтобы они никогда не видали меня в чекмене и не имели понятия о виде моем в мужском платье. Луч света озарил ум мой, когда казаки вступили в

город! Теперь я видела верный способ исполнить так давно предпринятый план; видела возможность, дождавшись выступления казаков, дойти с ними до места, где стоят регулярные полки.

Наконец настало решительное время действовать по предназначенному плану! Казаки получили повеление выступить; они вышли 15-го сентября 1806 года; в пятидесяти верстах от города должна была быть у них дневка. Семнадцатого был день моих именин, и день, в который судьбою ли, стечением ли обстоятельств, или непреодолимою склонностью, но только определено было мне оставить дом отцовский и начать совсем новый род жизни. В день *семнадцатого сентября* я проснулась до зари и села у окна дожидаться ее появления: может быть, это будет последняя, которую я увижу в стране родной! Что ждет меня в бурном свете! не понесется ли вслед за мною проклятие матери и горесть отца! Будут ли они живы! Дождутся ли успехов гигантского замысла моего! Ужасно, если смерть их отнимет у меня цель действий моих! Мысли эти то толпились в голове моей, то сменяли одна другую! Сердце мое стеснилось, и слезы заблистали на ресницах. В это время занялась заря, скоро разлилась алым заревом, и прекрасный свет ее, пролившись в мою комнату, осветил предметы: отцовская сабля, висевшая на стене прямо против окна, казалась горящею. Чувства мои оживились. Я сняла саблю со стены, вынула ее из ножен и, смотря на нее, погрузилась в мысли; сабля эта была игрушкою моею, когда я была еще в пеленах, утехою и упражнением в отроческие лета, и почему ж теперь не была бы она защитою и славою моею на военном поприще? «Я буду носить тебя с честью», — сказала я, поцеловав клинок и вкладывая ее в ножны. Солнце взошло. В этот день матушка подарила мне золотую цепь; батюшка триста рублей и гусарское седло с алым вальтрапом; даже маленький брат отдал мне золотые часы свои. Принимая подарки родителей моих, я с грустию думала, что им и в мысль не приходит, что они снаряжают меня в дорогу дальнюю и опасную.

День этот я провела с моими подругами. В одиннадцать часов вечера я пришла проститься с матушкою, как то делала обыкновенно, когда шла уже спать. Не имея сил удержать чувств своих, я поцеловала несколько раз ее руки и прижала их к сердцу, чего прежде не делала и не смела делать. Хотя матушка и не любила меня, однако ж была тронута необыкновенными изъявлениями детской ласки и покорности; она сказала, целуя меня в голову: «*Поди с богом!*» Слова эти весьма много значили для меня, никогда еще не слышавшей ни одного ласкового слова от матери своей. Я приняла их за благословение, поцеловала в последнее руку ее и ушла.

Комнаты мои были в саду. Я занимала нижний этаж садового домика, а батюшка жил вверху. Он имел обыкновение заходить ко мне всякий вечер на полчаса. Он любил слушать, когда я рассказывала ему, где была, что делала или читала. Ожидая и теперь обычного посещения отца моего, положила я на постель за занавес мое казацкое платье, поставила у печки кресла и стала подле них дожидаться, когда батюшка пойдет в свои комнаты. Скоро я услышала шелест листьев от походки человека, идущего по аллее. Сердце мое вспрыгнуло! Дверь отворилась, и батюшка вошел: «Что ты так бледна? — спросил он, садясь на кресла, — здорова ли?» Я с усилием удержала вздох, готовый разорвать грудь мою; последний раз отец мой входит в комнату ко мне с уверенностью найти в ней дочь свою! Завтра он пройдет мимо с горестью и содроганием! Могильная пустота и молчание будут в ней! Батюшка смотрел на меня пристально: «Что с тобою? Ты, верно, не здорова?» Я сказала, что только устала и озябла. «Что ж не велишь протапливать свою горницу? Становится сыро и холодно». Помолчав несколько, батюшка спросил: «Для чего ты не прикажешь Ефиму выгонять Алкида на корде? К нему приступа нет; ты сама давно уже не едешь на нем, другому никому не позволяешь. Он так застоялся, что даже в стойле скачет на дыбы, непременно надобно проездить его». Я сказала, что

прикажу сделать это, и опять замолчала. «Ты что-то грустна, друг мой. Прощай, ложись спать», — сказал батюшка, вставая и целуя меня в лоб. Он обнял меня одною рукою и прижал к груди своей; я поцеловала обе руки его, стараясь удержать слезы, готовые градом покатиться из глаз. Трепет всего тела изменил сердечному чувству моему. Увы! Батюшка приписал его холоду! «Видишь, как ты озябла», — сказал он. Я еще раз поцеловала его руки. «Добрая дочь!» — примолвил батюшка, потрепав меня по щеке, и вышел. Я стала на колени близ тех кресел, на которых сидел он, и, склонясь перед ними до земли, целовала, орошая слезами, то место пола, где стояла нога его. Через полчаса, когда печаль моя несколько утихла, я встала, чтоб скинуть свое женское платье; подошла к зеркалу, обрезала свои локоны, положила их в стол, сняла черный атласный капот и начала одеваться в казачий униформ. Стянув стан свой черным шелковым кушаком и надев высокую шапку с пунцовым верхом, с четверть часа я рассматривала преобразившийся вид свой; остриженные волосы дали мне совсем другую физиономию; я была уверена, что никому и в голову не придет подозревать пол мой. Сильный шелест листьев и храпенье лошади дали знать мне, что Ефим ведет Алкида на задний двор. Я впоследствии простерла руки к изображению богоматери, столько лет принимавшему мольбы мои, и вышла! Наконец дверь отцовского дома затворилась за мною, и кто знает? может быть, никогда уже более не отворится для меня!..

Приказав Ефиму идти с Алкидом прямою дорогою на Старцову гору и под лесом дожидаться меня, я сбежала поспешно на берег Камы, сбросила тут капот свой и положила его на песок со всеми принадлежностями женского одеянья; я не имела варварского намерения заставить отца думать, что, я утонула, и была уверена, что он не подумает этого; я хотела только дать ему возможность отвечать без замешательства на затруднительные вопросы наших недалёковидных знакомых. Оставив платье на берегу, я взошла прямо на гору по тропинке, проложенной козами; ночь была холодная и светлая; месяц светил во всей полноте своей. Я остановилась взглянуть еще раз на прекрасный и величественный вид, открывающийся с горы: за Камою, на необозримое пространство видны были Пермская и Оренбургская губернии! Темные, обширные леса и зеркальные озера рисовались как на картине! Город, у подошвы утесистой горы, дремал в полуночной тишине; лучи месяца играли и отражались на позолоченных главах собора и светили на кровлю дома, где я выросла!.. Что мыслит теперь отец мой? говорит ли ему сердце его, что завтра любимая дочь его не придет уже пожелать ему доброго утра?..

В молчании ночном ясно доходили до слуха моего крик Ефима и сильное храпенье Алкида. Я побежала к ним, и в самую пору: Ефим дрожал от холода, бранил Алкида, с которым не мог сладить, и меня за медленность. Я взяла мою лошадь у него из рук, села на нее, отдала ему обещанные пятьдесят рублей, попросила, чтоб не сказывал ничего батюшке, и, опустив Алкиду повод, вмиг исчезла у изумленного Ефима из виду.

Версты четыре Алкид скакал с одинакою быстротою; но мне в эту ночь надобно было проехать пятьдесят верст до селения, где я знала, что была назначена дневка казачьему полку. Итак, удержав быстрый скок моего коня, я поехала шагом; скоро въехала в темный сосновый лес, простирающийся верст на тридцать. Желая сберечь силы моего Алкида, я продолжала ехать шагом и, окруженная мертвою тишиною леса и мраком осенней ночи, погрузилась в размышления: Итак, я на воле! свободна! независима! я взяла мне принадлежащее, мою свободу: *свободу!* драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку! Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на будущее время, и отныне до могилы она будет и уделом моим и наградой!

Тучи закрыли все небо; в лесу сделалось темно так, что я на три сажени перед собою не могла ничего видеть, и, наконец, поднявшийся с севера холодный ветер заставил меня

ехать скорее. Алкид мой пустился большой рысью, и на рассвете я приехала в селение, где дневал полк казаков.

Оглавление

ЗАПИСКИ

Полковник и его офицеры давно уже проснулись и собрались все в полковничью квартиру завтракать; в это время я вошла к ним. Они шумно разговаривали между собою, но, увидя меня, вдруг замолчали. Полковник, с видом изумления, подошел ко мне. «Которой ты сотни?» — спросил он поспешно. Я отвечала, что не имею еще чести быть в которой-нибудь из них; но приехал просить его об этой милости. Полковник слушал меня с удивлением. «Я не понимаю тебя! Разве ты нигде не числишься?» — «Нигде».> — «Почему?» — «Не имею права». — «Как! Что это значит? Казак не имеет права быть причислен к полку казачьему! Что это за вздор!» Я сказала, что я не казак. «Ну, кто же ты, — спросил полковник, начинавший выходить из терпения, — зачем в казачьем мундире, и чего ты хочешь?» — «Я уже сказал вам, полковник, что желаю иметь честь быть причислен к вашему полку, хотя только на то время, пока дойдем до регулярных войск». — «Но все-таки я должен знать, кто ты таков, молодой человек, и сверх того разве тебе не известно, что у нас никому нельзя служить, кроме природных казаков?» — «Я и не имею этого намерения, но прошу у вас только позволения дойти до регулярных войск в звании и одеянии казака при вас или при полку вашем; что ж до вопроса вашего, кто я таков, скажу только то, что могу сказать: я дворянин, оставил дом отцовский и иду в военную службу без ведома и воли моих родителей; я не могу быть счастлив ни в каком другом звании, кроме военного, потому я решился в этом случае поступить по своему произволу; если вы не примете меня под свое покровительство, я найду средство и один присоединиться к армии». Полковник с участием смотрел на меня, пока я говорила. «Что мне делать? — сказал он вполголоса, оборотясь к одному седому есаулу. — Я не имею духа отказать ему!» — «На что же и отказывать, — отвечал равнодушно есаул, — пусть едет с нами». — «Не нажить бы нам хлопот». — «Каких же? Напротив, и отец и мать его будут вам благодарны впоследствии за то, что вы дадите ему приют; с его решимостью и неопытностью он попадет в беду, если вы его отошлете». В продолжение этого короткого переговора полковника с есаулом я стояла, опершись на свою саблю, с твердым намерением, получа отказ, сесть на своего питомца гор и ехать одной к предположенной цели. «Ну хорошо, молодой человек, — сказал полковник, оборотясь ко мне, — ступай с нами; но упреждаю тебя, что мы идем теперь на Дон, а там регулярных войск нет. Щегров! дай ему лошадь из заводных!» Высокого роста казак, вестовой полковника, пошел было исполнить приказание. Но я, спеша пользоваться возможностью играть роль подчиненного воина, сказала: «У меня есть лошадь, *ваше высокоблагородие!* Я буду ехать на ней, если позволите». Полковник рассмеялся: «Тем лучше, тем лучше! Поезжай на своей лошади. Как же твое имя, молодец?» Я сказала, что меня зовут *Александром!* «А по отчеству?» — «*Васильем* звали отца моего!» — «Итак, Александр Васильевич, на походе ты будешь ехать всегда при первой сотне; обедать у меня и квартировать. Иди теперь к полку, мы сейчас выступаем. Дежурный, вели садиться на коней». Вне себя от радости, побежала я к своему Алкиду и как птица взлетела на седло. Бодрая лошадь, казалось, понимала мое восхищение; она шла гордо, сгибая шею кольцом и быстро водя ушами. Казацкие офицеры любовались красотой Алкида моего и вместе хвалили и меня; они говорили, что я хорошо сижу на лошади и что у меня прекрасная черкесская талия. Я начинала уже краснеть и приходила в замешательство от любопытных взоров, со всех сторон на меня устремленных; но такое положение не могло быть продолжительным; я скоро оправилась и отвечала на расспросы учтиво, правдоподобно, голосом твердым,

покойным, и казалась вовсе не замечающею всеобщего любопытства и толков, возбужденных появлением моим среди войска Донского.

Наконец казаки, наговорясь и насмотревшись на коня моего и на меня, стали по местам. Полковник вышел, сел на черкесского коня своего, scomандовал: «*Справа по три!*» — и полк двинулся вперед. Переднее отделение, нарочно составленное из людей, имеющих хороший голос, запело: «*Душа добрый конь*» — любимую казацкую песню. Меланхолический напев ее погрузил меня в задумчивость: давно ли я была дома! в одежде пола своего, окруженная подругами, любимая отцом, уважаемая всеми как дочь градоначальника! Теперь я казак! в мундире, с саблею; тяжелая пика утомляет руку мою, не пришедшую еще в полную силу. Вместо подруг меня окружают казаки, которых наречие, шутки, грубый голос и хохот трогают меня! Чувство, похожее на желание плакать, стеснило грудь мою! Я наклонилась на крутую шею коня своего, обняла ее и прижалась к ней лицом!.. Лошадь эта была подарок отца! Она одна оставалась мне воспоминанием дней, проведенных в доме его! Наконец борьба чувств моих утихла, я опять села прямо и, занявшись рассматриванием грустного осеннего ландшафта, поклялась в душе никогда не позволять воспоминаниям ослаблять дух мой, но с твердостью и постоянством идти по пути, мною добровольно избранном.

Поход продолжался более месяца; новое положение мое восхищало меня; я научилась седлать и расседлывать свою лошадь, сама водила ее на водопой, так же, как и другие. Походом казацкие офицеры часто скакались на лошадях и предлагали и мне испытать быстроту моего Алкида против их лошадей; но я слишком люблю его, чтоб могла согласиться на это. К тому ж мой добрый конь не в первом цвете молодости, ему уже девять лет; и хотя я уверена, что в целом казачьем полку нет ни одной лошади, равной моему Алкиду в быстроте, точно так же, как и в красоте, но все-таки не имею бесчеловечного тщеславия мучить своего товарища от пустого удовольствия взять верх над тощими скакунами Дона. Наконец полк пришел на рубеж своей земли и расположился лагерем в ожидании смотра, после которого их распускают по домам; ожидание и смотр продолжались три дня; я в это время ходила с ружьем по необозримой степи Донской или ездила верхом. По окончании смотра казаки пустились во все стороны группами; это был живописный вид: несколько сот казаков, рассыпавшись по обширной степи, ехали от места смотра во всех направлениях. Картина эта припомнила мне рассыпное бегство муравьев, когда мне случалось выстрелить холостым зарядом из пистолета в их кучу.

Щегров позвал меня к полковнику: «Ну вот, молодой человек, нашему странствию конец! а вашему? что вы намерены делать?» — «Ехать к армии», — смело отвечала я. «Вы, конечно, знаете, где она расположена? знаете дорогу, по которой ехать, и имеете к этому средства?» — спросил полковник, усмехаясь. Ирония эта заставила меня покраснеть: «О месте и дороге я буду спрашивать, полковник, что ж касается до средств, у меня есть деньги и лошадь». — «Ваши средства хороши только за неимением лучших; мне жаль вас, Александр Васильевич! Из поступков ваших, более, нежели из слов, уверился я в благородном происхождении вашем; не знаю причин, заставивших вас в такой ранней юности оставить дом отцовский; но если это точно желание войти в военную службу, то одна только ваша неопытность могла закрыть от вас те бесчисленные затруднения, которые вам надобно преодолеть прежде достижения цели. Подумайте об этом». Полковник замолчал, я также молчала, и что могла я сказать! Меня страшат затруднениями! Советуют подумать... Может быть, хорошо было бы услышать это дома; но, удалясь от него две тысячи верст, надобно продолжать, и какие б ни были затруднения, твердою волею победить их! Так думала я и все еще молчала. Полковник начал опять: «Вижу, что вы не хотите говорить со мною откровенно; может быть, вы имеете на это свои причины; но я не имею духа отпустить вас на верную гибель;

послушайте меня, останьтесь пока у меня на Дону; покровительство опытного человека для вас необходимо; я предлагаю вам до времени дом мой, живите в нем до нового выступления нашего в поход; вам не будет скучно, у меня есть семейство, климат наш, как видите, очень тепел, снегу не бывает до декабря, можете прогуливаться верхом сколько угодно; конюшня моя к вашим услугам. Теперь мы поедем ко мне в дом, я отдам вас на руки жене моей, а сам отправлюсь в Черкасск к Платову; там пробуду до нового похода, который не замедлится; тогда и вы дойдете вместе с нами до регулярных войск. Согласны ли вы последовать моему совету?» Я сказала, что принимаю предложение его с искреннею благодарностью. Надобно было не иметь ума, чтоб не видеть, как выгодно для меня будет дойти до регулярного войска, не обращая на себя внимания и не возбуждая ни в ком подозрения. Полковник и я сели в коляску и отправились в *Раздорскую станицу*, где был у него дом. Жена его чрезвычайно обрадовалась приезду мужа; это была женщина средних лет, прекрасная собою, высокого роста, полная, с черными глазами, бровями и волосами и смугловатым цветом лица, общим всему казачьему племени; свежие губы ее приятно улыбались всякий раз, когда она говорила. Меня очень полюбила она и обласкала; дивилась, что в такой чрезвычайной молодости отпустили меня родители мои скитаться, как она говорила, по свету; «вам, верно, не более четырнадцати лет, и вы уже одни на чужой стороне; сыну моему осьмнадцать, и я только с отцом отпускаю его в чужие земли; но одному! ах боже! чего не могло б случиться с таким птенцом! Поживите у нас, вы хоть немного подрастете, возмужаете, и, когда наши казаки опять пойдут в поход, вы пойдете с ними, и муж мой будет вам вместо отца». Говоря это, добрая полковница уставливая стол разными лакомствами — медом, виноградом, сливками и сладким только что выжатым вином: «Пейте, молодой человек, — говорила доброхотная хозяйка, — чего вы боитесь? это и мы, бабы, пьем стаканами; трехлетние дети у нас пьют его, как воду». Я до этого времени не знала еще вкусу вина и потому с большим удовольствием пила донской нектар. Хозяйка смотрела на меня, не сводя глаз: «Как мало походите вы на казака! Вы так белы, так тонки, так стройны, как девица! Женщины мои так и думают; они говорили уже мне, что вы переодетая девушка!» Говоря таким образом, полковница хохотала простодушно, вовсе не подозревая, как хорошо отгадали ее женщины и какое замирение сердца причиняют слова ее молодому гостю, так усердно ею угощаемому. С этого дня я не находила уже никакого удовольствия оставаться в семействе полковника, но с утра до вечера ходила по полям и виноградникам. Охотно уехала бы я в Черкасск, но боялась новых расспросов; я очень видела, что казачий мундир худо скрывает разительное отличие мое от природных казаков; у них какая-то своя физиономия у всех, и потому вид мой, приемы и самый способ изъясняться были предметом их любопытства и толкования; к тому же, видя себя беспрестанно замечаемою, я стала часто приходить в замешательство, краснеть, избегать разговоров и уходить в поле на целый день, даже и в дурную погоду. Полковника давно уже не было дома, он жил по делам службы в Черкасске; единообразная бездейственная жизнь сделалась мне несносна; я решилась уехать и отыскивать армию, хотя сердце мое трепетало при мысли, что те же расспросы, то же любопытство ожидают меня везде; но по крайности, думала я, это будет некоторым образом мимоходом, а не так, как здесь я служу постоянным предметом замечаний и толкованья.

Решась ехать завтра на рассвете, я пришла домой засветло, чтобы уведомить хозяйку о своем отъезде и приготовить лошадь и сбрую. Входя на двор, я увидела необыкновенную суетливость и беготню людей полковника; увидела множество экипажей и верховых лошадей. Я вошла в залу, и первую встречу был возвратившийся полковник; толпа офицеров окружала его; но между ними не было однако ж ни одного из тех, с которыми я пришла на Дон. «Здравствуйте, Александр Васильевич! — сказал полковник, отвечая на поклон мой, — не соскучились ли вы у нас? Господа, рекомендую, это русский дворянин; он будет спутником нашим до места». Офицеры слегка поклонились мне и продолжали

разговаривать о своем походе. «Ну как же вы проводили ваше время, Александр Васильевич? Полюбился ли вам Дон и не полюбилось ли что на Дону?» Говоря это, полковник лукаво усмехался. Поняв смысл последнего вопроса, я покраснела, но отвечала вежливо и сообразно шутке, что старался не прилепляться слишком к прекрасной стороне их, чтоб не заплатить за это поздним сожалением. — «Вы очень хорошо сделали, — сказал полковник, — потому что завтра чуть свет и мы, и вы должны сказать прости нашему тихому Дону! Мне вверен Атаманский полк, и мы имеем повеление идти в Гродненскую губернию; вот там вы будете иметь случай вступить в какой угодно регулярный полк, их там много».

В три часа утра я оседлала своего Алкида и привела его к строю казаков; но как полковника тут еще не было, то я, привязав свою лошадь, пошла в ту залу, где собрались все офицеры. Множество молодых казачек пришли проходить своих мужей; я была свидетельницею трогательного зрелища. Щегров, бывший всегда при полковнике в походе, был с ним же и на Дону; его отец, мать, жена и три взрослые и прекрасные дочери пришли проводить его и еще раз проститься с ним. Умилительно было видеть, как сорокалетний казак, склонясь до земли, целовал ноги своего отца и матери, принимая их благословение, и после сам точно так же благословил дочерей своих, упавших к ногам его; обряд этого прощанья был совершенно нов для меня и сделал на душу мою самое горестное впечатление! «Вот, — думала я, — как должно расставаться детям с отцом и матерью! а я убежала! Вместо благословения неслись за мною упреки раздраженных родителей, а может быть... ужасная мысль!..» Погрузясь в эти печальные размышления, я не слыхала, как все уже вышли и зала сделалась пуста. Шорох позади меня пробудил мое внимание и извлек из горестных мечтаний очень неприятным образом; ко мне подкрадывалась одна из женщин полковницы: «А вы что ж стоите здесь одни, барышня? Друзья ваши на лошадях, и Алкид бегаёт по двору!» Это сказала она с видом и усмешкою истинного сатаны. Сердце мое вздрогнуло и облилось кровью; я поспешно ушла от мегеры! Казаки были уже в строю; близ них Алкид мой рыл землю копытом от нетерпения. Пospешая взять его, я встретила строгий взгляд полковника: «В вашем положении надобно всегда быть первым; для вас это необходимо, Александр Васильевич», — сказал он, выезжая перед фронт. Наконец обычное *«справа по три»* двинуло полк с места. Скоро опять раздалось: *«Душа добрый конь!»* Опять возобновились сцены прежней походной жизни; но я теперь уже не та; сделавшись старше несколькими месяцами, я стала смелее и не прихожу более в замешательство при всяком вопросе. Офицеры Атаманского полка, будучи образованнее других, замечают в обращении моем ту вежливость, которая служит признаком хорошего воспитания, и, оказывая мне уважение, ищут быть со мною вместе.

В начале весны пришли мы в местечко Дружкополь, на берегу Буга; здесь же квартирует и Брянский мушкетерский полк генерала Лидерса; офицеры обоих полков часто бывают вместе; род жизни их мне кажется убийственным: сидят в душной комнате, с утра до вечера курят трубки, играют в карты и говорят вздор. Полковник спрашивал меня, не хочу ли я определиться в Брянский полк? «Сохрани боже, полковник, — отвечала я, — если б на всем Шаре Земном была одна только пехота, я никогда не пошел бы в службу; я не люблю пешую службу». — «Ну, как хотите, ваше от вас не уйдет, вы еще слишком молоды». Я очень люблю ходить ночью одна в лесу или в поле; вчера я зашла весьма далеко от местечка, и было уже за полночь, когда я возвращалась домой; предавшись, по обыкновению, мыслям, я шла скоро, не замечая мест; вдруг стон глухой и как будто из-под земли раздавшийся прервал и тишину ночи и мои мечтания: я остановилась, осматриваясь и прислушиваясь, я слышу опять стон и вижу себя в десяти шагах от кладбища; стон несясь оттуда. Ни малейшая тень страха не взволновала души моей; я пошла к кладбищу, отворила ограду и, вошед туда, ходила по всем могилам, наклонялась,

прислушивалась; стон разносился по всему кладбищу, и я, продолжая идти от одной могилы к другой, перешла наконец за церковь и с удивлением услышала, что стон наносится ветром со стороны болота, находящегося в полуверсте от кладбища. Не понимая, что бы это могло значить, я спешила дойти на квартиру полковника, чтоб застать Щегрова не спящим и рассказать ему это происшествие; я нашла в самом деле Щегрова бодрствующим и очень рассерженным; я была некоторым образом у него под надзором; продолжительное отсутствие мое в ночное время навело на него страх; итак, рассказ мой был очень дурно принят: он сказал мне с досадою, что я глупо делаю, таскаясь ночью по кладбищам и обнюхивая могилы, как шакал, и что этот странный вкус доставит мне удовольствие занемочь гнилой горячкой, от которой умирало множество солдат Брянского полка; и кончил поучение свое замечанием, что если б я не прямо из-под крыла маменьки своей явился к ним и дал бы хоть немного обсохнуть молоку на губах своих, то мог бы знать, что слышанный мною стон происходил от птицы, живущей на болотах и называемой *бугай*, то есть *бык*. Ворчанье старого казака отняло у меня охоту расспрашивать, для чего эта птица не кричит, не поет, не свищет, а стонет, и я, не говоря более ни слова, пошла спать.

Сын полковника учился в *Любаре* у иезуитов; он просил меня приехать к нему полюбоваться необычайною толщиной и огромностию двух его учителей. Квартиры наши в десяти верстах от Любара, итак я поехала туда верхом; я остановилась в той же корчме, в которой всегда останавливается полковник. Войдя в обширную комнату, какая обыкновенно бывает во всякой корчме, я увидела молодую жидовку, читающую нараспев свои молитвы; она стояла перед зеркалом и, завывая потихоньку свои псалмы, в то же время чернила брови и слушала с усмешкою молодого пехотного офицера, говорившего ей что-то вполголоса. Вход мой прервал эту сцену. Жидовка оборотилась ко мне, окинула быстро глазами и подошла так близко, что дыхание ее разливалось теплотою по лицу моему. «Что вам угодно?» — спросила она почти шепотом. Я отвечала, что прошу ее велеть присмотреть за моей лошадью, которую оставляю у нее в корчме. «Вы будете ночевать здесь?» — спросила она еще с тою же таинственностью. «Я ночую в кляшторе иезуитов, а может быть, и здесь, не знаю наверное». Услыша о кляшторе иезуитов, она отвернулась от меня, не говоря ни слова, и, приказав работнику взять мою лошадь, приняла прежнюю позицию перед зеркалом, снова запела сквозь зубы, наклоняясь к офицеру, который опять начал говорить с нею. Оставя их, я пошла посмотреть, выгодно ли помещен Алкид мой, и, видя его довольным во всем, пошла прямо в кляштор отцов иезуитов.

В самом деле, почтенные отцы Иероним и Антонио, учителя молодого Б..., чудовищною толщиной своею привели меня в ужас! Огромная масса тел их превосходила всякое вероятие; они почти совсем не могли стоять, но всё сидели и всю церковную службу читали у себя в келье сидя; дыхание их походило на глухой рев. Я села в угол и смотрела на них, не сводя глаз, с изумлением и некоторым родом страха. Молодой казак давил себе нос и зажимал рот, чтобы не захохотать над странным видом двух своих чудовищ в рясах и вместе моим. Наконец приглашение к ужину прекратило набожный гул почтенных отцов и кривлянье молодого шалуна и мое изумленье; мы пошли за стол. Повеса Б... шепнул мне на ухо, что по обязанности гостеприимства он посадит меня между своими учителями, чтоб наслаждаться приятностью их беседы; я хотела было поскорее сесть подле него, но не успела: огромная рука схватила мою руку, и тихо ревуший голос раздался почти под потолком: «Не угодно ли взять место между нами? Прошу покорно! Пожалуйста сюда!» Ужин этот был для меня настоящею пыткой: не разумея польского языка, я не знала, что отвечать моим ужасным соседям с правой и левой стороны; сверх того боялась еще, чтоб не наестся слишком лакомого кушанья в Польше; мне было смертельно жарко; я беспрестанно краснела, и пот каплями выступал на лбу моем. Одним

словом, я была измучена и смешна до крайности! Но вот загремели стулья, огромные отцы поднялись; бормотанье молитв их, подобно отдаленному рокотанию грома, носилось над головой моей; по окончании всех возможных церемоний я с радостью увидела себя вне ограды монастырской, и первым движением было, вышед из ворот, почти бегом отдалиться от стен гостеприимной обители, в которой так грустно жить и так трудно дышать!

Атаманский полк идет в Гродно; казаки острят пики и сабли; к моему Алкиду приступа нет! храпит, прыгает, брыкает! Добрый конь! какая-то будет наша участь с тобою! Мы пришли в Гродно; полк пробудет здесь только два дня, а там пойдет за границу. Полковник призвал меня: «Теперь вы имеете удобный случай определиться в который угодно из формирующихся здесь кавалерийских эскадронов; но последуйте моему совету, будьте откровенны с начальником того полка, в который рассудите определиться; хотя чрез это одно не примут вас юнкером, по крайней мере, вы выиграете его доброе расположение и хорошее мнение. А между тем, не теряя времени, пишите к своим родителям, чтоб выслали вам необходимые свидетельства, без которых вас могут и совсем не принять, или, по крайней мере, надолго оставят рядовым». Я поблагодарила его за совет и за покровительство, так долго мне оказываемое, и наконец простилась с ним. На другой день казаки ушли за границу, а я осталась в Гродно.

Гродно. Я одна! совершенно одна! живу в заездной корчме. Алкид мой беспрестанно ржет и бьет копытом в землю; он также остался один. Из окна моего вижу я проходящие мимо толпы улан с музыкою и пляскою; они дружелюбно приглашают всех молодых Людей взять участие в их веселости. Пойду узнать, что это такое. Это называется *вербунок!* Спаси боже, если нет другой дороги вступить в регулярный полк, как посредством вербунка! Это было бы до крайности неприятно. Когда я смотрела на эту пляшущую экспедицию, подошел ко мне управляющий ею портупей-юнкер, или, по их, *наместник*. «Как вам нравится наша жизнь? Не правда ли, что она весела?» Я отвечала, что правда, и ушла от него. На другой день я узнала, что это полк Коннопольский, что они вербуют для укомплектования своего полка, потерявшего много людей в сражении, и что ими начальствует ротмистр. Собрав эти сведения, я отыскала квартиру наместника, вчера со мною говорившего; он сказал мне, что если я хочу определиться в их полк на службу, то могу предложить просьбу об этом их ротмистру Казимирскому, и что мне вовсе нет надобности плясать с толпою всякого сброду, лезущего к ним в полк. Я очень обрадовалась возможности войти в службу, не подвергаясь ненавистному обряду плясать на улице, и сказала это наместнику; он не мог удержаться от смеха: «Да ведь это делается по доброй воле, и без этого легко можно обойтись всякому, кто не хочет брать участия в нашей *вакханалии*. Не угодно ли вам идти со мною к Казимирскому? Ему очень приятно будет приобрести такого рекрута; сверх этого я развеселю его на целый день, рассказав о вашем опасении». Говоря это, наместник хохотал от всего сердца; мы пошли. Из комнаты наместника нам надобно было проходить через ту большую горницу, о которой я уже говорила, что находится во всякой корчме; она была полна улан и завербовавшихся рекрутов; все это плясало и пело. Стараясь скорее миновать шумную толпу, я ухватила руку наместника; но в то же время один из улан, схватя мой стан рукою, влетел со мною в круг и, топнув ногой, приготовился начать мазурку, которую уже несколько пар прыгали и скользили без всякого порядка. Наместник освободил меня из рук этих очарованных плясунов; смех его удвоился от этого неожиданного случая; наконец мы пришли на квартиру к Казимирскому.

Ротмистр Казимирский, лет около пятидесяти, имеет благородный и вместе воинственный вид; добродушие и храбрость дышат во всех чертах приятного лица его. Когда я вошла, то он, видно сочтя меня за казацкого офицера, вежливо поклонился и спросил: «Что вам

удовно?» Я сказала, что желал бы служить в Коннопольском полку и, узнав, что ему поручено комплектовать этот полк, пришел просить о принятии меня в службу. «Вас, на службу в Коннопольский полк! — сказал ротмистр с удивлением, — вы казак, принадлежите к войску Донскому, и в нем должны служить». — «Одеяние мое вас обманывает; я русский дворянин и, следовательно, могу избирать род службы, какой хочу». — «Можете ли доказать это?» — «Нет! Но если вам угодно поверить одному слову моему, что я точно русский дворянин, то я буду уметь ценить такое снисхождение и по окончании кампании обязываюсь доставить в полк все, что нужно для подтверждения справедливости слов моих». — «Как же это сделалось, что вы носите казачий мундир?» — «Отец не хотел отдавать меня в военную службу; я ушел тихонько, присоединился к казачьему полку и с ним пришел сюда». — «Сколько лет вам? Как ваша фамилия?» — «Мне семнадцатый год, фамилия моя *Дуров*». Ротмистр оборотился к одному офицеру своего полка: «Как думаешь? Принять его?» — «Как хотите; почему ж и не принять; теперь война, люди надобны, а он обещает быть молодцом». — «А если он казак и почему-нибудь хочет укрыться от своих, вступая в регулярный полк?» — «Не может этого быть, ротмистр! На лице его написано, что он не лжет, в этом возрасте притворяться не умеют. Впрочем, если вы откажете, он пойдет к другому, который не будет так излишне осторожен, и вы потеряете хорошего рекрута...» Весь этот разговор был по-польски. Ротмистр оборотился ко мне: «Согласен поверить вашему слову, Дуров! Надеюсь, что вы оправдаете мою доверенность вашим поведением». Я хотела было сказать, что в скором времени он сам увидит, стою ли я чести быть принят в число воинов, имеющих завидное счастье служить *Александр*у; но промолчала, боясь, чтоб не сочли этого за неуместное самохвальство; я сказала только, что имею лошадь и желал бы на ней служить, если можно. — «Нельзя, — сказал ротмистр, — вам дадут казенную; однако ж вы можете держать ее при себе до времени, пока найдете случай продать».- — «Продать! Алкида! — вскрикнула я невольно. — Ах, сохрани меня боже от этого несчастья!! Нет, господин ротмистр, у меня есть деньги, я буду кормить свою лошадь на свой счет и ни для чего в свете не расстанусь с нею!» Казимирский сам был от колыбели кавалерист; ему очень понравилась моя привязанность к наилучшему товарищу в военное время; он сказал, что лошадь моя будет иметь место на его конюшне и вместе корм, что я могу на ней ехать за границу и что он берет на себя исходатайствовать мне позволение служить на ней. После этого велел послать к себе одного из улан, при нем находившихся, и отдал меня ему в смотрение, приказав учить меня маршировать, рубиться, стрелять, владеть пикою, седлать, расседлывать, вьючить и чистить лошадь, и, когда я несколько научусь всему этому, тогда обмундировать и употреблять на службу. Улан, выслушав приказание, тогда же взял меня с собою в *сборню*, так называется изба, а иногда и сарай, где учат молодых солдат всему, что принадлежит до службы. Всякий день встаю я на заре и отправляюсь в сборню, оттуда все вместе идем в конюшню; уланский ментор мой хвалит мою понятливость и всегдашнюю готовность заниматься эволюциями, хотя бы это было с утра до вечера. Он говорит, что я буду молодец. Надобно, однако ж, признаться, что я устаю смертельно, размахивая тяжелою пикою — особенно при этом вовсе ни на что не пригодном маневре вертеть ею над головой; и я уже несколько раз ударила себя по голове; также не совсем покойно действую саблею; мне все кажется, что я порежусь ею; впрочем, я скорее готова поранить себя, нежели показать малейшую робость. Проведя все утро на ученье, обедать иду к Казимирскому; он экзаменует меня с отеческим снисхождением, спрашивает, нравятся ли мне мои теперешние занятия и каким я нахожу военное ремесло? Я отвечала, что люблю воинское ремесло со дня моего рождения; что занятия воинственные были и будут единственным моим упражнением; что считаю звание воина благороднейшим из всех и единственным, в котором нельзя предполагать никаких пороков, потому что неустрашимость есть первое и необходимое качество воина; с неустрашимостью неразлучно величие души, и при соединении этих двух великих достоинств нет места порокам или низким страстям. «Неужели вы думаете, молодой

человек, — спрашивал ротмистр, — что без неустрашимости нельзя иметь качеств, достойных уважения? Есть много людей робких от природы и имеющих прекраснейшие свойства». — «Очень верю, ротмистр; но думаю также, что неустрашимый человек непременно должен быть добродетелен». — «Может быть, вы правы, — говорил ротмистр, улыбаясь, — но, — присовокупил он, трепля меня по плечу и покручивая усы, — подождем лет десяток и также подождем первого сражения, опыт во многом может разуверить». После обеда Казимирский ложился спать, а я шла в конюшню дать лошади полуденную ее порцию овса; после этого я была свободна делать что хочу до шести часов вечера.

Сколько ни бываю я утомлена, размахивая целое утро тяжелою пикою — сestroю сабли, маршируя и прыгая на лошади через барьер, но в полчаса отдохновения усталость моя проходит, и я от двух до шести часов хожу по полям, горам, лесам бесстрашно, беззаботно и безуданно! Свобода, драгоценный дар неба, сделалась наконец уделом моим навсегда! Я ею дышу, наслаждаюсь, ее чувствую в душе, в сердце! Ею проникнуто мое существование, ею оживлено оно! Вам, молодые мои сверстницы, вам одним понятно мое восхищение! Одни только вы можете знать цену моего счастья! Вы, которых всякий шаг на счету, которым нельзя пройти двух сажен без надзора и охранения! которые от колыбели и до могилы в вечной зависимости и под вечною защитою, бог знает от кого и от чего! Вы, повторяю, одни только можете понять, каким радостным ощущением полно сердце мое при виде обширных лесов, необозримых полей, гор, долин, ручьев, и при мысли, что по всем этим местам я могу ходить, не давая никому отчета и не опасаясь ни от кого запрещения, я прыгаю от радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу более слов: *ты девка, сиди. Тебе неприлично ходить одной прогуливаться!* Увы, сколько прекрасных ясных дней началось и кончилось, на которые я могла только смотреть заплаканными глазами сквозь окно, у которого матушка приказывала мне плести кружево. Горестное воспоминание о угнетении, в каком прошли детские лета мои, прекратило тотчас веселые скачки; около часа я бываю скучна, когда вспоминаю о своей домашней жизни; но, к счастью, с каждым днем вспоминаю об ней реже, и только одна мысль, что воле моей, как взору, нет границ, кружит радостию мою голову.

Меня и еще одного товарища *Вышемирского* приказал ротмистр назначить в первый взвод, под команду поручика *Бошнякова*; взвод этот квартирует в бедной помещицъей деревне, окруженной болотами.

Какая голодная сторона эта Литва! Жители так бедны, бледны, тощи и запуганы, что без сожаления нельзя смотреть на них. Глинистая земля, усеянная камнями, худо награждает тягостные усилия удобрять и обрабатывать ее; хлеб их так черен, как уголь, и, сверх этого, смешан с чем-то колючим (дресва); невозможно есть его, по крайней мере, я не могу съесть ни одного куска.

Более трех недель стоим мы здесь; мне дали мундир, саблю, пикку, так тяжелую, что мне кажется она бревном; дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую перевязь с подсумком, наполненным патронами; все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело! Надеюсь, однако ж, привыкнуть; но вот к чему нельзя уже никогда привыкнуть — так это к тиранским казенным сапогам! они как железные! До сего времени я носила обувь мягкую и ловко сшитую; нога моя была свободна и легка, а теперь! ах, боже! я точно прикована к земле тяжестью моих сапог и огромных бряцающих шпор! Охотно бы заказала сшить себе одну пару жиду-сапожнику, но у меня так мало денег; надобно терпеть, чего нельзя переменить.

С того дня, как я надела казенные сапоги, не могу уже более по-прежнему прогуливаться и, будучи всякой день смертельно голодна, провожу все свободное время на грядках с заступом, выкапывая оставшийся картофель. Поработав прилежно часа четыре сряду, успеваю нарыть столько, чтоб наполнить им мою фуражку; тогда несу в торжестве мою добычу к хозяйке, чтобы она сварила ее; суровая эта женщина всегда с ворчаньем вырвет у меня из рук фуражку, нагруженную картофелем, с ворчаньем высыплет в горшок, и когда поспеет, то, выложив в деревянную миску, так толкнет ее ко мне по столу, что всегда несколько их раскатится по полу; что за злая баба! а, кажется, ей нечего жалеть картофелю, он весь уже снят и где-то у них запрятан; плод же неусыпных трудов моих не что иное, как оставшийся очень глубоко в земле или как-нибудь укрывшийся от внимания работавших.

Вчера хозяйка разливала молоко; в это время я вошла с моей фуражкой, полной картофеля. Хозяйка испугалась, а я обрадовалась и начала убедительно просить ее дать немного молока к моему картофелю. Страшно было видеть, как лицо ее подернулось злобою и ненавистью! Со всеми проклятиями налила она молока в миску, вырвала у меня из рук фуражку, рассыпала весь мой картофель по полу, но тотчас, однако ж, кинулась подбирать; это последнее действие, которого я угадывала причину, рассмешило меня.

Взводный начальник наш поручик Бошняков взял меня и Вышемирского к себе на квартиру; будучи хорошо воспитан, он обращается с нами обоими как прилично благородному человеку обращаться с равными ему. Мы живем в доме помещика; нам, то есть офицеру нашему, дали большую комнату, отделяемую сенями от комнат хозяина; мы с Вышемирским полные владельцы этой горницы, потому что поручик наш почти никогда не бывает и не ночует дома; он проводит все свое время в соседней деревне у старой помещицы, вдовы; у нее есть прекрасная дочь, и поручик наш, говорит его камердинер, смертельно влюблен в нее; жена помещика наших квартир, молодая дама редкой красоты, очень недовольна, что постоялец ее не живет на своей квартире; она всякий раз, как увидит меня или Вышемирского, спрашивает, очень мило картавя: «Что ваш офицер делает у N.N.? Он там от утра до ночи, и от ночи до утра!..» От меня она слышит в ответ одно только — *не знаю!* Но Вышемирский находит забавным уверять ее, что поручик страшится потерять спокойствие сердца и для того убегает опасной квартиры своей.

Я привыкла к своим кандалам, то есть к казенным сапогам, и теперь бегаю так же легко и неутомимо, как прежде; только на ученье тяжелая, дубовая пика едва не отламывает мне руку, особливо, когда надобно вертеть ею поверх головы: досадный маневр!

Мы идем за границу! в сражение! Я так рада и так печальна! Если меня убьют, что будет с старым отцом моим! Он любил меня!

Чрез несколько часов я оставлю Россию и буду в чужой земле! Пишу к отцу, где я и что я теперь; пишу, что, падая к стопам его и обнимая колена, умоляю простить мне побег мой, дать благословение и позволить идти путем, необходимым для моего счастья. Слезы мои падали на бумагу, когда я писала, и они будут говорить за меня отцовскому сердцу. Только что я отнесла письмо на почту, велено выводить лошадей; мы сию минуту выступаем; мне позволяют ехать, служить и сражаться на моем Алкиде. Мы идем в *Пруссию* и, сколько я могу заметить, совсем не торопимся; наши переходы умеренные, и дневки, как обыкновенно, через два дня и через три.

На третьем переходе Вышемирский сказал, что от этой дневки недалеко селение дяди его, у которого живет и воспитывается родная его сестра: «Я попрошусь у ротмистра съездить туда на один день, поедешь ли со мною, Дуров?» — «Если отпустят, охотно поеду», —

отвечала я. Мы пошли к ротмистру, который, узнав наше желание, тогда же отпустил нас, приказав только Вышемирскому беречь свою лошадь и подтвердив нам обоим, чтоб непременно явились через сутки в эскадрон. Мы отправились. Селение помещика *Куната*, дяди Вышемирского, отстояло пять миль от деревни, где должно было дневать нашему эскадрону, и мы, хотя ехали все рысью, приехали, однако ж, в глубокую полночь; тишина ее нарушалась едино-звучным стуком по доске, раздававшимся внутри обширного двора господского, обнесенного высоким забором; это был сторож, ходивший вокруг дома и стучавший чем-то по доске. Ворота не были заперты, и мы беспрепятственно въехали на двор, гладкий, широкий, покрытый зеленою травой; но только что шаги лошадей наших послышались в тиши ночной, в один миг стая сторожевых собак окружила нас с громким лаем; я хотела было, несмотря на это, сойти с лошади, но, увидя вновь прибежавшую собаку, почти вровень с моим конем, села опять в седло, решаась не вставать, хотя бы это было до рассвета, пока кто-нибудь не придет отогнать атакующих нас зверей. Наконец сторож с клепалом в руках явился перед нами; он тотчас узнал Вышемирского и чрезвычайно обрадовался. Собаки по первому сигналу убрались в свои лари; явились люди, принесли огня, лошадей наших взяли, отвели в конюшню, а нас просили идти к пану эконому, потому что господа спали и все двери кругом заперты. Не знаю, как весть о приезде Вышемирского проникла сквозь запертые двери целого дома; но только сестра его, спавшая близ теткиной спальни, узнала и тотчас пришла к нам. Это было прекраснейшее дитя лет тринадцати. Она важно присела перед своим братом, сказала *як се маш!* (*как себя чувствуешь!* (польск.)) и бросилась со слезами обнимать его. Я не могла понять этого контраста. Нам подали ужинать и принесли ковры, подушки, солому и простыни, чтоб сделать нам постели. Панна Вышемирская восстала против этого распоряжения; она говорила, что постель не нужна, что скоро будет день и что брат ее, верно, охотно будет сидеть и разговаривать с нею, нежели спать. Эконом смеялся и отдавал ей на выбор, или идти в свою комнату, не мешая нам лечь спать, или остаться и для разговору с братом лечь к нам в середину. Девочка сказала: *«Встыдсье, пане экономе!»* (*Стыдитесь, господин эконом!* (польск.)) — и ушла, поцеловав прежде брата и поклонясь мне. На другой день позвали нас пить кофе к господину Кунату. Важного вида польский пан сидел с женою и сыновьями в старинной зале, обитой малиновым штофом; стулья и диваны были обиты тою же материею и украшены бахромою, надо думать, в свое время золотую, но теперь все это потускло и потемнело; комната имела мрачный вид, совершенно противоположный виду хозяев, ласковому и добродушному; они обняли своего племянника, вежливо поклонились мне и приглашали взять участие в завтраке. Все это семейство чрезвычайно полюбило меня; спрашивали о летах моих, о месте родины, и когда я сказала им, что живу недалеко от Сибири, то жена Кунаты вскрикнула от удивления и смотрела на меня с новым любопытством, как будто житель Сибири был существо сверхъестественное! Во всей Польше о Сибири имеют какое-то странное понятие. Кунат сыскал на карте город, где живет отец мой, и уверял, смеючись, что я напрасно называю себя сибиряком, что, напротив, я азиатец. Увидя на столе бумагу и карандаши, я просила позволить мне что-нибудь нарисовать. «О, очень охотно», — отвечали мои хозяева; не занимаясь уже давно этим приятным искусством, я так рада была случаю изобразить что-нибудь, что сидела за добровольною своею работою более двух часов. Нарисовав Андромеду у скалы, я была осыпана похвалами от молодых и старых Кунатов. Поблагодаря их за снисхождение к посредственности таланта моего, я хотела подарить мой рисунок панне Вышемирской; но старая Кунатова взяла его из рук у меня, говоря: «Отдайте мне, если он вам не надобен, я буду говорить всем, что это рисовал коннополец, урожденный сибиряк!» Кунат вслушался. «Извини, мой друг, ты ошибаешься, Дуров азиатец; вот посмотри сама», — говорил он, таща огромную карту к столу жены своей.

На другой день мы простились с Кунатами; они проводили нас в коляске верст десять. «Срисуйте, Дуров, местоположение нашей деревни, — сказала жена Куната, — это иногда приведет вам на память людей, полюбивших вас, как сына». Я сказала, что и без того никогда их не забуду. Наконец мы расстались; коляска Кунатов поворотила назад, а мы пустились легким галопом вперед. Вышемирский молчал и был пасмурен. Саквы его были наполнены разною провизией и возвышались двумя холмами по бокам его лошади. Наконец он стал говорить: «Поедем шагом, дары дядюшкины набьют спину моей лошади. Зачем я приезжал! им чужие дороже своих! Они только тобою и занимались, а меня как будто не было тут; что в таких родных!» Самолюбие Вышемирского жестоко страдало от явного предпочтения, оказанного мне его родственниками. Я старалась его успокоить: «Что мне в том, Вышемирский, что дядя и тетка твои так занимались мною, зато сестра твоя ни разу не взглянула на меня и ни слова не сказала со мною во все то время, которое мы у них пробыли; не хочешь ли поменяться? Возьми себе внимание дяди и тетки, отдай мне ласки, слезы и поцелуи сестры твоей». Вышемирский вздохнул, меланхолически усмехнулся и стал рассказывать, что маленькая сестра его жаловалась на слишком строгое содержание и стеснение; я тотчас вспомнила свою жизнь в отцовском доме, матушкину строгость, жестокую неволю, непрерывное сидение за работой, вспомнила — и печаль отуманила лицо мое; я вздохнула в свою очередь, и мы оба кончили путь наш молча.

Сегодня эскадрон наш присоединился к полку; завтра ротмистр Казимирский должен представить всех нас на смотр генерал-майору Каховскому, и завтра разместят всех по другим эскадронам.

Смотр кончился. Казимирский был столько вежлив, что не поставил меня в одну шеренгу с завербованными, но представил особливо Каховскому; он назначил меня в лейб-эскадрон, которым командует ротмистр Галер.

Наконец мечты мои осуществились! я воин! коннополец! ношу оружие! и, сверх того, счастье поместило меня в один из храбрейших полков нашей армии!

Мая 22-го 1807

Гутиштадт. В первый раз еще видела я сражение и была в нем. Как много пустого наговорили мне о первом сражении, о страхе, робости и, наконец, отчаянном мужестве! Какой вздор! Полк наш несколько раз ходил в атаку, но не вместе, а поэскадронно. Меня бранили за то, что я с каждым эскадронном ходила в атаку; но это, право, было не от излишней храбрости, а просто от незнания; я думала, так надобно, и очень удивлялась, что вахмистр чужого эскадрона, подле которого я неслась, как вихрь, кричал на меня: «Да провались ты отсюда! зачем ты здесь скачешь?» Воротившись к своему эскадрону, я не стала в свой ранжир, но разъезжала поблизости: новость зрелища поглотила все мое внимание; грозный и величественный гул пушечных выстрелов, рев или какое-то рокотанье летящего ядра, скачущая конница, блестящие штыки пехоты, барабанный бой и твердый шаг и покойный вид, с каким пехотные полки наши шли на неприятеля, все это наполняло душу мою такими ощущениями, которых я никакими словами не могу выразить.

Едва было я не лишилась своего неоцененного Алкида: разъезжая, как я уже сказала, вблизи своего эскадрона и рассматривая любопытную картину битвы, увидела я несколько человек неприятельских драгун, которые, окружив одного русского офицера, сбили его выстрелом из пистолета с лошади. Он упал, и они хотели рубить его лежащего. В ту ж минуту я понеслась к ним, держа пику наперевес. Надобно думать, что эта сумасбродная смелость испугала их, потому что они в то же мгновение оставили офицера

и рассыпались врознь; я прискакала к раненому и остановилась над ним; минуты две смотрела я на него молча; он лежал с закрытыми глазами, не подавая знака жизни; видно, думал, что над ним стоит неприятель; наконец он решился взглянуть, и я тотчас спросила, не хочет ли он сесть на мою лошадь? «Ах, сделайте милость, друг мой!» — сказал он едва слышным голосом; я тотчас сошла с лошади и с трудом подняла раненого, но тут и кончилась моя услуга; он упал ко мне на руку грудью, и я, чуть держась на ногах, не зная, что мне делать и как посадить его на Алкида, которого тоже держала за повод другою рукою; такое положение кончилось бы очень невыгодно для обоих, то есть для офицера и для меня, но, к счастью, подъехал к нам его полка солдат и помог мне посадить раненого на мою лошадь. Я сказала солдату, чтоб лошадь прислали в Коннопольский полк *товарищу Дурову*, а драгун сказал мне, что спасенный мною офицер, *поручик Панин*, Финляндского драгунского полка и что лошадь мою тотчас пришлют. Офицера повезли к его полку, а я пошла к своему; я чувствовала себя весьма в невыгодном положении, оставшись пешком среди скачки, стрельбы, рубки на саблях, и, видя, что все это или пролетало молниєю, или с уверенностью в доброте коня своего тихо галопировало в разных направлениях, вскрикнула: «Увы, мой Алкид! где он теперь!» Я очень раскаивалась, отдавши так безрассудно свою лошадь; и тем более, что мой ротмистр, сначала с участием спросивший меня: «Твою лошадь убили, Дуров? Не ранен ли ты?», но, узнавши, как это случилось, что я хожу тут пешком, с досадою вскрикнул на меня: «Пошел за фронт, повеса!» Хотя печально, но поспешно шла я к тому месту, где видела флюгера пик Коннопольского полка. Встречающиеся с сожалением говорили: «Ах, боже мой! Посмотри, какой молодой мальчик ранен». Иначе никто не мог думать, видя улана пешком в залитом кровью мундире. Я уже сказала, что раненый офицер лежал грудью на руке у меня, и надобно полагать, что рана его была на груди, потому что весь мой рукав был в крови.

К неизъяснимой радости моей, Алкид возвращен мне, хотя и не так, как я надеялась, но все возвращен: я шла задумчиво полем к своему полку, вдруг вижу едущего от неприятельской стороны нашего поручика Подвышанского на моей лошади; я не вспомнилась от радости и, не заботясь о том, каким случаем конь мой очутился под Подвышанским, подбежала гладить и ласкать своего Алкида, который тоже изъясил радость свою прыжком и громким ржаньем. «Разве эта лошадь твоя?» — спросил удивившийся Подвышанский. Я рассказала ему свое приключение. Он тоже не похвалил моей опрометчивости и сказал, что купил мою лошадь у казаков за два червонца; я просила отдать мне ее обратно и взять от меня деньги, им заплаченные. «Хорошо, но на сегодня оставь его у меня; лошадь мою убили, и мне не на чем быть в деле!» Сказал, дал шпоры моему Алкиду и ускакал на нем; а я, я только что не плакала, видя моего ратного товарища в чужих руках, и поклялась в душе никогда уже более никому во всю жизнь не отдавать своей лошади! Наконец этот мучительный день кончился; Подвышанский отдал мне Алкида, и армия наша преследует теперь ретирующегося неприятеля.

24-го и 25-го Мая

Берег Пасарджи. Странное дело! Мы так мало торопились, преследуя неприятеля, что он успел переправиться через эту речку, на берегах которой мы теперь стоим, и нас же встретил выстрелами! Может быть, я ничего в этом не разумею, но мне кажется, что надобно было идти на плечах у неприятеля и разбить его при переправе.

Там же, на *берегу Пасарджи*. Другой день стоим мы здесь и ничего не делаем, да и делать нечего. Впереди нас егеря перестреливаются с неприятельскими стрелками через речку; наш полк поставлен тотчас за егерским; но как нам совсем уже нет дела, то и приказано сойти с лошадей. Я голодна смертельно! У меня нет ни одного сухаря! Казаки, поймавшие

моего Алкида, сняли с него саквы с сухарями, плащ и чемодан; я получила свою лошадь с одним только седлом, а все прочее пропало! Я стараюсь во сне забыть, что мне есть хочется, однако ж это не помогает. Наконец улан, которому я поручена была в смотрение, и имевший еще и теперь власть ментора, заметя, что на седле моем сакв нет и что лицо мое бледно, предложил мне три больших заплесневелых сухаря; я с радостью взяла их и положила в яму, полную дождевой воды, чтобы они несколько размокли. Хотя я не ела более полутора суток, однако ж не могла съесть более одного из этих сухарей, так они были велики, горьки и зелены. Мы продолжали стоять на одном месте; стрелки перестреливаются, уланы так лежат на траве; я пошла от скуки ходить по холмам, где стоят казачьи ведеты. Сходя с одного пригорка, я увидела ужасное зрелище: два егеря, хотевшие, видно, спрятаться от выстрелов или просто на свободе выпить свое вино, лежали оба мертвые: смерть нашла их в этом убежище; они оба убиты были одним ядром, которое, сорвав сидящему выше всю грудь, пробило товарищу его, сидевшему несколько ниже, бок, вырвало внутренности и вместе с ними лежало; подле него тут же лежала и манерка их с водкою. Содрогаясь, ушла я от страшного вида двух этих тел! Возвратись к полку, я легла было в кустах и заснула, но была очень скоро и неприятно разбужена: близ меня упало ядро, вслед за ним прилетело еще несколько; я вскочила и отбежала шагов десять от этого места; но фуражка моя там осталась, я не успела схватить ее; она лежала на траве и на темной зелени ее была похожа на огромный цветок по своему яркому малиновому цвету. Вахмистр приказал мне идти взять ее, и я пошла, хотя не совсем охотно, потому что ядра густо и непрерывно падали в этот кустарник. Причиною этой неожиданной пальбы на нас были наши флюгера; мы воткнули пики в землю при лошадях. Разноцветные флюгера, играя с ветром и трепеща на воздухе, привлекли внимание неприятеля; угадывая по ним наше присутствие в этом лесочке, он направил туда свои пушки; теперь нас отвели дальше и пики велено положить на землю.

Вечером полку нашему приказано быть на лошадях. До глубокой полночи сидели мы на конях и ожидали, когда нам велят двинуться с места. Теперь мы сделались арьергардом и будем прикрывать отступление армии. Так говорит наш ротмистр. Устав смертельно сидеть на лошади так долго, я спросила Вышемирского, не хочет ли он встать; он сказал, что давно сошел бы с коня, если б не ожидал каждую минуту, что полк пойдет. «Мы это услышим и вмиг сядем на лошадей, — сказала я, — а теперь переведем их за этот ров и ляжем тут на траве». Вышемирский последовал моему совету: мы перевели своих лошадей через ров и сами легли в кустах. Я обвила повод около руки и тотчас заснула. Слышу имя свое два раза повторенное! чувствую, что Алкид толкает меня головою, храпит и бьет копытом в землю; слышу, что земля задрожала подо мною и потом все затихло! Сердце мое замирало, я понимала опасность, силилась проснуться, и не могла. Алкид мой! бесценный конь! хотя остался один, слышал в отдалении своих товарищей, был на свободе, потому что повод ослаб и спал с руки моей, не ушел, однако ж, от меня, но только беспрестанно бил копытом землю и храпел, наклоня ко мне морду. С трудом наконец открыла я глаза, встала; вижу, что Вышемирского нет; смотрю на место, где стоял полк, его нет! Я окружена мраком и безмолвием ночи, столь страшной в теперешнем случае. Глухо отдающийся топот лошадей дает мне понять, что полк удаляется на рысях; спешу сесть на Алкида, и справедливость требует признаться, что нога моя не вдруг сыскала стремя! Сев, я опустила повод, и мой конь, верный, превосходный конь мой перескочил ров и прямо через кустарник понес меня легким, быстрым скоком прямо к полку, догнал его в четверть часа и стал в свой ранжир. Вышемирский сказал, что он считал меня погибшим; он говорил, что сам очень испугался, слыша полк удаляющимся, и потому, кликнув меня два раза, оставил на волю Божию участь мою.

Гейльзберг. Французы тут дрались с остервенением. Ах, человек ужасен в своем исступлении! Все свойства дикого зверя тогда соединяются в нем! Нет! это не храбрость! Я не знаю, как назвать эту дикую, зверскую смелость, но она недостойна назваться неустрашимостью! Полк наш в этом сражении мало мог принимать деятельного участия: здесь громила артиллерия и разили победоносные штыки пехоты нашей; впрочем, и нам доставалось, мы прикрывали артиллерию, что весьма невыгодно, потому что в этом положении оскорбление принимается безответно, то есть должно, ни на что несмотря, стоять на своем месте неподвижно. До сего времени я еще ничего не вижу страшного в сражении, но вижу много людей, бледных как полотно, вижу, как низко наклоняются они, когда летит ядро, как будто можно от него уклониться! Видно, страх сильнее рассудка в этих людях! Я очень много уже видела убитых и тяжело раненных! Жаль смотреть на этих последних, как они стонут и ползают по так называемому полю чести! Что может усладить ужас подобного положения простому солдату? рекруту? Совсем другое дело образованному человеку: высокое чувство чести, героизм, приверженность к государю, священный долг к отечеству заставляют его бесстрашно встречать смерть, мужественно переносить страдания и покойно расставаться с жизнью.

В первый раз еще опасность была так близка ко мне, как уже нельзя быть ближе; граната упала под брюхо моей лошади и тотчас лопнула! Черепки с свистом полетели во все стороны! Оглушенная, осыпанная землею, я едва усидела на Алкиде, который дал такого скачка в сторону, что я думала, в него вселился дьявол. Бедный Вышемирский, который жмурится при всяком выстреле, говорит, что он не усидел бы на таком неистовом прыжке; но всего удивительнее, что ни один черепок не задел ни меня, ни Алкида! Это такая необыкновенность, которой не могут надивиться мои товарищи. Ах, верно молитвы отца и благословение старой бабушки моей хранят жизнь мою среди сих страшных, кровавых сцен.

С самого утра идет сильный дождь; я дрожу; на мне ничего уже нет сухого. Беспрепятственно льется дождевая вода на каску, сквозь каску на голову, по лицу за шею, по всему телу, в сапоги, переполняет их и течет на землю несколькими ручьями! Я трепещу всеми членами, как осиновый лист! Наконец нам велели отодвинуться назад; на наше место станет другой кавалерийский полк; и пора! давно пора! Мы стоим здесь почти с утра, промокли до костей, окоченели, на нас нет лица человеческого; и сверх этого потеряли много людей.

Когда полк наш стал на дистанцию, безопасную от выстрелов неприятельских, то я попросила ротмистра позволить мне съездить в Гейльзберг, находившийся от нас в версте расстоянием. Мне нужно было подковать Алкида; он потерял одну подкову, да еще хотелось купить что-нибудь съесть; я так голодна, что даже с завистью смотрела на ломоть хлеба в руке одного из наших офицеров. Ротмистр позволил мне ехать, но только приказал скорее возвращаться, потому что наступала ночь и полк мог переменить место. Я и Алкид, оба дрожащие от холода и голода, понеслись, как вихрь, к Гейльзбергу. В первой попавшейся мне на глаза заездной корчме поставила я своего коня и, увидя тут же кузнецов, кующих казацких лошадей, просила подковать и мою, а сама пошла в комнату; в ней был разведен большой огонь на некотором роде очага или камина какой-то особой конструкции; подле стояли большие кожаные кресла, на которые я в ту ж минуту села, и только успела отдать жидашке деньги, чтобы она купила мне хлеба, как в то же мгновение погрузилась в глубочайший сон!.. Усталость, холод от мокрого платья, голод и боль всех членов от продолжительного сиденья на лошади, юность, не способная к перенесению стольких соединенных трудов, все это вместе, лиша меня сил, предало беззащитно во власть сну, как безвременному, так и опасному. Я проснулась от сильного потрясения за плечо: открыв глаза, с изумлением смотрю вокруг себя! Не могу понять, где

я? зачем в этом месте? и даже что я такое сама! Сон все еще держит в оцепенении умственные силы мои, хотя глаза уже открыты! Наконец я опомнилась и чрезвычайно встревожилась; глубокая ночь уже наступила и покрывала мраком своим все предметы; на очаге едва было столько огня, чтоб осветить горницу. При свете этого то вспыхивающего, то гаснущего пламени увидела я, что существо, потрясавшее меня за плечо, был егерский солдат, который, сочтя меня по пышным белым эполетам за офицера, говорил: «Проснитесь! проснитесь! ваше благородие! канонада усиливается! ядра летят в город!» Я бросилась опрометью туда, где поставила свою лошадь; увидела, что она стоит на том же месте; посмотрела ее ногу — не подкована! В корчме ни души: жид и жидовка убежали! о хлебе нечего уже было и думать! Я вывела своего Алкида и увидела, что еще не так поздно, как мне показалось; солнце только что закатилось, и вечер сделался прекрасный, дождь перестал, и небо очистилось. Я села на моего бедного голодного и неподкованного Алкида. Подъехав к городским воротам, я ужаснулась того множества раненых, которые тут столпились; должно было остановиться! Не было никакой возможности пробраться сквозь эту толпу пеших, конных, женщин, детей! Тут везли подбитые пушки, понтоны, и все это так столпилось, так сжалось в воротах, что я пришла в совершенное отчаяние! Время летело, а я не могла даже и пошевелиться, окруженная со всех сторон беспрестанно движущейся навстречу мне толпою, но нисколько не редущею. Наконец стемнело совсем; канонада затихла, и все замолкло окрест, исключая того места, где я стояла; тут стон, писк, визг, брань, крик чуть не свели с ума меня и моего коня; он поднялся бы на дыбы, если б было столько простора, но как этого не было, то он храпел и лягал кого мог. Боже, как мне вырваться отсюда! где я теперь найду полк! Ночь делается черна, не только темна! Что я буду делать!! К великому счастью моему, увидела я, что несколько казаков пробиваются как-то непостижимо сквозь эту сжатую массу людей, лошадей и орудий; видя их ловко проскакивающих в ворота, я вмиг примкнула к ним и проскочила также, но только жестоко ушибла себе колено и едва не выломила плечо. Вырвавшись на простор, я погладила крутую шею Алкида: «Жаль мне тебя, верный товарищ, но нечего делать, ступай в галоп!» От легкого прикосновения ноги конь мой пустился вскок. Я вверилась инстинкту Алкида; самой нечего уже было братья распоряжать путем своим; ночь была так темна, что и на двадцать шагов нельзя было хорошо видеть предметов; я опустила повод; Алкид скоро перестал галопировать и пошел шагом, беспрестанно храпя и водя быстро ушами. Я угадывала, что он видит или обоняет что-нибудь страшное; но, не видя, как говорится, ни зги, не знала, как отстраниться от беды, если она предстояла мне. Очевидно было, что армия оставила свое место и что я одна блуждаю среди незнаемых полей, окруженная мраком и тишиною смерти!

Наконец Алкид начал всходить на какую-то крутизну столь чрезвычайную, что я всею силою должна была держаться за гриву, чтоб не скатиться с седла; мрак до такой степени сгустился, что я совсем уже ничего не видала перед собою, не понимала, куда еду и какой конец будет такому путешествию. Пока я думала и передумывала, что мне делать, Алкид начал спускаться вдруг с такой же точно ужасной крутизны, на какую поднимался; тут уже некогда было размышлять. Для сохранения головы своей я поспешно прыгнула с лошади и повела се в руках, наклоняясь почти до земли, чтобы видеть, где ставить ногу, и принимая все предосторожности, необходимые при таком опасном спуске. Когда мы с Алкидом стали наконец на ровном месте, тогда я увидела страшное и вместе плачевное зрелище: несчетное множество мертвых тел покрывало поле; их можно было видеть: они были или совсем раздеты, или в одних рубашках, и лежали, как белые тени на черной земле! На большом расстоянии виделось множество огней и вплоть подле меня большая дорога; за мною редут, на который Алкид взбирался и с которого я с таким страхом спускалась. Узнавши наконец, где я нахожусь, и полагая наверное, что виденные мною огни разведены нашею армиею, я села опять на свою лошадь и направила путь свой по дороге к огням прямо против меня; но Алкид свернул влево и пошел сам собою в галоп. Путь, им

выбранный, был ужасен для меня; он скакал между мертвыми телами, то перескакивал их, то наступал, то отскакивал в сторону, то останавливался, наклонял морду, нюхал труп и храпел над ним! Я не могла долее выносить и повернула его опять на дорогу. Конь послушался с приметным нехотением и пошел шагом, все стараясь, однако ж, принять влево. Через несколько минут я услышала топот многих лошадей, голоса людей и наконец увидела едущую прямо ко мне толпу конных; они что-то говорили и часто повторяли: «Ваше превосходительство!» Я обрадовалась, полагая наверное, что превосходительство знает, где огни коннопольцев, или, в противном случае, позволит мне примкнуть к его свите. Когда они подъехали ко мне близко, то едущий впереди, надобно думать, сам генерал, спросил меня: «Кто это едет!» Я отвечала: «Коннополец!» — «Куда ж ты едешь?» — «В полк!» — «Но полк твой стоит вон там, — сказал генерал, указывая рукою в ту сторону, в которую мой верный Алкид так усиленно старался свернуть. — А ты едешь к неприятелю!» Генерал и свита его поскакали к Гейльзбергу, а я, поцеловав несколько раз ушко бесценного моего Алкида, отдала ему на волю выбирать дорогу. Почувствовав свободу, верный конь, в изъявление радости, взвился на дыбы, заржал и поскакал прямо к огням, светящимся в левой стороне от дороги. Мертвых тел не было на пути моем, и, благодаря быстроте Алкида, в четверть часа я была дома, то есть в полку. Коннопольцы были уже на лошадях; Алкид мой с каким-то тихим, дружелюбным ржаньем поместился в свой ранжир и только что успел установиться, раздалась команда: «Справа по три марш!» Полк двинулся. Вышемирский и прочие товарищи одного со мною отделения обрадовались моему возвращению; но вахмистр счел обязанностью побранить меня. «Ты делаешь глупости, Дуров! Тебе не сносить добром головы своей! Под Гутштадтом, в самом пылу сражения, вздумал отдать свою лошадь какому-то раненому!.. Неужели ты не имел ума понять, что кавалерист пешком среди битвы самая погибшая тварь. Над Пасаржею ты сошел с лошади и лег спать в кустах, тогда как весь полк с минуты на минуту ожидал приказа идти, и идти на рысях. Что ж бы с тобою было, если б ты не имел лошади, которая, не во гнев тебе сказать, гораздо тебя умнее! В Гейльзберг отпустили тебя на полчаса, а ты уселся против камина спать, тогда как тебе и думать о сне нельзя было, то есть непозволительно! Солдат должен быть более, нежели человек! В этом звании нет возраста! Обязанности его должны быть исполняемы одинаково как в 17, так в 30 и 80 лет. Советую тебе умирать на коне и в своем ранжире, а то предрекаю тебе, что ты или попадешься бесславно в плен, или будешь убит мародерами, или, что всего хуже, будешь сочтен за труса!» Вахмистр замолчал; но последняя фраза его жестоко уколола меня. Вся кровь бросилась мне в лицо.

Есть, однако ж, границы, далее которых человек не может идти!.. Несмотря на умствования вахмистра нашего об обязанностях солдата, я падала от сна и усталости; платье мое было мокро! Двое суток я не спала и не ела, непрерывно на марше, а если и на месте, то все-таки на коне, в одном мундире, беззащитно подверженная холодному ветру и дождю. Я чувствовала, что силы мои ослабевали от часу более. Мы шли справа по три, но если случался мостик или какое другое затруднение, что нельзя было проходить отделениями, тогда шли по два в ряд, а иногда и по одному; в таком случае четвертому взводу приходилось стоять по несколько минут неподвижно на одном месте; я была в четвертом взводе и при всякой благодетельной остановке его вмиг сходила с лошади, ложилась на землю и в ту ж секунду засыпала! Взвод трогался с места, товарищи кричали, звали меня, и как сон часто прерываемый не может быть крепким, то я тотчас просыпалась, вставала и карабкалась на Алкида, таща за собою тяжелую дубовую пику. Сцены эти возобновлялись при каждой самой кратковременной остановке; я вывела из терпения своего унтер-офицера и рассердила товарищей; все они сказали мне, что бросят меня на дороге, если я еще хоть раз сойду с лошади. «Ведь ты видишь, что мы дремлем, да не встаем же с лошадей и не ложимся на землю; делай и ты так». Вахмистр ворчал вполголоса: «Зачем эти щенята лезут в службу! Сидели бы в гнезде своем!» Остальное

время ночи я оставалась уже на лошади; дремала, засыпала, наклонялась до самой гривы Алкида и поднималась с испугом; мне казалось, что я падаю! Я как будто помешалась! Глаза открыты, но предметы изменяются, как во сне! Уланы кажутся мне лесом, лес уланами! Голова моя горит, но сама дрожу, мне очень холодно! Все на мне мокро до тела!..

Рассвело; мы остановились; нам позволили развести огонь и сварить кашу. Ах, слава богу! теперь я лягу спать перед огнем, согреюсь и высохну! «Нельзя, — говорит вахмистр, видя меня усевшуюся близ огня и свертывающую в комок траву, чтоб положить под голову, — нельзя! Ротмистр приказал кормить лошадей на траве; вынь удила из рта своей лошади и веди ее на траву». Я пошла с моим Алкидом ходить в поле, как и другие; он ел росистую траву, и я грустно стояла подле него. «Ты бледен, как мертвый, — сказал Вышемирский, подходя ко мне со своею лошадыю, — что с тобою? Ты нездоров?» — «Нет, здоров, но жестоко пережяб, дождь промочил меня насквозь, и у меня вся кровь оледенела, а теперь еще надобно ходить по мокрой траве!» — «Кажется, дождь мочил всех нас одинаково, отчего ж мы сухи?» — «Вы все в шинелях». — «А твоя где?» — «Взяли казаки с саквами и чемоданом». — «Это по какому чуду?» — «Разве ты забыл, что я посадил на свою лошадь раненого драгунского офицера и позволил отвезти его на ней в его полк?» — «Ну, да, помню; так что ж?» — «А вот что: лошадь свою нашел я уже в руках Подвышанского; он купил ее у казаков с одним только седлом, а прочее все пропало!» — «Худо, товарищ, ты всех нас моложе; в холодное ночное время недолго выдержишь без шинели! Скажи вахмистру, он даст тебе шинель после убитого; их пропасть отсылают в вагенбург». Мы говорили еще несколько времени; наконец солнце взошло довольно высоко, день сделался жарок, мундир мой высох, усталость прошла, и я была бы очень весела, если б могла надеяться что-нибудь съесть. Но об этом нечего было думать; я не имела своей доли в той каше, которая варилась; итак, я стала прилежно искать в траве каких-нибудь ягод. Ротмистр, проезжая мимо ходящих по полю улан с их лошадьми, заметил мое упражнение. «Чего ты ищешь, Дуров?» — спросил он, подъехав ко мне. Я отвечала, что ищу ягод. Видно, ротмистр угадал причину, потому что, оборотясь к взводному унтер-офицеру, сказал ему вполголоса: «Смотри, чтоб Дуров и Вышемирский были сыты». Он поехал далее, а старые солдаты говорили вслед: «Если мы будем сыты, так будут и они! Об этих щенках всегда больше думают, нежели о старых заслуженных солдатах!» — «Какие вы дураки, старые заслуженные солдаты! — сказал подходивший к ним вахмистр. — О ком же и заботиться, как не о детях! Вы, я думаю, и сами видите, что оба эти товарища только что вышли из детского возраста. Пойдемте со мною, дети, — говорил шутя вахмистр, взяв обоих нас за руки, — ротмистр велел накормить вас». Нам дали супу, жареного мяса и белого хлеба.

Видя, что лошади пасутся спокойно и уланы спят на лугу, я не находила никакой надобности бодрствовать одна; было уже более полудня, жар сделался несносен; я сошла на берег речки, протекавшей близ нашего стана, и легла в высокую траву спать. Алкид ходил неподалеку от меня. Глубокий сон мой был прерван криком: *муштучь!.. садись!..* и топотом бегущих улан к лошадям и с лошадьми к фронту; я вскочила опрометью. Вахмистр был уже на коне и торопил улан строиться; ищу глазами Алкида и, к ужасу моему, вижу его плывущего через реку прямо к другому берегу. В это время вахмистр подскочил ко мне: «Ты что стоишь без лошади!» Некогда было колебаться! я бросилась вслед за моим Алкидом, и оба вместе вышли на противный берег. В одну минуту я замуштучила, села, переплыла обратно и стала в свое место прежде, нежели эскадрон совсем построился. «Ну, по крайней мере, молодецки поправился», — сказал вахмистр с довольным видом.

Шепенбель. Великий боже! какой ужас! Местечко все почти сожжено! Сколько тут зажарившихся людей! о, несчастные!

Июнь 1807

Фридланд. В этом жестоком и неудачном сражении храброго полка нашего легло более половины! Несколько раз ходили мы в атаку, несколько раз прогоняли неприятеля и в свою очередь не один раз были прогнаны! Нас осыпали картечами, мозжили ядрами, а пронзительный свист адских пуль совсем оглушил меня! О, я их терпеть не могу! Дело другое — ядро! Оно, по крайней мере, ревет так величественно и с ним всегда короткая разделка! После нескольких часов жаркого сражения остатку полка нашего ведено несколько отступить для отдохновения. Пользуясь этим, я поехала смотреть, как действует наша артиллерия, вовсе не думая того, что мне могут сорвать голову совершенно даром. Пули осыпали меня и лошадь мою; но что значат пули при этом диком, безумном реве пушек.

Какой-то улан нашего полка, весь покрытый кровью, с перевязанною головою и окровавленным лицом, едет без цели по полю, то в ту, то в другую сторону. Бедный! он не помнит, куда едет! Насилу держится в седле! Я подъехала к нему и спросила, которого он эскадрона? Он что-то пробормотал и покачнулся так сильно, что я должна была удержать его, чтоб не упал. Видя, что он без памяти, я привязала повод его лошади к шее Алкида и, поддерживая одной рукою израненного, поехала с ним к речке, чтобы освежить его водою. Близ речки он как-то образумился, сполз с лошади и упал у ног моих от слабости. Что мне было делать? Бросить его нельзя, погибнет! довести до безопасного места нет возможности; да и где тут безопасное место? Кругом стрельба, пальба, ядра скачут во всех направлениях, гранаты лопаются и в воздухе и на земле, конница, как волнующееся море, то несется вперед, то отступает назад, и в этом ужасном смешении я уже не вижу нигде флюгеров нашего полка. Между тем нельзя было терять времени; я зачерпнула в каску воды и облила ею голову и лицо раненого; он открыл глаза: «Ради бога, не покиньте меня здесь, — сказал он, с трудом приподнимаясь. — Я сяду кой-как на лошадь, отведите меня шагом за последнюю линию нашей армии; бог наградит ваше человеколюбие». Я помогла ему сесть на лошадь, села сама на Алкида, взяла опять повод лошади раненого улана и поехала к Фридланду.

Жители бегут! Полки отступают! множество негодяев солдат, убежавших с поля сражения, не быв ранеными, рассеивают ужас между удаляющимися толпами, крича: «Все погибло! Нас разбили наголову; неприятель на плечах у нас! Бегите! Спасайтесь!» Хотя я не совсем верила этим трусам, однако ж, видя драгун, целыми взводами на рысях несущимися через город, не могла быть покойною; от всей души сожалела я, что увлеклась любопытством смотреть на пальбу из пушек и что злой рок наслал мне раненого. Оставить его на произвол случая казалось мне последнюю степень подлости и бесчеловечия; я не могла этого сделать! Несчастный улан, с помертвевшим лицом, обращал ко мне испуганный взор свой. Я поняла его опасения. «Можешь ли ты ехать немного скорее?» — спросила я. «Не могу», — отвечал несчастный и тяжело вздохнул. Мы продолжали ехать шагом; мимо нас бежали и скакали, крича нам: «Ступайте скорее! Неприятель близко!» Наконец мы въехали в лес; я свернула с дороги и поехала чащею леса, не выпуская из рук повода лошади раненого улана; тень и прохлада леса освежили несколько силы моего товарища; но он, на беду свою, сделал из этого самое дурное употребление: вздумал закурить трубку, остановился, высек огня, закурил свой отвратительный табак, и через минуту глаза его закатились, трубка выпала из рук, и он упал безжизненно на шею своей лошади. Я остановилась, стащила его наземь, положила и, не имея никакого способа привести в чувство, стояла подле его с обеими лошадьми,

дожидаясь, пока он опомнится сам собою. Через четверть часа он открыл глаза, поднялся, сел и смотрел на меня с сумасшедшим видом; я видела, что он мешается в уме; голова его была вся изрублена, и табачный дым произвел над нею действие вина. «Садись на лошадь, — сказала я, — иначе мы поздно приедем, вставай, я помогу тебе». Он не отвечал ничего, но силился встать; я пособила ему подняться на ноги. Держа одною рукою повод лошадей, а другою помогая ему подняться на стремя, я едва не упала от того, что ополоумевший улан, вместо того чтоб взяться за гриву коня, оперся всею тяжестью руки на мое плечо.

Мы опять поехали: толпы все еще бежали с прежним криком — *спасайтесь!* Наконец я увидела провозимые мимо нас орудия; я спросила своего *protege*, не хочет ли он при них остаться? Что ему покойнее будет лежать на лафете, нежели сидеть на лошади. Он приметно обрадовался моему предложению, и я тотчас спросила артиллерийского унтер-офицера, возьмет ли он под свой присмотр раненого улана и его лошадь? Тот охотно взялся и тотчас велел снять моего товарища с лошади, постлать несколько попон на лафет и положить его на нем. Я затрепетала от радости, увидя себя свободною, и тогда же поехала бы отыскивать полк, если б могла от кого-нибудь узнать, где он. До самой ночи ехала я одна, расспрашивая тех, кто проезжал мимо меня, не знают ли они, где Коннопольский уланский полк? Одни говорили, что он впереди, другие говорили, что одна часть армии пошла куда-то в сторону и что в этом отряде и мой полк. Я была в отчаянии! Наступила ночь, надобно было дать отдохнуть Алкиду. Я увидела группу казаков, разведших огонь и варивших себе ужин. Сошед с лошади, я подошла к ним: «Здравствуйте, братцы! Вы, верно, будете здесь ночевать?» — «Будем», — отвечали они. «А лошадей как? пустите на траву?» Они посмотрели на меня с удивлением: «Да куда ж больше! конечно, на траву». — «И они далеко не уйдут от вас?» — «А на что вам это знать?» — спросил меня один старый казак, смотря в глаза мне пристально. «Я хотел бы пустить с вашими лошадьми свою пастись на траву, только боюсь, чтоб она не отошла далеко». — «Ну, посматривайте за нею, привяжите ее на аркан да обмотайте его около руки, так лошадь и не уйдет, не разбудя вас; мы своих пускаем на арканах». Сказавши это, старый казак пригласил меня есть с ними их кашу. После этого они спутали своих лошадей и, привязав их на арканы, обмотали концами их каждый свою руку и легли спать. Я ходила за Алкидом в недоумении, мне тоже хотелось лечь; но как оставить лошадь всю ночь ходить на свободе? Аркана у меня не было. Наконец вздумала я связать Алкиду передние ноги носовым платком; это был тонкий батистовый платок, которых дюжина была мне подарена еще в Малороссии бабушкою. Один только из этой дюжины уцелел и был со мною везде; я очень любила его и сама мыла всякой день в ручье, в речке, в озере, в луже, где случалось; этим платком связала я ноги моему Алкиду и позволила ему есть траву, а сама легла спать неподалеку от казаков.

Заря занялась уже, когда я проснулась; казаков и лошадей их не было, не было также и Алкида моего! Смертельно испуганная, и выше всякого выражения опечаленная, поднялась я с травы, на которой так покойно спала; вокруг меня по всему полю ходили оседланные драгунские лошади. С горьким сожалением в душе пошла я наудачу искать между ними моего Алкида; ходя с полчаса из стороны в сторону, увидела я кусок моего платка, белеющийся вдалеке; я побежала туда, и, к неописанной радости, Алкид прибежал ко мне, прыгая; он заржал и положил голову ко мне на плечо; один конец белого платка волочился еще за правою ногою его, но остаток был изорван в клочки и разбросан по полю. Муштук и трензельные поводья с удилами были взяты. Спрашивать об них у драгун бесполезно: кто им велит сказать, а и того более — отдать? Ужасное положение! Как в таком виде показаться в полк!! Это был прекрасный случай научиться эгоизму: принять твердое намерение всегда и во всяком случае думать более о себе, нежели о других! Два раза уступала я чувству сострадания и в оба раза была очень дурно награждена. Сверх

того, в первый раз ротмистр назвал меня повесою, а что же теперь подумает он обо мне! Сражение продолжалось, когда мне вздумалось подъехать к нашим пушкам, и вдруг меня не стало! Ужасная мысль! Я страшилась остановиться на ней!.. Драгуны, узнав причину моего беспокойства, дали мне длинный ремень, чтоб сделать из него повод, и сказали, что полк мой очень недалеко должен быть впереди, что он также ночевал, как и они, и что я могу застать его еще на месте. Привязывая гадкий ремень к оголовью, оставшемуся на Алкиде, я чувствовала жестокую досаду на самую себя: «О прекрасный конь мой, — говорила я мысленно, — у какой взбалмошной дуры ты в руках!» Но ни раскаяние, ни сожаление, ни досада не спасли меня от беды! Я приехала в полк, и теперь уже не ротмистр, но сам Каховский, генерал наш, сказал мне, что храбрость моя сумасбродная, сожаление безумно, что бросаюсь в пыл битвы, когда не должно, хожу в атаку с чужими эскадронами, среди сражения спасаю встречного и поперечного, и отдаю лошадь свою, кому вздумается ее попросить, а сам остаюсь пешком среди сильнейшей сшибки; что он выведен из терпения моими шалостями и приказывает мне ехать сейчас в вагенбург. Мне, в вагенбург!! До последней капли кровь ушла из лица моего! И самый страшный сон не представлял мне ничего ужаснее этого наказания! Казимирский, отечески любивший меня, с сожалением смотрел на изменение лица моего; он что-то сказал тихонько шефу, но тот отвечал: «Нет, нет! надобно сберечь его». Потом, оборотясь ко мне, стал говорить гораздо уже ласковее: «Я отсылаю вас в вагенбург для того, чтоб сохранить для отечества храброго офицера на будущее время; через несколько лет вы с большею пользою можете употребить ту смелость, которая теперь будет стоять вам жизни, не принеся никакой выгоды». Ах, что мне в этих пустых утешениях! Это одни слова, а сущность та, что я еду в вагенбург. Я пошла к Алкиду готовить его в этот постыдный путь; обняв верного товарища ратной жизни моей, я плакала от стыда и печали! Горячие слезы мои, падая на черную гриву его, катились и скользили по вальтрапу. Вышемирского тоже отсылают в вагенбург. За что ж его? он всегда на своем месте; его нельзя укорить ни в безрассудной смелости, ни в неуместной жалости; он имеет всю рассудительность и хладнокровие зрелого возраста.

Все готово! И вот началось наше погребальное шествие: раненые лошади, раненые люди и мы двое, в цвете лет, совершенно здоровые, движемся медленно, нога за ногою к месту успокоения, к проклятому вагенбургу! Ничего я так сильно не желаю, как того, чтоб Каховскому до самого окончания кампании ни разу не довелось быть в деле.

Тильзит. Здесь мы соединились с нашим полком; все, что только в силах держать оружие, все в строю! Говорят, что отсюда мы пойдем в Россию, итак, кампании конец! Конец и моим надеждам, мечтам; вместо блистательных подвигов я наделала сумасбродств! Буду ли когда иметь случай заглавить их! Беспокойный дух Наполеона и нетвердость короны на голове его обеспечивают меня в этой возможности. Еще заставит он Россию поднять грозное оружие свое, но скоро ли это будет? И что я буду до того времени? Неужели все только товарищем? Произведут ли меня в офицеры без доказательств о дворянстве? А как их достать? Наша грамота у дядюшки, если б он прислал ее! Но нет, он не сделает этого! Напротив... о боже, боже! для чего я осталась живою!.. Я так углубилась в плачевные размышления свои, что не видала, как ротмистр подскакал к тому месту, где я стояла. «Что это, Дуров! — сказал он, дотрагиваясь слегка до плеча моего саблею, — время ли теперь вешать голову и задумываться? Сиди бодро и смотри весело. Государь едет!» Сказав это, поскакал далее. Раздались командные слова, полки выровнялись, заиграли в трубы, и мы преклонили пики несущемуся к нам на прекрасной лошади в сопровождении многочисленной свиты обожаемому царю нашему! Государь наш красавец, в цвете лет; кротость и милосердие изображаются в больших голубых глазах его, величие души в благородных чертах и необыкновенная приятность на румяных устах его! На миловидном лице молодого царя нашего рисуется вместе с выражением благодати какая-то девическая

застенчивость. Государь проехал шагом мимо всего фронта нашего; он смотрел на солдат с состраданием и задумчивостью. Ах, верно отеческое сердце его обливалось кровью при воспоминании последнего сражения! Много пало войска нашего на полях Фридландских!

[Оглавление](#)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЙСК В РОССИЮ

Вошед в родную землю нашу, армия разошлась покорпусно, подивизионно и даже полками в разные места. Полк наш и полки Псковский драгунский и Орденский кирасирский стоят лагерем. У нас шалаши так огромны, как танцевальные залы; в каждом из них помещается взвод. Ротмистр призвал меня и Вышемирского к себе; он сказал, что военное время, в которое могли мы все вместе лежать на соломе, кончилось; что теперь надобно соблюдать пунктуально все приличия и обязанности службы; что мы должны всякому офицеру становиться во фронт, на часах делать ему на караул, то есть саблею вперед, и на переключке окликаться голосом громким и отрывистым. Меня отряжают наравне с другими стеречь ночью наше сено, чистить заступом *пляцуеку*, то есть место для развода перед гаубтвахтою, и стоять на часах у церкви и порохового ящика. Всякое утро и вечер водим мы лошадей наших на водопой к реке, которая от нас в версте расстоянием; мне достается иногда вести двух лошадей в руках и на третьей сидеть; в таком случае я доезжаю благополучно только к реке; но оттуда до лагеря лечу, как вихрь, с моими тремя лошадьми и на лету слышу сыплющиеся вслед мне ругательства от улан, драгун и кирасир. Все они не могут тогда справиться с своими лошадьми, соблазненными дурным примером моих, которые, зная, что у коновязи дадут им овса, несут меня во весь дух и на скаку прыгают, брыкают, рвутся из рук, и я каждую минуту ожидаю быть сорванной с хребта моего Алкида. Выговор за неумение удержать играющих лошадей достается мне всякий раз от вахмистра и дежурного офицера.

Наконец мы на квартирах; жизнь моя проходит в единообразных занятиях солдата: на рассвете я иду к своей лошади, чищу ее, кормлю и, накрыв попоною, оставляю под покровительством дневального, а сама иду на квартиру, на которой я, к удовольствию моему, стою одна; хозяйка моя теперь — добрая женщина, дает мне молоко, масло и хороший хлеб. Глубокая осень делает прогулки мои не так приятными для меня. Как была бы я рада, если бы могла иметь книги! У ротмистра их много; думаю, он не нашел бы странным, если бы я попросила его позволить мне прочесть их; но боюсь, однако ж, пуститься на этот риск. Если, сверх ожидания моего, скажет он, что солдату есть чем заняться, кроме книг, тогда мне будет очень стыдно. Подожду! будет еще время читать. Неужели я буду всю жизнь простым солдатом? Вышемирского произвели уже в унтер-офицеры. Правда, у него есть покровительница, графиня Понятковская. Еще при начале кампании она сама привезла его к Беннигсену и получила от него обещание быть непосредственным покровителем ее питомца. Но я, я одна в этом просторном мире! Кому надобность заботиться обо мне! Надобно всего ожидать от времени и самой себя! Странно было бы, если б начальники мои не умели отличить меня от солдат, взятых от сохи.

Крессы — так называется у коннопольцев обязанность развозить *приказы* из штаба в эскадронную квартиру; *быть на крессах* — значит быть послану с одним из таких приказов. Сегодня моя очередь; это объявил мне Гачевский, мой взводный унтер-офицер: «Тебе на крессы, Дуров». — «Очень рад!» Я в самом деле рада всякой новости. В лагере меня очень веселила откомандировка чистить *пляцувку*; я так охотно работала, соскабливала с земли траву заступом, сметала ее в кучу метлою и все это делала, как будто всю жизнь никогда ничего другого не делала. Бывший ментор мой почти всегда

присутствовал при этих трудах; он трепал меня по плечу и говорил: *«zmor-duiesz sie dziecko! praciuj po woli»* (Замучишься, паренек! работай, пока хочется (польск.)).

Вечером принесли приказ из штаба, и Гачевский велел мне сейчас отправиться с ним к ротмистру, квартировавшему в пяти верстах от нашего селения. «Я пойду пешком, — сказала я Гачевскому. — Мне жаль мучить Алкида». — «Мучить! да тут всего пять верст; а, впрочем, если тебе Алкидовых ног жаль больше, нежели своих, ступай пешком». Я пошла; солнце уже закатилось, вечер был прекрасный; дорога пролегала через поля, засеянные рожью; в иных местах извивалась между кустарником. В Польше природа пленительна! По крайней мере, я нахожу ее лучше нашей северной. У нас и среди лета нельзя забыть о зимней стуже: так она всегда близко к нам! Наша зима, настоящая зима, страшная, всемертвящая! А здесь она так коротка, так снисходительна! Снег здешней зимы оставляет взору удовольствие видеть верхушки травы; и этот вид не совсем скрывшейся зелени дает отрадное предчувствие сердцу, что при первом весеннем ветре покажется земля, а там трава, а там — тепло и весна!.. Пока я шла и мечтала, небо закрылось тучами, и зачал кропить мелкий и теплый дождик; я прибавила шагу, и как селение было в виду, то я успела дойти до него прежде, нежели дождь пошел сильнее. Ротмистр прочитал приказ; спросил меня, хороши ли наши квартиры, и после сказал: «Ведь уже ночь, ты можешь завтра отправиться в взвод, а теперь поди переночуй в конюшне». Я совсем этого не ожидала! и мне стало стыдно за Галефа; не с ума ли он сошел? Правда, ему и во сне не снится, кто я... Однако ж все-таки зачем посылать в конюшню... вот прекрасная спальня!

Дождь совсем уже перестал и только изредка накрапывал; я пошла обратно. Но, чтоб быть скорее дома, вздумала идти по глазомеру, прямым путем в ту сторону, где, я знала, что была наша деревня; чтоб успеть в этом, надобно было идти без дороги, через хлебные поля, что я и исполнила, ни минуты не размышляя. Не будет ли этот прямой путь длиннее обыкновенной дороги! Пока я шла с краю ржаного поля, то все еще было сносно; ночь была светла, я могла ясно различать предметы. Рожь, смоченная дождем, хотя и обвивалась около меня, но платье мое все еще не промокало; наконец тропинка стала углубляться в середину поля; я вошла в рожь, высокую и густую, и была выше ее только одною головой. Горя нетерпением выйти скорей на чистое место, я шла быстро, не заботясь уже, что густая рожь все свои дождевые капли отдавала мне на мундир; но сколько ни торопилась, не видела конца необозримой равнины колосьев, волнующихся, как море. Я устала, вода текла с меня ручьями; от скорой ходьбы сделалось мне до нестерпимости жарко; тут я пошла тише и утешалась только тем, что ночь когда-нибудь кончится и что я при свете дня увижу наконец, где наша деревня. Покорясь мысленно своему грустному предназначению проплутать всю ночь по мокрой ниве между высокою рожью, я шла тихо и невесело. Да и что могло развлекать меня, идущую по уши во ржи и не имеющую перед глазами ничего, кроме колосьев!

Через полчаса терпеливого путешествия моего, и когда я менее всего надеялась увидеть что-нибудь похожее на деревню или забор, вдруг очутилась у самых ворот деревни. Ах, как я обрадовалась! вмиг отворила ворота и почти лѐтом примчалась к своей квартире. Там все уже спали, огня не было, и я долго еще возилась впотьмах, пока отыскала чемодан, вынула из него белье, разделась, переоделась, завернулась в шинель, легла и в ту ж секунду заснула.

Алкид!.. О смертельная боль сердца, когда ты утихнешь!.. Алкид! мой неоцененный Алкид! некогда столь сильный, неукротимый, никому не доступный и только младенческой руке моей позволявший управлять собою! Ты, который так послушно носил меня на хребте своем в детские лета мои! который протекал со мною кровавые поля чести,

славы и смерти; делил со мною труды, опасности, голод, холод, радость и довольство! Ты, единственное из всех животных существ, меня любившее! тебя уже нет! ты не существуешь более!

Четыре недели прошло со времени этого несчастного происшествия! Я не принималась за перо; смертельная тоска тяготит душу мою! Уныло хожу я всюду с поникшею главою. Неохотно исполняю обязанности своего звания; где б я ни была и что б ни делала, грусть везде со мною и слезы беспрестанно навертываются на глазах моих! На часах сердце мое обливается кровью! Меня сменяют, но я не побегу уже к Алкиду! Увы, я пойду медленно к могиле его!! Раздают вечернюю дачу овса, я слышу веселое ржанье коней наших, но молчит голос, радовавший душу мою!.. Ах, Алкид, Алкид! веселие мое погребено с тобой!.. Не знаю, буду ли в силах описать трагическую смерть незабвенного товарища и юных лет моих и ратной жизни моей! Перо дрожит в руке, и слезы затмевают зрение! Однако ж буду писать; когда-нибудь батюшка прочитает записки мои и пожалеет Алкида моего.

Лошади наши стояли все вместе в большой эскадронной конюшне, и мы так же, как в лагере, водили их на водопой целым эскадроном. Дурная погода, не позволявшая делать ни ученья, ни поездки, была причиною, что лошади наши застоялись, и не было возможности сладить с ними при возвращении с водопоя. В день, злосчастнейший в жизни моей, вздумала я, к вечному раскаянию моему, взять Алкида в повод; прежде я всегда садилась на него, а в повод брала других лошадей; теперь, на беду свою, сделала напротив! Когда ехали к реке, Алкид прыгал легонько, не натягивая повода, и то терся мордою об колено мое, то, играя, брал губами за эполет; но на обратном пути, когда все лошади зачали прыгать, скакать на дыбы, храпеть, брыкаться, а некоторые, вырвавшись, стали играть и визжать, то мой несчастный Алкид, увлекшись примером, взвился на дыбы, прыгнул в сторону, вырвал повод из рук моих и, несомый злым роком своим, полетел, как стрела, перепрыгивая на скаку низкие плетни и изгороди. О, горе, горе мне, злополучной свидетельнице ужаснейшего моего несчастья! Следуя глазами за быстрым скоком. моего Алкида, вижу его прыгающего... и смертный холод пробегает по телу моему... Алкид прыгает через плетень, в котором заостренные колья на аршин выставились вверх. Сильный конь мог подняться в высоту, но, увы, не мог перенестись! Тяжесть тела опустила его прямо на плетень. Один из кольев вонзился ему во внутренность и переломился! С криком отчаяния пустилась я скакать вслед за моим несчастным другом; я нашла его в стойле; он трепетал всем телом, и пот ручьями лился с него. Пагубный обломок оставался во внутренности и еще на четверть был виден снаружи. Смерть была неизбежна! Прибежав к нему, я обняла его шею и обливала слезами. Добрый конь положил голову на плечо мое, тяжело вздыхал и наконец минут через пять упал и судорожно протянулся!.. Алкид! Алкид!.. для чего я не умерла тут же... Дежурный офицер, увидя, что я обнимаю и покрываю поцелуями и слезами бездыханный труп моей лошади, сказал, что я глупо ребячусь, и приказал вытащить ее в поле; я побежала к ротмистру просить, чтоб приказал оставить в покое тело моего Алкида и позволил мне самой похоронить его. «Как! бедный Алкид твой умер? — спросил ротмистр с участием, видя заплаканные глаза мои и бледное лицо. — Жаль! жаль!.. ты так любил его! Ну что ж делать, не плачь! Я велю дать тебе любую лошадь из эскадрона. Ступай, похорони своего товарища». Он послал со мною своего вестового, и дежурный офицер не мешал уже мне заняться печальною работою хоронить моего Алкида. Товарищи мои, тронутые чрезмерностью моей горести, вырыли глубокую яму, опустили в нее Алкида, засыпали его землею и, нарезав саблями дерну, обложили им высокий курган, под которым спит сном беспробудным единственное существо, меня любившее.

Товарищи мои, кончив свою работу, пошли в эскадрон, а я осталась и до глубокой ночи плакала на могиле моего Алкида. Человеколюбивый ротмистр приказал, чтоб дня два не мешали мне грустить и не употребляли никуда по службе. Почти все это время я не оставляла могилы коня моего! Несмотря на холодный ветер и на дождь, я оставалась на ней до полночи; возвратясь на квартиру, ничего не ела и плакала до утра. На третий день взводный начальник мой, призвав меня, сказал, чтобы я выбрала себе лошадь, что ротмистр приказал дать мне любую. «Благодарю за милость, — отвечала я, — но теперь все лошади равны для меня; я возьму какую вам угодно будет дать мне».

Когда я приходила убирать моего Алкида, то делала это охотно; но теперь такое занятие кажется мне очень неприятным. С глубоким вздохом отвела я свою новую лошадь в то стойло, где умер мой Алкид, и накрыла ее тою попоною, которою три дня тому назад покрывала его. Я уже не плачу, но безрадостно брожу по пожелтевшим полям. Смотрю, как холодный осенний дождь брызжет на могилу Алкида моего и мочит дерн, по которому он так весело прыгал.

Всякое утро первые шаги мои к могиле Алкида. Я ложусь на нее, прижимаюсь лицом к холодной земле, и горячие слезы мои уходят в нее вместе с дождевыми каплями. Переносясь мысленно к детским летам моим, я вспоминаю, сколько радостных часов доставляли мне редкая привязанность и послушание этой прекрасной лошади! Вспоминаю те превосходные летние ночи, когда я, ведя за собой Алкида, всходила на Старцову гору по такой тропинке, по которой взбирались туда одни только козы; мне ничего не стоило идти по ней, маленькие ступни мои так же удобно устанавливались на ней, как и козлиные копытца; но добрый конь рисковал оборваться и разбиться в прах; несмотря на это, он шел за мною послушно, хотя и дрожал от страха, видя себя на ужасной высоте и над пропастью! Увы, мой Алкид! Сколько бед, сколько опасностей пронеслось мимо, не сделав тебе никакого вреда! Но мое безрассудство, мое гибельное безрассудство положило наконец тебя в могилу! Мысль эта терзает, раздирает душу мою!.. Ничто уже не радует меня; самая тень усмешки исчезла с лица моего. Все, что ни делаю, делаю машинально, по навыку. С мертвым равнодушием еду на ученье, молчаливо возвращаюсь, когда оно кончится, расседываю лошадь и ставлю на место, не глядя на нее, и ухожу, не говоря ни с кем ни слова.

За мною приехал унтер-офицер от шефа; меня требуют в штаб. Зачем же это? Однако ж мне ведено отдать свою лошадь, седло, пику, саблю и пистолеты в эскадрон, итак, видно, я сюда не возвращусь! Пойду проститься с Алкидом! Я так же неутешно плакала на могиле моего Алкида, как и в день смерти его, и, сказав ему *вечное прости*, в последнее поцеловала землю, его покрывающую.

Полоцк. Какой-то важный переворот готовится в жизни моей! Каховский спрашивал меня: «Согласны ли были мои родители, чтобы я служил в военной службе? и не против ли их воли это сделалось?» Я тотчас сказала правду, что отец и мать моя никогда б не отдали меня в военную службу; но, что, имея непреодолимую склонность к оружию, я тихонько ушла от них с казачьим полком. Хотя мне только семнадцать лет, однако ж я имею уже столько опытности, чтобы угадать тотчас, что Каховский знает обо мне более, нежели показывает, потому что, выслушав мой ответ, он не оказал и виду удивления к странному образу мыслей моих родителей, не хотевших отдать сына в военную службу, тогда как все дворянство предпочтительно избирает для детей своих военное звание. Он сказал только, что мне должно ехать в Витебск к Буксгевдену с господином Нейдгардтом, его адъютантом. Нейдгардт был тут же. Когда Каховский отдал мне это приказание, то Нейдгардт тотчас раскланялся и пошел со мною к себе в дом. Он оставил меня в зале, а сам ушел к своему семейству во внутренние комнаты. Через четверть часа то одна, то

другая голова начали выглядывать на меня из неотворенных дверей; Нейдгардт не выходил; он там обедал, пил кофе и сидел долго, а я все время была одна в зале. Какие странные люди! для чего они не пригласили меня обедать с ними.

К вечеру мы выехали из Полоцка. На станциях Нейдгардт пил кофе, а я должна была стоять у повозки, пока переменяли лошадей.

Теперь я в Витебске, живу на квартире Нейдгардта; он стал другим человеком; разговаривает со мною дружески и как вежливый хозяин угощает меня чаем, кофеем, завтраком; словом, поступает так, как бы надобно поступать сначала. Он говорит, что привез меня в Витебск по приказанию главнокомандующего и что мне должно будет к нему явиться.

Я все еще живу у Нейдгардта. Поутру мы вместе завтракаем, после он уходит к главнокомандующему, а я остаюсь в квартире или хожу гулять; но теперь глубокая осень и вместе глубокая грязь. Не находя места, где б можно было ходить по-людски, я иду в трактир, в котором Нейдгардт всегда обедает; там дожидаясь его и обедаю с ним вместе. После обеда он уходит, а я остаюсь в комнате содержательницы трактира; мне тут очень весело; трактирщица добрая, шутливая женщина, зовет меня *улан-панна* и говорит, что если я позволю себя зашнуровать, то она держит пари весь свой трактир с доходом против златого, что во всем Витебске нет ни одной девицы такой тонкой и прекрасной талии, как моя. С этими словами она тотчас идет и приносит свою шнуровку; дочери ее хохочут, потому что в эту шнуровку могли бы поместиться они все и вместе со мною.

Пять дней минуло, как я живу в Витебске; наконец сегодня вечером Нейдгардт сказал мне, что завтра должно мне быть у главнокомандующего, что он приказал привести меня часу в десятом поутру.

На другой день мы пошли с Нейдгардтом к графу Буксгевдену: он ввел меня к нему в кабинет и сам тотчас вышел. Главнокомандующий встретил меня с ласковою улыбкою и прежде всего спросил: «Для чего вас арестовали, где ваша сабля?» Я сказала, что все мое вооружение взяли от меня в эскадрон. «Я прикажу, чтоб все это вам отдали; солдата никуда не должно отправлять без оружия». После этого спросил, сколько мне лет, и продолжал говорить так: «Я много слышал о вашей храбрости, и мне очень приятно, что все ваши начальники отзывались об вас самым лучшим образом... — Он замолчал на минуту, потом начал опять: — Вы не испугайтесь того, что скажу вам; я должен отослать вас к государю. Он желает видеть вас! Но повторяю, не пугайтесь этого; государь наш исполнен милости и великодушия; вы узнаете это на опыте». Я, однако ж, испугалась: «Государь отошлет меня домой, ваше сиятельство, и я умру с печали!» Я сказала это с таким глубоким чувством горести, что главнокомандующий был приметно тронут. «Не опасайтесь этого; в награду вашей неустрашимости и отличного поведения государь не откажет вам ни в чем; а как мне ведено сделать о вас выправки, то я к полученным мною отзывам вашего шефа, эскадронного командира, взводного начальника и ротмистра Казимирского приложу еще и свое донесение; поверьте мне, что у вас не отнимут мундира, которому вы сделали столько чести». Сказав это, генерал вежливо поклонился мне, что и было знаком, чтобы я ушла.

Вышед в залу, я увидела Нейдгардта, разговаривающего с флигель-адъютантом Зассом; они оба подошли ко мне, и Нейдгардт сказал: «Главнокомандующий приказал мне отдать вас на руки господину Зассу, флигель-адъютанту его императорского величества; вы поедете с ним в Петербург, итак, позвольте пожелать вам благополучного пути». Засс взял меня за руку: «Теперь вы пойдете со мною на мою квартиру; оттуда пошлем принести

ваши вещи от Нейдгардта и завтра очень рано отправимся обратно в Полоцк, потому что Буксгевден приказал, чтоб вам непременно было отдано все ваше вооружение». На другой день очень рано выехали мы из Витебска и скоро приехали в Полоцк.

Полоцк. Засс пошел к Каховскому и через час возвратился, говоря, что Каховский, к удивлению, обедает в двенадцать часов, удержал его у себя и что он должен был есть нехотя. «Завтра мы выедем отсюда очень рано, Дуров. Вам, верно, не новое вставать на рассвете?» Я сказала, что иначе никогда и не вставал, как на рассвете. Вечером пришли ко мне мои взводные сослуживцы и велели меня вызвать. Я пришла. Добрые люди! это были взводный унтер-офицер и ментор мой, учивший меня всему, что надобно знать улану пешком и на коне. «Прощайте, любезный наш товарищ! — говорили они, — дай бог вам счастья; мы слышали, вы едете в Петербург, хвалите нас там; мы вас хвалили здесь, когда шеф расспрашивал о вас; а особливо меня, — сказал ментор мой, закручивая усы свои с проседью. — Ведь я по приказу Казимирского был вашим дядькою; шеф взял меня к себе в горницу и целый час выпрашивал все до самой малости; и я все рассказал, даже и то, как вы плакали и катались по земле, когда умер ваш Алкид». Напоминание это заставило меня тяжело вздохнуть. Я простилась с моими сослуживцами, отдала наставнику своему годовое жалованье свое и возвратилась в залу в самом грустном расположении духа.

Наконец мы пустились в путь к Петербургу. Коляска наша чуть двигается, мы тащимся, а не едем. На всякой станции запрягают нам лошадей по двенадцати, и все они не стоят двух порядочных; они более похожи на телят, нежели на лошадей, и часто, стараясь бесполезно вытащить экипаж из глубокой грязи, ложатся наконец сами в эту грязь.

Почти на всякой станции случается с нами что-нибудь смешное. На одной подали нам к чаю окровавленный сахар. «Что это значит?» — спросил Засс, отталкивая сахарницу. Смотритель, ожидавший в другой горнице, какое действие произведет этот сахар, выступил при этом вопросе и с какою-то торжественностью сказал: «Дочь моя колола сахар, ранила себе руку, и это ее кровь!» — «Возьми же, глупец, свою кровь и вели подать чистого сахару», — сказал Засс, отворачиваясь с омерзением. Я от всего сердца смеялась новому способу доказывать усердие свое в угощении. Еще на одной станции Засс покричал на смотрителя за то, что он был пьян, говорил грубости и не хотел дать лошадей. Услыша громкий разговор, жена смотрителя подскочила к Зассу с кулаками и, прыгая от злости, кричала визгливым голосом: «Что за бессудная земля! смеют бранить смотрителя!» Оглушенный Засс не знал, как отвязаться от сатаны, и вздумал сдавить ее за нос; это средство было успешно; *мегера* с визгом убежала, а за нею и смотритель. Полчаса ждали мы лошадей, но, видя, что их не дают, расположились тут пить чай. Засс послал меня парламентаром к смотрительше вести переговоры о сливках. Неприятель наш был рад замирению, и я возвратилась с полною чашкою сливок. Через час привели лошадей, и мы очень дружелюбно расстались с проспавшимся смотрителем и его женою, которая, желая, мне особливо, счастливой дороги, закрывала нос свой передником.

[Оглавление](#)

ПЕРВЫЙ ПРИЕЗД МОЙ В СТОЛИЦУ

Петербург. Вот наша светлая, чистая, великолепная столица! памятник непобедимого мужества, великого духа и геройской решимости бессмертного Петра!

Три дня уже прошло, как мы приехали. Я живу у Засса и всякий день хожу смотреть на монумент Петра Великого. Как достойно дано ему это название! Петр был бы великим, в

каком бы состоянии ни родился! Величественная наружность его вполне отвечает обширному гению, некогда управлявшему его великою душою!

Участь моя решилась! Я была у государя! видела его! говорила с ним! Сердце мое слишком полно и так неизъяснимо счастливо, что я не могу найти выражений для описания чувств моих! Великость счастья моего изумляет меня! восхищает! О, государь! от сего часа жизнь моя принадлежит тебе!..

Когда князь В*** отворил мне дверь государева кабинета и затворил ее за мною, государь тотчас подошел ко мне, взял за руку и, приблизясь со мною к столу, оперся одной рукою на него, а другою продолжая держать мою руку, стал спрашивать вполголоса и с таким выражением милости, что вся моя робость исчезла и надежда снова ожила в душе моей. «Я слышал, — сказал государь, — *что вы не мужчина, правда ли это?*» Я не вдруг собралась с духом сказать: «Да, ваше величество, правда!» С минуту стояла я, потупив глаза, и молчала; сердце мое сильно билось, и рука дрожала в руке царевой! Государь ждал! Наконец, подняв глаза на него и сказывая свой ответ, я увидела, что государь краснеет; вмиг покраснела я сама, опустила глаза и не поднимала уже их до той минуты, в которую невольное движение печали повергло меня к ногам государя! Расспросив подробно обо всем, что было причиною вступления моего в службу, государь много хвалил мою неустрашимость, говорил: *что это первый пример в России; что все мои начальники отозвались обо мне с великими похвалами, называя храбрость мою беспримерною; что ему очень приятно этому верить и что он желает сообразно этому наградить меня и возратить с честью в дом отцовский, дав...* Государь не имел времени кончить; при слове: *возратить в дом!* я вскрикнула от ужаса и в ту же минуту упала к ногам государя: «Не отсылайте меня домой, ваше величество! — говорила я голосом отчаяния, — не отсылайте! я умру там! непременно умру! Не заставьте меня сожалеть, что не нашлось ни одной пули для меня в эту кампанию! Не отнимайте у меня жизни, государь! я добровольно хотела ею пожертвовать для вас!..» Говоря это, я обнимала колени государевы и плакала. Государь был тронут; он поднял меня и спросил изменившимся голосом: «*Чего же вы хотите?*» — «Быть воином! носить мундир, оружие! Это единственная награда, которую вы можете дать мне, государь! другой нет для меня! Я родилась в лагере! трубный звук был колыбельной песнею для меня! Со дня рождения люблю я военное звание; с десяти лет обдумывала средства вступить в него; в шестнадцать достигла цели своей — одна, без всякой помощи! На славном poste своим поддерживалась одним только своим мужеством, не имея ни от кого ни протекции, ни пособия. Все согласно признали, что я достойно носила оружие! а теперь, ваше величество, хотите отослать меня домой! Если б я предвидела такой конец, то ничто не помешало б мне найти славную смерть в рядах воинов ваших!» Я говорила это, сложив руки, как пред образом, и смотря на государя глазами полными слез. Государь слушал меня и тщетно старался скрыть, сколько был он растроган. Когда я перестала говорить, государь минуты две оставался как будто в нерешимости; наконец лицо его осветилось: «*Если вы полагаете, — сказал император, — что одно только позволение носить мундир и оружие может быть вашею наградою, то вы будете иметь ее!*» При этих словах я затрепетала от радости. Государь продолжал: «*И будете называться по моему имени — Александровым! Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойною этой чести отличностию вашего поведения и поступков; не забывайте ни на минуту, что имя это всегда должно быть беспорочно и что я не прощу вам никогда и тени пятна на нем!.. Теперь скажите мне, в какой полк хотите вы быть помещены? Я произведу вас в офицеры.*» — «В этом случае, позвольте мне, ваше величество, отдаться в вашу волю», — сказала я. «*Мариупольский гусарский полк — один из храбрейших, и корпус офицеров из лучших фамилий, — говорил мне государь, — я прикажу поместить вас туда. Завтра получите вы от Ливена, сколько вам надобно будет на дорогу и обмундировку. Когда все*

уже готово будет к вашему отправлению в полк, я еще увижу вас». Сказавши это, государь поклонился мне; я тотчас пошла к двери, но, не умея отворить, вертела во все стороны бронзовую головку, за которую держала; государь, видя, что я не выйду без его помощи, подошел, отпер мне дверь и смотрел за мною вслед до другой двери, с которою я управилась уже сама. Вошед в залу, я вмиг увидела себя окруженной пажами, которые наперерыв спрашивали меня: «Что говорил с вами государь?... произвел он вас в офицеры?» Я не знала, что отвечать им. Но Засс и с ним еще один флигель-адъютант подошли ко мне, и толпа шалунов почтительно отступила. Флигель-адъютант, подошедший вместе ко мне с Зассом, спросил меня: «Есть ли вам лет пятнадцать?» Я отвечала, что мне уже восемнадцатый год. «Нам писали чудеса о вашей неустрашимости», — сказал он с вежливою уклонкою. Засс прекратил этот разговор, взявши меня за руку. «Нам пора ехать, князь, — сказал он своему товарищу и пошел со мною из дворца. Сходя с лестницы, он спросил: — Не хочешь ли, Дуров, познакомиться с моею родственницею генеральшею Засс?» Я отвечала, что буду очень довольна этим. «Ну так мы сейчас поедem к ней обедать; а после обеда отправимся все вместе показать вам Эрмитаж: там много любопытного».

Госпожа Засс приняла меня очень вежливо. После обеда поехали мы в Эрмитаж. Там более всего привлекли мое внимание картины; я страстно люблю живопись. Генеральша говорит, что если я буду смотреть одни только картины, то не кончу в месяц. «Вот посмотрите, — говорила она, показывая мне букет из яхонтов, алмазов, изумрудов и тому подобных драгоценностей, — посмотрите, это несравненно любопытнее». Я не одного мнения с нею! Что значат камни в сравнении с прекрасным произведением кисти, в котором дышит жизнь! Мне очень понравились четыре картины, представляющие двух девиц во весь рост; на первых двух изображены они в детских летах, а на других в юношеских и так, что, смотря на больших, сейчас узнаешь в них тех прекрасных детей, которые так пленительны своею младенческою красотою! Смотрела на изображение Клеопатры, искала в нем царицы, предпочитающей смерть унижению, и видела только женщину с желтым опухлым лицом, в чертах которого не было никакого выражения, ни даже выражения боли! По обнаженной руке ее ползет пиявка и пробирается прямо к плечу; этот смешной аспид не стоил великой чести уязвить царицу. Можно положить в заклад свою голову, что ни один человек в мире не узнал бы в этом изображении царицы Египетской, и я узнала потому, что Засс сказал мне, показывая на нее рукою: «Вот славная Клеопатра!» Нужно ли было говорить это, если б ее изобразили прилично тому, чем она была!

Сегодня воскресенье; я обедала у генеральши; вечером она, ее племянница, девица Юрковская, Засс и я поехали в театр. По всему видно было, что поехали только для меня; в воскресенье никто из хорошего тона людей не бывает в театре, в воскресенье обыкновенно дается *русалка* или другая подобная ей фарса, наполненная нелепостями; теперь также играли которую-то часть русалки; актриса, представлявшая Лесту, уродовала роль свою со всем возможным старанием; не понимая вовсе характера лица, ею играемого, она в хитоне русалки кривлялась, жеманилась, говорила свысока, усмехалась и смотрела на партер, не заботясь о своем Видостане. Скучнее этого вечера я еще никогда не проводила; пьеса и актриса нагнали мне тоску. Когда села я в карету, генеральша спросила меня: как показалось мне представление? Я сказала откровенно, что пьеса показалась мне составленною из нелепостей, а главная актриса именно на то лицо не похожа, которое представляла. Откровенность моя, кажется, не понравилась; мне отвечали сухо, что петербургские актрисы считаются лучшими из всех.

Сегодня, новое покушение удивить меня, занять, развеселить, и опять неудачное, и все это от странных средств. Вздумали показывать мне *китайские тени*; но как я не дитя и не

крестьянка, то после первой картинки перестала смотреть на эти штуки. Надобно думать, что генеральша не предполагает во мне ни хорошего воспитания, ни хорошего вкуса; как бы то ни было, но доброе намерение ее заслуживает мою благодарность.

Я еще раз была у государя! Первые слова, которыми он встретил меня, были: *«Мне сказывали, что вы спасли офицера! неужели вы отбили его у неприятеля? Расскажите мне это обстоятельство»*.

Я рассказала подробно все происшествие и назвала офицера; государь сказал, *что это известная фамилия и что неустрашимость моя в этом одном случае более сделала мне чести, нежели в продолжение всей кампании, потому что имела основанием лучшую из добродетелей — сострадание!* — *«Хотя поступок ваш, — продолжал государь, — служит сам себе наградою, однако ж справедливость требует, чтоб вы получили и ту, которая вам следует по статуту: за спасение жизни офицера дается Георгиевский крест!»* С этими словами государь взял со стола крест и своими руками вдел в петлицу мундира моего. Я вспыхнула от радости и в замешательстве ухватила обе руки государя, чтоб поцеловать их, но он не допустил. *«Надеюсь, — сказал государь, — что крест этот будет вам напоминать меня в важнейших случаях жизни вашей»*. Много заключается в словах сих! Клянусь, что обожаемый отец России не ошибется в своем надеянии; крест этот будет моим ангелом-хранителем! До гроба сохраню воспоминание, с ним соединенное; никогда не забуду происшествия, при котором получила его, и всегда-всегда буду видеть *руку*, теперь к нему прикасавшуюся!..

Возвратясь на квартиру Засса, у которого живу с самого приезда в Петербург, я не успела еще скинуть подсумка, как увидела вошедшего вслед за мною старика, который дрожащим голосом спрашивал у Засса: «Можно ли мне видеть коннопольского полка товарища Дурова? Я родной дядя его». Услыша слова эти, я отгадала, что вижу перед собою меньшого брата отца моего, и первая мысль моя была убежать; к счастью, я не имела времени сделать этой глупости. На вопрос дяди Засс тотчас показал меня рукою, и дядя, подошед ко мне, обнял меня и сказал вполголоса: «Мать твоя умерла!» Слова эти, как острый кинжал, вонзились мне в сердце. Я затрепетала, побледнела и, чувствуя, что слезы готовы брызнуть из глаз моих, взяла, не имея сил сказать ни одного слова, дядю за руку и вышла с ним из квартиры Засса. «Поедем ко мне», — сказал дядюшка, когда мы были уже на улице. Я села в его сани и во всю дорогу молчала, закрывая глаза и лицо шинелью, чтоб проходящие не видали, что я плачу.

Дома дядя рассказал мне, что отец мой получил от меня письмо из *Гродно* и, увидев из этого письма, что я вступила в Коннопольский полк товарищем, испугался столь необыкновенного шага моего; не зная, как помочь этому и что делать, он отослал письмо мое к матушке. Последствия этой неосторожности были гибельны. Я имела безрассудство писать, что непомерная строгость матери выгнала меня из дома отцовского! что я прошу батюшку, в случае, если я буду убита, простить мне ту печаль, которую нанесет ему смерть моя. Матушка лежала опасно больная в постели и была очень слаба, когда ей принесли это письмо; она взяла его, прочитала; молчала с минуту; потом, сказав со вздохом: «Она *винит меня?*» — отвернулась к стене и умерла!.. Я рыдала, как пятилетнее дитя, слушая этот рассказ. Думала ли я, что батюшка покажет ей это письмо!! Дядя дал мне волю предаваться всей жестокости моей печали и раскаяния и отложил рассказать остальное до другого дня.

Получа письмо свое обратно, отец мой послал его к дяде в Петербург и просил узнать, в живых ли я. Дядя показал это письмо кому-то из знакомых ему генералов, и таким образом дошло оно до государя, который, прочитав его, был тронут, как говорили, до слез

и тотчас приказал выправиться обо мне в Коннопольском полку, и если донесения будут в мою пользу, то представить меня лично к нему. Все начальники расхвалили меня сверх заслуг моих и ожиданий. Последствием этого была неслыханная милость государя — позволение посвятить ему жизнь свою в звании воина.

Наконец все готово к моему отправлению; мне дали подорожную, предписание в полк и две тысячи рублей на гусарский мундир и покупку лошади. Дядя очень сердится, что я не рассказываю, куда еду. Хотя я и говорю ему, что еду к батюшке, но он не верит, а говорит, что рано или поздно узнает, где я буду

[Оглавление](#)

1808 ГОД

15-го *января*. С этого дня, с этого счастливейшего дня жизни моей началось для меня новое существование! Открылась перспектива блистательная, славная, единственная в своем роде и, к довершению благополучия, с воли и под покровительством могущественнейшего монарха в мире!

На четвертый день выезда моего из Петербурга приехала я в Вильну, где и располагаюсь обмундироваться. Толпа жидов явилась ко мне с предложениями всякого рода услуг. В полчаса у меня было все: квартира, услуга, портные; множество сукон, золотых шнурков, бахромы, сафьянов, треугольных шляп, киверов, султанов, кистей, шпор! одним словом, из комнаты моей сделали лавку с товарами, и мне оставалось только выбирать. Жиды говорили все вдруг и оглушали меня; я не знала, что делать, пока один проворный жид не сказал мне потихоньку: «Вы не избавитесь от них иначе как выбрав себе фактора; тогда он выпроводит тотчас всю эту сволочь и приведет вам купца, у которого вы купите все, что вам надобно, за весьма сходную цену». Я спросила, что такое фактор? «Фактор, — отвечал жид, — есть род слуги проворного, усердного, сметливого, неутомимого и до невероятности дешевого. Угодно вам иметь такого слугу?» Я сказала, что именно такой мне и надобен, и просила его выбрать. «Зачем выбирать, — сказал жид, — я сам буду вашим фактором!» Он объявил всей толпе свое звание и тотчас вступил в отправление своей должности, отослав всех искателей факторства и сговорясь с купцами, разумеется, тоже евреями, обмануть меня со всею возможною бессовестностью. Я, как и все, заплатила дань, собираемую этими плутами с молодости и неопытности: мундир мой был сшит прекрасно! все мое гусарское одеяние блистало вкусом и богатством. Дешевый слуга мой за шестидневную услугу свою взял от меня только один рубль; но зато и в полк приехала я с одним рублем, оставшимся мне от двух тысяч, которые поглотила Вильна посредством усердного, дешевого слуги моего.

Я приехала в Ковель. Подорожная моя только до этого места; однако ж полка Мариупольского здесь нет, он квартирует в Луцке и его окрестностях; я не знаю, что мне делать! Луцк от Ковеля в пятидесяти верстах; денег у меня один рубль, за который, верно, никто не повезет меня до Луцка, также и в Ковеле жить до случая выехать без денег нельзя. Обдумывая, как бы выйти из неприятного положения своего, услышала я хлопанье бича и, взглянув в окно, увидела даму, едущую в бричке прямо к той корчме, в которой я была; жидовка побежала отворить двери. Вошла дама лет тридцати, хорошо одетая, и тотчас обратила на меня свое внимание; она стала говорить со мною и, узнав, что я офицер полка, квартирующего у них в соседстве, хотела было что-то спросить о знакомых ей офицерах; но жидовка не дала ей времени на эти расспросы и тотчас сказала, что я новый офицер, никого еще в полку не знаю и не имею средств доехать в штаб, потому что подорожная моя только до Ковеля, а штаб, как ей известно, стоит в Луцке; и что панна

Новицкая хорошо бы сделала, если б взяла молодого гусара в свою бричку и довезла бы его с собою до местечка *Голоб*, а там он будет уже дома, потому что в Голобах стоит Мариупольский эскадрон. Все это проговорила она одним духом и так проворно, что ни я, ни панна Новицкая не успели опомниться, как увидели себя в необходимости ехать вместе. Для меня это было приятно: я тут видела одну возможность избавиться от хлопот; но девица, которой предлагают взять к себе в повозку молодого гусарского офицера и ехать с ним тридцать верст одной, могла прийти в замешательство; однако же, к чести панны Новицкой, должно сказать, что она без малейшего принуждения и с самою любезною вежливостью тотчас предложила мне место в своей бричке. В два часа панна Новицкая окончила дела свои, состоявшие в покупке сахара, чая, шоколада и тому подобных вещей. Мы поехали. Девица расположена была разговаривать со мной и зачинала несколько раз; но я отвечала только — да и нет! и то не всегда кстати, потому что, не любя польского языка, я не старалась ему научиться и была в страшном затруднении от говорливости моей спутницы; я чувствовала странность моего обращения, но не знала, как пособить этому горю, и продолжала молчать. Бедная Новицкая! судьбе угодно было, чтобы из всех гусар самый неловкий достался ей товарищем в дороге! Наконец и она замолчала, стала зевать, прислонилась головой к подушке и — заснула! Таким приятным образом доехали мы до местечка *Голоб*. Новицкая тотчас проснулась и приказала кучеру ехать к квартире ротмистра Агеева. Повозка понеслась, прыгая по ухабам, и остановилась перед небольшим выбеленным домиком. «Вот квартира вашего ротмистра», — сказала Новицкая, вежливо кланяясь мне; я покраснела от глупой роли, какую играла с доброю девкою: хотела было сказать свою благодарность по-польски, но боялась наговорить вздору и от этого опасения еще более покраснела. Наконец я вышла молча из повозки, поклонилась панне тоже безмолвно, и добрые кони умчали мою спутницу к крыльцу огромного дома господского.

В квартире ротмистра никого не было, кроме одного денщика его. Агеев уехал в штаб. Подавая мне чай, старый гусар спрашивал: «Ваше благородие, ночуете здесь или поедете далее?» Узнав, что ротмистр не прежде двух дней возвратится в эскадрон, я решилась переночевать в его квартире. Расспрашивая денщика, узнала я, что Голобы принадлежат вдовствующей Воеводине Вильге или Вильжине, как называют ее поляки; что эта старая дама лет восьмидесяти, весьма гостеприимная и благотворительная; что у нее живет очень много бедных шляхтянок, молодых и прекрасных, которых она выдает замуж на свой кошт, и что офицеры этого эскадрона часто обедают у нее; но что никогда ни одного бала не было и не будет в ее доме. «Почему ж?» — спросила я словоохотного гусара. «А потому, ваше благородие, — отвечал он, — что сын помещицы, молодой пан *Вильга* лишился жены, которую любил страстно; эта потеря расстроила его здоровье и несколько рассудок, так что он убегает всех вообще людей, не исключая матери и детей своих».

На другой день очень рано утром увидела я у крыльца плетеный короб, стоящий на дровнях, запряженных парой иссохших лошадей. Вошедший гусар, ставя на стол завтрак, сказал: «*Курманка* готова вашему благородию!» Чтоб не открыть своего невежества, я не спросила, что за зверь курманка и почему именно для меня она готова? Позавтракав, я сказала гусару: «Узнай, пожалуйста, скоро ли будут мне лошади?» — «Они уже готовы! вот курманка стоит перед крыльцом», — отвечал гусар, указывая рукою в окно. Наконец загадка объяснилась: этот плетеный короб называется курманка; думаю, однако ж, тогда только, когда запряжен лошадьми, а без них он опять делается коробом. Как бы то ни было, но в нем должно мне ехать в штаб. Счастье! будь ко мне милостиво! Сделай, чтобы я не встретилась ни с кем из будущих моих сослуживцев! Я совсем не блистательным образом вступаю в полк!

Я села в свой короб, наполненный соломою; невзнузданные лошади побежали рысью, и ямщик во всю дорогу махал над ними длинным прутом и кричал: «Вью! вью! исс! исс!...» Видно, это их способ понуждать к бегу своих лошадей.

Луцк. Приехав в этот город, я остановилась, по обыкновению всех проезжих и приезжих, в корчме; оделась как будто в строй и пошла явиться к баталионному начальнику майору Дымчевичу. Я отдала ему пакет, данный мне графом Ливеном. Прочитав, Дымчевич сказал мне: «Подите к полковому адъютанту, скажите ему, что я велел поместить вас в мой эскадрон. Бумаги эти отдайте ему». После этого он сделал мне несколько вопросов о нашем великом князе Константине Павловиче и, видя, что я ничего о нем не знаю, повторил свое приказание, чтобы я шла к адъютанту, а от него тотчас отправилась в эскадрон.

Мне должно было отдать свой последний рубль, чтоб доехать в *Рожища*, где квартирует эскадрон Дымчевича. Командующий этим эскадроном, штабс-ротмистр, принял меня с начальническою важностью, которая, однако ж, ему очень не пристала, как по незначимости его звания, так и по наружности: он чрезвычайно мал ростом, курнос, и выражение лица простонародное. Первый вопрос его был: «Есть ли у вас верховая лошадь?» Я отвечала, что нет. «Надобно купить», — оказал он. «Мне кажется, что я имею право взять казенную?» — «Имеете; но на одной казенной лошади гусарскому офицеру служить нельзя. Вам должно иметь три лошади: для себя, для денщика и вьюков и заводную». Я сказал, что у меня нет денщика и нет денег на покупку лошадей. «Денщика дадут вам завтра, если вам угодно, а есть или нет у вас деньги, до этого никому нет надобности; но лошади у вас должны быть непременно. Теперь извольте ехать в селение *Березолуны* и принять командование четвертым взводом до возвращения его настоящего командира, который теперь в отпуску...» Не находя большого удовольствия в компании этого чудака, я тотчас уехала в свое село. Мне отвели ту же квартиру, которую занимал *Докукин*, в доме помещицы этого селения. Пани Старостина приняла меня с материнскою ласкою и просила, чтобы я обедала всякий день у нее: потому, говорила она, что, как вижу, у вас своего повара нет. Старостина совсем не отличает меня от своих двух внуков, двенадцатилетних мальчиков. Как им, так и мне дается одна чашка теплого молока поутру. Живем мы почти в одной горнице; только дощаная перегородка отделяет мою кровать от их постелей; они молятся, учатся, кричат, стучат, бранятся, как будто меня тут и нет; сверх того, шалуны всякое утро, как милости какой, просят позволения вычистить мои сапоги, чему и я с своей стороны очень рада. Г-н *Мальченко* предлагает мне купить у него лошадь за сто рублей серебром, с тем, что денег он подождет, пока пришлют мне из дому. Я согласилась. Лошадь привели; она была бы сносна, если б не так странно держала уши. Мальченко расхваливает ее чрезвычайно... Мне стыдно было сказать ему, что у его лошади уши висят на обе стороны, и покупка совершилась. После этого Мальченко спросил у меня: умею ли я делать приемы карабином, и, когда я сказала, что не умею: «Надобно учиться, — сказал он, — это необходимо! Вы должны знать то, чему обязаны будете учить солдат. Прикажите кому-нибудь из старых гусар показывать вам все действия карабином; недели в две вы будете уметь: это очень нетрудно».

У старостины есть внучка лет восемнадцати, недурна собою, но самых нелепых наклонностей: она готова влюбиться и влюбляется во всякого — в мужика, кучера, лакея, повара, офицера, генерала, попа, монаха! Теперь предметом ее нежности учитель ее братьев, желтый, сухой, отвратительный педант! и она, чтоб быть вместе с этим Адонисом, целое утро сидит в нашей комнате.

Всякое утро приходит ко мне старый *Гребенник*, фланговый гусар моего взвода, с карабином, и я более часа учусь делать от ноги, на плечо, на караул; прием от ноги очень

труден для меня; я делаю его неловко и неprovорно, что весьма не нравится моему наставнику. Он всякий раз, командуя — от *ноги!* прибавляет: «Не жалеете ноги, ваше благородие! сбросайте смелее!» Я попробовала послушать его и не жалеть, как он говорит, ноги, но так жестоко ушибла ее прикладом, что чувствовала боль целый месяц. Наконец я выучилась действовать карабином.

Император Александр приказал мне писать к нему обо всем, в чем буду иметь надобность, через графа Ливена. Итак, я писала к графу, что прошу пожаловать мне пятьсот рублей. Через два месяца я получила их, но не через Ливена; граф Аракчеев прислал мне их и писал, чтобы я во всех моих надобностях относилась уже к нему, потому что он заступил место Ливена при государе. Получа деньги, я заплатила свой долг Мальченку и теперь не знаю, что делать с своей вислоухой лошадей. Кроме этих проклятых ушей, у нее есть еще и странные норовы: она не идет от лошадей, становится на дыбы и в галоп начинает всегда с задней ноги.

Полку Мариупольскому ведено собраться близ Луцка. Здесь будет его смотреть корпусной командир наш *Дохтуров*. Но прежде этого мы должны будем выдержать экзамен перед дивизионным начальником своим графом *Суворовым*. Вот мы и выступили на зеленую равнину в белых мундирах, блистающих золотом, и с развевающимися перьями на киверах; в этом комнатном наряде, белом с золотом, многие из нас похожи более на красных дев, нежели на мужественных солдат, а особливо те, которые, подобно мне, имеют не более восемнадцати лет.

Надобно думать, что вислоухий конь мой был всегда в шеренге, потому что начальническая роль, которую пришлось ему играть, приметно ужасала его; он старался втереться во фронт, пятясь туда задом, и когда я колола его острыми шпорами, чтоб заставить податься вперед, то он крутил головой и становился на дыбы. Судя по этому началу, я ожидала убийственных выходов от него, когда начнутся маневры. Так и случилось: граф проехал мимо всего нашего полка шагом, осмотрел внимательно весь фронт и, отъехав после несколько шагов вперед на середину полка, сказал громко: «Господа офицеры!» Все блестящее сонмище понеслось с быстротою ветра к своему начальнику; но мой дьявол, не прежде, как получа от меня несколько жестоких ударов саблею и брыкнув задними ногами, пошел меланхолическим галопом, помахивая плавно ушами. Суворов имел снисхождение дожидаться, пока я присоединилась к товарищам; тогда он отдал нам свои приказания, которые состояли в том, какие именно маневры будут делаться при *Дохтурове* и что после чего. «Теперь уже, господа, — прибавил граф, — мы сделаем только репетицию, извольте стать по местам!» Все полетело к полку; на этот раз и я неслась вихрем. Стали перед фронт, выравнялись; раздалась команда: «Повзводно! левые плечи вперед! марш!» Весь полк сделал это движение ровно, стройно; но мой демон зачал пятиться, брыкать, фыркать и крутить со всех сил своей вислоухой головой. Не предвидя доброго конца такому началу, я велела взводному унтер-офицеру стать на мое место перед взводом и, дав два или три каких только могла сильных фуктелей своей лошади, заставила ее нестись со мною стремглав по дороге к Луцку. Суворов, видя эту сцену, сказал только, усмехаясь: «Молодой офицер не хочет с нами учиться».

Маневры перед корпусным начальником кончились для меня безбедственно; баталионный командир дал мне свою лошадь. После смотра и ученья пошли все офицеры обедать к Суворову. Как пленительно и обязательно обращение графа! Офицеры и солдаты любят его как отца, как друга, как равного им товарища, потому что он, в рассуждении их, соединяет в себе все эти качества.

Скоро минет три года, как я оставила дом отцовский! как желала бы я увидаться с батюшкой! Теперь мы выступили в лагерь на шестинедельное ученье; но, когда придем опять на квартиры, я попрошусь в отпуск.

Сегодня я, к стыду моему, упала с лошади! Я могла бы сказать — и к несчастью, потому что упала тогда, как весь полк шел в атаку. Подъямпольский дал мне свою лошадь, молодого, игривого жеребца; маневры наши оканчивались благополучно, оставалось только сделать атаку целым полком. При команде: «С места! марш! марш!» — лошадь моя поднялась на дыбы! прыгнула вперед; от сильного движения этого ножны сабли моей оторвались с переднего ремня и попали между задних ног лошади, которая на всем скаку стала бить и с третьего подкида перебросила меня через голову на землю. Я упала и в ту же минуту потеряла память. Полк остановили в один миг, что было не трудно с людьми и лошадьми, так превосходно выученными. При первом командном крике: *стой!*.. полк остановился как вкопанный. Офицеры подняли меня с земли, расстегнули мой дулам, или дуломан, развязали галстух и кричали, чтоб лекарь скорее пустил кровь! Но, к великому счастью моему, я пришла в память; хлопоты и дальнейшее раздевание кончилось. Я повязала опять галстух, застегнула дуломан, скинула изорванную португую и села опять на лошадь; но уже не училась, а ездил просто за полком. Когда ученье кончилось, Дымчевич подозвал меня, и когда я подъехало к нему, то он, отделясь от офицеров, поехал со мною и стал говорить: «Вы сегодня упали с лошади...?» — Я хотела было сказать, что лошадь сбила меня. Он повторил суровым голосом: «Вы упали с лошади! только вместе с лошадью может упасть гусар, но никогда с нее. Не хочу ничего слышать! Завтра полк идет на квартиры; поезжайте завтра же в запасный эскадрон к берейтору и учитесь ездить верхом».

Местечко Туриск. Я живу у нашего полкового берейтора поручика Вихмана и каждое утро часа полтора езжу верхом без седла, на попонке, и вечером с час. Мне здесь очень весело; Вихман и я проводим целый день у полковника Павлищева, командующего запасным эскадронам. В семействе Павлищева меня любят и принимают, как родного. Старшая дочь его прекрасна, как херувим! Это настоящая весенняя роза! Чистая непорочность сияет в глазах, дышит в чертах невинного лица ее. Она учит меня играть на гитаре, на которой играет она превосходно, и с детскою веселостию рассказывает мне, где что видела или слышала смешного.

В здешнем костеле есть икона *Наисвентшей Панны*, то есть Марии Девы, с младенцем у ног ее, опирающимся на глобус. Об этом образе носится предание, что он написан по желанию прежнего владельца Туриска князя Осолинского. Князь этот страстно влюбился в дочь одного крестьянина; развелся с женою своею, урожденною княжною О****; дал своей любовнице воспитание, приличное знатной даме, и женился на ней. В первый год брака у них родился сын; счастливый князь, желая везде видеть образ страстно любимой жены и сына, приказал написать икону богоматери, дав изображению ее черты молодой княгини своей. Я долго рассматривала этот образ. Княгиня прелестна! у нее кроткая и пленительная физиономия. Ребенок ее — обыкновенное хорошенькое дитя. Смерть их обоих была ранняя и трагическая. Сильные и гордые О****, видя, что рождение сына делало прочным супружество Осолинского с крестьянкою, и потеряв надежду видеть первую княгиню Осолинскую на прежнем ее месте, велели отравить мать и сына. Предметы нежной привязанности Осолинского погибли в глазах его лютою смертию, и он, хотя пережил свою потерю, но, возненавидев свет, отказался от него и пошел в монахи. Имение перешло в руки графов Мошинских, и теперь владеет им один из них, весьма уже старый человек. Я видела также портрет первой жены Осолинского, княжны О****: какая трогательная красота! печаль и задумчивость рисуются в черных глазах ее;

темные тонкие брови, розовые уста и лицо бледное, но миловидное, и которого все черты выражают вместе ум и кротость, чрезвычайно очаровательны. Удивляюсь Осолинскому!

Я продолжаю брать уроки верховой езды; к досаде моей, Вихман страстный охотник, и я волею или неволею, но должна ездить вместе с ним на охоту. Кроме всех неудобств и неприятностей, соединенных с этою варварскою забавою, жалостный писк терзаемого зайца наводит мне грусть на целый день. Иногда я решительно отказываюсь участвовать в этих смертоубийствах; тогда Вихман страшит меня, что если не буду ездить на охоту, то не буду уметь крепко держаться в седле. Охота — единственный способ, говорит он, достигнуть совершенства в искусстве верховой езды; и я опять отправляюсь скакать, сломя голову, по каким-то опушкам, островам, болотам и кочкам и мерзнуть от мелкой изморози, оледеняющей мою шинель и перчатки, и наконец отдыхать в какой-нибудь развалившейся избушке и есть ветчину, которой противный соленый вкус заставляет меня тотчас, как только возьму ее в рот, опять выбросить и есть один хлеб. Эти охотники какие-то очарованные люди; им все кажется иначе, нежели другим: адскую ветчину эту, которой я не могу взять в рот, находят они лакомым кушаньем; суровую осень — благоприятным временем года; неистовую скачку, кувырканье через голову вместе с лошадыю — полезным телодвижением, и места низкие, болотистые, поросшие чахлым кустарником — прекрасным местоположением! По окончании охоты начинается у охотников разговор об ней, суждения, рассказы — *термины*, из которых я ни одного слова не разумею. Забавные сцены случаются в компании господ охотников! Из самых отчаянных у нас: Дымчевич, Мерлин, Сошальский и Вихман. Думаю, что и умирающий человек захохотал бы при виде Дымчевича, который, слушая лай гончих, напавших на след, растрогивается, плачет и, отирая слезы, говорит: «Бедные гончие!» Недавно ехал он на гулянье в коляске с старшею дочерью Павлищева и, увидев зайца, бегущего через поле, пришел в такое восхищение, что, забыв присутствие дамы, отсутствие собак и совершенную невозможность гнаться в коляске за этим зверьком, зачал кричать во весь голос: «*Ату его/ ату!.. го, го, го!!*» Внезапный восторг его перепугал девицу, кучера и даже лошадей!

В полк приехал новый шеф — *Миллер-Закомельский*. Он тотчас потребовал меня в штаб. Я должна была оставить прекрасное общество запасного эскадрона, которое я чрезвычайно полюбила; Миллер требовал меня для того, чтоб сказать, что меня уволили в отпуск на *два месяца*, и узнать, для чего я не просилась по команде, а прямо от государя? Я отвечала, что, имея на это позволение, я воспользовалась им для того только, чтоб скорее получить отпуск. Миллер приказал мне ехать в Дубно к графу *Суворову*, говоря, что я найду там *Комбурля*, житомирского губернатора, от которого мне должно взять подорожную.

Дубно. Граф готовится дать пышный бал завтрашний день и сказал мне, что прежде окончания его празднества я не получу подорожной и что я должен танцевать у него; что он вменяет мне это в обязанность. Выслушав все это, я пошла к адъютанту его, графу *Каховскому*, где нашла многих офицеров своего полка; они пили чай. Вскоре пришел к нам и Суворов, в шлафроке и туфлях; он лег на постель Каховского, говоря, что ушел от нестерпимой возни и пыли, которую подняли, выметая, обметая и убирая целый дом для завтрашнего торжества. Каховский подал ему стакан с чаем; часа через два Суворов ушел к себе, а в горницу Каховского принесли целый воз соломы, разостлали по полу, закрыли коврами, на которые бросили несколько сафьянных подушек, и таким образом составили обширную постель для гостей Каховского. Пожелав доброй ночи моим сослуживцам, я ушла в трактир, где остановилась. Дочь трактирщика, панна Добровольская, отперла мне стеклянные двери, ведущие с улицы прямо в залу: «Я давно жду вас ужинать, — сказала она. — У нас сегодня никого нет; пойдемте ко мне в горницу!» Я пошла с нею в ее

комнату, куда принесли нам рябчиков, яблоков, белого хлеба, варенья и полбутылки малаги, которую мы всю и выпили.

[Оглавление](#)

БАЛ

Обширные залы суворовского дома наполнены были блестящим обществом. Бездна ламп разливала яркий свет по всем комнатам. Музыка гремела. Прекрасные польки, вальсируя, амурно облакачивались на ловких, стройных гусар наших. Суворов до крайности избалован польками. За его прекрасную наружность они слишком уже много ему прощают; он говорит им все, что впадет ему на ум, а на его ум впадают иногда дивные вещи! Видя, что я не танцую и даже не вхожу туда, где дамы, он спросил у меня причину этой странности; Станкович, мой эскадронный командир и лихой, как говорится, гусар, поспешил отвечать за меня: «Он, ваше сиятельство! боится женщин, стыдится их, не любит и не знает ни по каким отношениям». — «В самом деле! — сказал Суворов, — о, это непростительно! Пойдем, пойдем, молодой человек, надобно сделать начало!» Говоря это, он взял меня за руку и привел к молодой и прекрасной княгине *Любомирской*. Он представил меня этой даме, сказав: «A la vue de ses fraiches couleurs vous pouvez bien deviner qu'il n'a pas encore perdu sa virginite» (Судя по его румянцу, вы легко можете догадаться, что он еще не потерял невинности (франц.)). После этой, единственной в своем роде рекомендации граф пустил мне руку; княгиня с едва приметною усмешкою ударила его легонько по обшлагоу своим веером, а я ушла опять к своим товарищам и через полчаса совсем оставила бал. Теперь более полуночи, а я привыкла рано ложиться спать; сверх того, я не люблю тех обществ, где много женщин. Станкович не ошибся, сказав, что я боюсь их; я боюсь их в самом деле; довольно женщине посмотреть на меня пристально, чтобы заставить меня покраснеть и прийти в замешательство: мне кажется, что взгляд ее проникает меня; что она по одному виду моему угадывает мою тайну, и я в смертном страхе спешу укрыться от глаз ее!

[Оглавление](#)

ОТПУСК

Три года с половиною отец не видал меня; я много переменилась — выросла, пополнела; лицо мое из белого и продолговатого сделалось смуглым и круглым; волосы, прежде светло-русые, теперь потемнели; думаю, что батюшка не вдруг узнает меня. Я поехала одна на перекладных, взяв с собою в товарищи одну только саблю свою и более ничего.

Станционные смотрители, считая меня незрелым юношею, делали много затруднений в пути моем: не давали мне лошадей часов по шести для того, чтобы я что-нибудь потребовала — обед, чай или кофе; тогда являлись и лошади. Счет подавался, сопровождаемый этими словами: «С прогонами вот столько-то следует получить с вас!» Обыкновенно это бывала сумма довольно значительная, которую я и платила, не говоря ни слова. Иногда не давали мне лошадей и для того, чтоб заставить нанять вольных за двойные прогоны. О, эта дорога вселила в меня и страх и отвращение к почтовым станциям!

Я приехала домой точно в ту пору ночи, в которую оставила кров отеческий, — в час пополуночи. Ворота были заперты. Я взяла из саней саблю и маленький чемодан и отпустила своего ямщика в обратный путь. Оставшись одна перед запертыми воротами дома, в котором прошло мое младенчество, угнетенное, безрадостное, я не испытывала

тех ощущений, о которых так много пишут! Напротив, с чувством печали пошла я вдоль палисада к тому месту, где знала, что вынимались четыре тычины; этим отверстием я часто уходила ночью, бывши ребенком, чтоб побегать на площадке перед церковью. Теперь я вошла через него! Думала ли я, когда вылезала из этой лазейки в беленьком канифасном платице, робко оглядываясь и прислушиваясь, дрожа от страха и холодной ночи, что войду некогда в это же отверстие и тоже ночью *гусаром*!! Окна целого дома были заперты; я подошла к тем из них, которые были детской горницы, взяла было за ставень, чтобы отворить, но он как-то был прикреплен изнутри, и мне не хотелось стучать, чтоб не испугать маленьких брата и сестру; я пошла к строению, в котором жили матушкины женщины; проходя двором, я была услышана двумя нашими собаками *Марсом* и *Мустафою*; они кинулись ко мне с громким лаем, в ту ж минуту превратившимся в радостный визг; верные, добрые животные то вились вокруг ног моих, то прыгали на грудь, то от восхищения бегали во весь дух по двору и опять прибегали ко мне. Погладив и поласкав их, я вошла на лестницу и пошла ходить от двери к двери, стучась у каждой потихоньку; с четверть часа это было безуспешно; обе собаки ходили за мною, и обе царапали ту дверь, в которую я стучалась. Наконец я услышала, что отворяется дверь в сени, и вскоре женский голос спросил: «Кто там?» Я тотчас узнала, что это спрашивала Наталья, матушкина горничная. «Это я, отопрь, Наталья!» — «Ах, боже мой, барышня!» — вскрикнула радостно Наталья, спеша отворять двери; с минуту гремела она засовами и запорами, пока наконец дверь отворилась, и я вошла, держа под рукою свою саблю и сопровождаемая *Марсом* и *Мустафою*! Наталья отступила в изумлении: «Ах, господь с нами! да вы ли это!» Она стала перед дверью неподвижна и не давала мне войти. «Да пусти, Наталья, что с тобою? Ужели ты не узнала меня?» — «Ах, матушка барышня! да как вас и узнать? кабы не по голосу, и в жизнь бы не узнала!» Наталья отворила мне дверь в горницу, сняла с меня шинель и опять ахнула от удивления, увидя золотые шнуры моего мундира: «Какое на вас богатое платье, матушка барышня! вы генерал, что ли?» Наталья еще с четверть часа молола вздор и притрагивалась руками то к золотым шнурам, то к меховому воротнику моей ментии, пока я наконец напомнила ей, что надобно приготовить мне постель. «Сейчас, сейчас! матушка... — Потом прибавила, говоря сама с собою: — Может быть, теперь нельзя уже звать барышнею! Ну, да где ты скоро привыкнешь... — Она было пошла, но опять воротилась: — Не прикажете ли сделать чаю? в две минуты будет готов!» — «Сделай, милая Наталья». — «Ах, матушка барышня! вы все такие же добрые, как и прежде! — Наталья опять начала разговаривать: — Я сию минуту сделаю чай! да как же вас теперь зовут, барышня? вы, вот я слышу, говорите не так уже, как прежде». — «Зови так, Наталья, как будут звать другие». — «А как будут звать другие, матушка?... батюшка! извините...» — «Полно, Наталья! поди принеси чаю!» Болтуня пошла, но опять воротилась звать с собою *Марса* и *Мустафу*; они оба лежали у ног моих и ворчали на Наталью, когда она вызывала их. «Прогоните их, барышня, им надо быть на дворе». — «После, после, Наталья! Сделай милость, ступай за чаем, мне смерть холодно». Наталья побежала бегом, а я осталась размышлять о том, что подобные сцены повторятся не только всеми дворовыми людьми, но и всеми знакомыми отца моего. Воображая все это, я почти сожалела, что приехала. Через четверть часа явилась Наталья с чаем и подушками. «В котором часу встает батюшка?» — спросила я Наталью. «Как и прежде, матушка барышня, в девятом часу... — После этого ответа она опять стала ворчать про себя: — Никак не привыкну... что ты будешь делать...» Я дала по кренделю *Марсу* и *Мустафе* и велела им идти; они в ту ж минуту повиновались.

Поутру в семь часов я оделась в свой белый дулам; хотя давно уже были переменены мундиры нашему полку и вместо белых назначены синие, но эскадрон Станковича, не зная почему-то, должен был целый год еще носить белые. Не желая пестрить фронт, Станкович просил нас быть тоже в белых мундирах, на что я всех охотнее согласилась, потому что очень любила это соединение белого цвета с золотом. Когда я оделась,

Наталья с новым удивлением смотрела на меня: «Вы много переменились, барышня! Батюшка вас не узнает». Я пошла к сестрам, они уже встали и ожидали меня; в ту ж минуту пришел к нам и батюшка! Я обняла колена его и целовала руки, не имея силы выговорить ни одного слова. Отец плакал, прижимал меня к груди своей и говорил, улыбаясь сквозь слезы, что в лице моем не осталось ни одной черты прежней, что я стала похожа на калмычку. Наконец пришел и маленький брат мой в горном мундире; он долго совещался с нянькою, как ему обойтись со мною: поклониться только или поцеловать у меня руку; и когда нянька сказала, чтоб он сделал так, как ему самому хочется, то он в ту ж минуту побежал броситься в мои объятия. Целуя его, я говорила батюшке, что жаль было бы оставить такого прекрасного мальчика в горной службе и что года через три батюшка позволит мне взять его с собою в гусарский полк. «Нет, нет. Боже сохрани! — сказал батюшка. — Сама будь, чем хочешь, когда уже вышла на эту дорогу, но утеха старости моей, мой *Васенька*, останется со мною». Я замолчала и душевно сожалела, что имела неосторожность огорчить отца предложением, и неуместным и слишком преждевременным. Между тем брат, ласкаясь ко мне, шептал на ухо: «Я поеду с вами».

Хотя я от всей души люблю отца моего, однако ж бездейственная жизнь, недостаток общества, холодный климат и непрерывные расспросы наших провинциалов навели на меня такую грусть, что я почти с радостью увидела рассвет того дня, в который должна была ехать обратно в полк. Теперешний путь мой был гораздо затруднительнее первого, но только не в лошадях; в них не делали уже мне прижимок, потому что я говорила зрителям, каждому, который начинал: «*Нет лошадей*». — «Я запишу в твою книгу, сколько часов пробуду здесь, и с тебя спросят, если я просрочу». Итак, лошадей везде давали мне очень скоро; но дорога зимняя начинала портиться; а перекладная повозка моя была теперь несравненно полнее, нежели прежде, и мне страшные хлопоты были перетаскивать все это самой. Я не взяла с собой человека, да и не могла взять.

Возвратясь к моим товарищам и к моим любимым занятиям, я чувствую себя счастливейшим существом в мире! Дни мои проходят весело и безмятежно. Встаю всегда с рассветом и тотчас иду гулять в поле; возвращаюсь перед окончанием уборки лошадей, то есть к восьми часам утра; в квартире готова уже моя лошадь под седлом: я сажусь на нее и еду опять в поле, где учу взвод свои часа с полтора; после этого уезжаю в штаб или к эскадронному командиру, где и остаюсь до вечера.

За уроки верховой езды я подарила Вихману свою негодную лошадь; он велел заложить ее в дрожки, и, к удивлению нашему, она сделалась прекрасным конем: итак, оглобли были та сфера, которую назначила ей природа. Так, я думаю, и с человеком бывает! Он будет хорош, если встанет точно на свое место. Еще отдала я Вихману охотничий рог из слоновьего клыка с прекрасною резьбою; эту редкую вещь батюшка дал мне для графа Суворова; но мне что-то казалось стыдно дарить графа, и я отдала рог Вихману и в ту ж минуту была наказана за неисполнение воли батюшкиной: Вихман взял эту редкость точно так холодно и невнимательно, как будто бы это был коровий рог с табаком.

Баталион наш ушел в Галицию с Миллером-Закомельским. Эскадрон Станковича со всеми его офицерами остается здесь под названием резервного и вместе с запасным будет находиться под начальством Павлищева; я также, будучи офицером эскадрона Станковича, остаюсь здесь; хотя мне и очень хотелось быть опять за границею и в действии, но Станкович говорит: «Куда не посылают, не напрашивайся; куда посылают, не отказывайся! Этим правилом руководствуются люди испытанной храбрости». Совет его и отличное общество офицеров, вместе со мною остающихся, помогли мне видеть с меньшим сожалением отъезд наших храбрых гусар за границу; случай сделал, что и любезнейшая из полковых дам осталась здесь же. Я хотя и убегаю женщин, но только не

жен и дочерей моих однополчан; их я очень люблю; это прекраснейшие существа в мире! Всегда добры, всегда обязательны, живы, смелы, веселы, любят ездить верхом, гулять, смеяться, танцевать! Нет причуд, нет капризов. О, женщины полковые совсем не то, что женщины всех других состояний! С теми я добровольно и четверти часа не пробыла бы вместе. Правда, что и мои однополчанки не пропускают случая приводить меня в краску, называя в шутку: *гусар-девка*! Но, будучи всегда с ними, привыкаю к этому названию и иногда столько осмеливаюсь, что спрашиваю у них: «Что вы находите во мне сходного с девкою?» — «Тонкий стан, — отвечают они, — маленькие ноги и румянец, какой каждая из нас охотно желала бы иметь; поэтому мы и называем вас *гусаром-девицею* и — с позволения вашего — несколько и подозреваем, не по справедливости ли даем вам это название!» Слыша почти каждый день подобные шутки, я так привыкла к ним, что никогда уже почти не прихожу в замешательство.

Мы стоим на границах Галиции в местечке *Колодно*; здесь сухая граница, и обязанность наша делать разъезды и иметь надзор над исправностью казачьего кордона. Колодно принадлежит Швейковскому; у него красавица жена, воспитанная в Париже. Большая каштановая аллея, темная как ночь, ведет от крыльца помещичьего дома к не-большому беленькому домику, обсаженному кругом липами. В этом домике живет эконо́м с доброю женою и двумя веселыми, резвыми, милыми дочерьми; в этом домике все мы бываем каждый день. Я замечаю, что товарищи мои сидят здесь долее, нежели у гордой и прекрасной Швейковской.

Офицер Вонробка рассказывал, что в одну из своих прогулок верхом за границу встретился он и познакомился с бароном Чехович, и говорил, что баронесса имеет такую восхитительную красоту, какой никогда еще не представляло ему и самое воображение; но, что, к счастью всех знакомых ей мужчин, ограниченный ум и недостаток скромности служат сильным противоядием губительному действию заразы ее и что, при всей очаровательности ее неописанной красоты, никто не влюблен в нее, потому что слова и поступки ее уничтожают в одну минуту впечатление, произведенное ее небесною наружностью.

Близ границ наших завелась проклятая *рухавка*; так называют поляки свое ополчение, или, лучше сказать, толпу всякого сброду: все это оборванное, босое, голодное скопище вздумало еще прославлять свой подвиг, довольство и свободу! К стыду храбрых мариупольцев, некоторые из них обольстились этим враньем и убежали, чтоб вступить в отвратительную *рухавку*. Станкович очень оскорбился таким неслыханным поступком гусар и послал Вонробку и меня с целым взводом отыскать, если можно, наших беглецов, взять их силою и привести обратно в эскадрон. Вонробка принялся за выполнение этого поручения, так что выезд наш для поисков походил более на вылазку против неприятеля, нежели на простой розыск. Мы переехали границу и в полуверсте от местечка *** остановились, сошли с лошадей и чего-то дожидались — я не знаю. Вонробка старший; он командует и распоряжает, а для чего я тут же, право, не понимаю! Станкович все делает с каким-то излишним триумфом. Мы стояли безмолвно! Я легла на траву и смотрела на блестящее созвездие *Большой Медведицы*. Она припомнила мне веселое время ночных прогулок моих в детских летах. Как часто, дав волю моему *Алкиду* и не заботясь о его дороге, я, опершись обеими руками на холку его и закинув голову вверх, по целой четверти часа рассматривала эти прекрасные семь звезд! Погрузись всей душою в воспоминания, я была попеременно то двенадцатилетним ребенком на хребте своего Алкида, то коннопольцем, то среди густых лесов Сибири, то на полях Гейльсберга, то на могиле твоей, о конь мой незабвенный!.. Сколько времени! сколько происшествий! сколько перемен с того времени! Но вот я опять вижу тебя, мое любимое Созвездие! Оно все то же, так же блистательно, те же семь звезд; на том же месте! Одним словом: оно все

то же... а я!.. Пройдут годы, пройдут десятки годов, оно будет все то же; но я!.. Мысль моя перенеслась в будущность через *шестьдесят* лет вперед, и я с испугом встала... Кивер! сабля! рьяный конь!.. восемьдесят лет!! «Аргентий, едем, ради бога едем! Чего мы тут стоим?..» Я села на лошадь и стала делать вольты в галоп. Неприятные мысли кружились вместе со мною. «Что тебе за охота мучить лошадь?» — спросил Вонробка. «Для чего ж мы тут стоим по-пустому!» — «Как по-пустому! Я знаю время, когда надобно въехать в местечко... Ну, вот теперь пора... Садись!.. справа по три! марш!..» Мечты исчезли, я возвратилась к существенности; мы сели на лошадей и отправились к местечку; въехали таинственно, без шуму, с предосторожностями вытянули фронт против стен какого-то кляштора, и Вонробка послал унтер-офицера и четырех гусар в этот кляштор искать беглецов наших. Разумеется, посланные возвратились ни с чем, потому что кляштор был кругом заперт. На рассвете Вонробка, оставив людей, поехал вместе со мною к коменданту этого местечка полковнику N***, который был также и командир *рухавки*. Полковник этот был уже знаком Вонробке прежде, но я видела его в первый раз. Он принял нас смущенно и торопливо; просил садиться; извинялся, что не одет, и тотчас ушел в другую горницу, говоря, что сию минуту воротится. Вонробке показался такой прием подозрительным, и он сказал мне, что надобно тотчас уехать; и так, не дождавшись хозяина, мы вышли из комнаты, присоединились к своим людям и уехали! Я находила поступок Вонробки странным и спрашивала его, для чего он это сделал? Он сказав, что заметил в коменданте враждебные намерения. «Да что ж он мог нам сделать? ведь у нас целый взвод гусар». — «Вот прекрасно! целый взвод! а зачем мы здесь? Мы не могли бы сказать в оправдание, что ездили отыскивать бежавших гусар и хотели взять их, если найдем, вооруженною рукою; это делалось секретно; это хозяйственное распоряжение эскадронного командира, извинительное в таких случаях. Ведь неприятно рапортовать, что столько-то гусар бежало за границу».

Неудачность покушений наших не остановила Станковича. Он послал меня в Тарнополь к князю Вадбольскому с письмом и поручением привести беглых гусар, если мне их отдадут. Мне надобно было проезжать через это самое местечко, где мы делали наш ночной обыск; у заставы спросили, есть ли у меня билет от их полковника? «Нет!» — «Вас нельзя пропустить; достаньте билет...» Я послала гусара к полковнику просить билета; полковник велел просить меня, чтобы я пришла за билетом сама. Я пошла. «Вы должны б были лучше знать свою обязанность, господин офицер, — сказал поляк, нахмурясь. — К начальнику надобно являться самому, а не посылать рядового... — Говоря это, он наскоро подписывал билет. — Приехали с вооруженными людьми, обыскивали кляштор, пришли ко мне, и, когда я вышел на одну минуту, только приказать подать кофе, вы уехали, как будто из разбойничьего вертепа! Как странно так поступать русскому офицеру!..» И все это я должна была слушать. Минуты с две я думала предложить ему стреляться со мною; но опасение подвергнуть Станковича ответственности удержало меня. Я отложила сделать этот вызов, как возвращусь из Тарнополя; тогда мы съедемся на границе. Между тем я сказала, что теперь он волен говорить, что хочет, потому что я один здесь, окружен поляками и за границею своего государства. Пока я говорила, он подал мне билет с вежливою уклонкою и, протянув ко мне руку, сказал, что просит моей дружбы; но я отвела его руку своею, отвечая, что после всего услышанного от него я не имею желанья быть его другом. Он поклонился, проводил до дверей, и мы расстались.

Я отправилась далее. Станкович приказал мне, что если не отыщу бежавших гусар наших в Тарнополе, то должна буду проехать в Броды.

В Тарнополе стоит Литовский уланский полк. Командир его князь Вадбольский послал вместе со мною в Броды одного из своих офицеров. Приехав в это местечко, мы тотчас пошли к польскому полковнику, где нашли многочисленное общество и гремющую

музыку. Полковник принял нас очень вежливо, просил остаться у него обедать и взять участие в их удовольствиях. Страхов, товарищ мой, согласился, а я и подавно рада была слушать прекрасную музыку и веселый разговор остроумных молодых поляков. Мы сказали, однако ж, полковнику, зачем приехали, и просили, чтоб он приказал выдать нам наших беглецов. «Со всею готовностью», — отвечал вежливый хозяин наш и в ту ж минуту послал пана подхоронжего привести наших гусар, а нас просил, в ожидании, послушать его музыки и выпить по бокалу шампанского. Через полчаса возвратился пан подхоронжий и, приложив руку к меховому киверу, начал говорить почтительно своему полковнику, что гусар, за которыми он посылал его, нет на гауптвахте! «Где ж они?» — спросил полковник. «Убежали!» — отвечал подхоронжий все тем же почтительным тоном. Полковник оборотился ко мне, говоря: «Я очень жалею, что не могу в этом случае оказать вам моих услуг; гусары ваши ушли из-под стражи!» Я хотела было сказать, что это не делает чести их караулу, и не сказала, однако ж; да и к чему бы это было? Не было сомнения, что гусары находились у них и что полковник не имел и в помышлении отдать их. Польские офицеры не могли налюбоваться моим мундиром, превосходно сшитым: они говорили, что их портные не в состоянии дать такую прекрасную форму мундиру. За столом я сидела подле какого-то усача, старинного наездника, служившего еще в Народовой кавалерии; он, выпив несколько бокалов шампанского, привязался ко мне с вопросом, зачем я снял с Лемберга французского орла и привесил австрийского? Я не понимала, что он хочет сказать. Страхов, видя мое недоумение, сказал запальчивому народовцу, что меня не было в Львове во время этого происшествия. «Как не было? — восклицал старый улан, — я хорошо помню этот мундир! — и продолжал укорять меня, говоря: — Хорошо ли было так сделать?» Полковник просил его перестать; но просил тем начальническим тоном, которому даже и пьяные уланы повинуются. Ротмистр замолчал. Тогда Страхов объяснил мне вполголоса, что наш полк, находящийся с Миллером-Закомельским в Лемберге или Львове, снял откуда-то французского орла и заместил его гербом австрийским; ротмистр-народовец, бывший свидетелем этого происшествия, увидя меня в таком же точно мундире, счел, что и я из числа тех, как он говорил, буйных головорезов. После обеда я простилась с польским полковником и, оставя ему в добычу беглых гусар наших, возвратилась в Колодно.

Вонтробка пригласил меня ехать к баронессе Чехович. «Надобно тебе, — говорил он, — иметь понятие о ее красоте; мое описание недостаточно!» Мы поехали и, к большому счастью моему, не застали ее дома; нас принял один барон. В саду видела я различные роды увеселений, о которых Вонтробка говорит, что все они имеют целию сломить голову занимающимся ими. «Баронесса, — прибавил он, — всеми способами добирается до головы своих посетителей, или посредством красоты своей, или увеселений». Не дождавшись прибытия хозяйки, мы уехали обратно. Вонтробка признался мне в умысле, с каким хотел познакомить меня с баронессою. «Крайняя наглость ее, — говорил он, — встретясь с твоею необыкновенною застенчивостью, обещала мне тьму забавных сцен». Я была очень недовольна его сатанинским планом и сказала ему, что он дурной товарищ и что с этого времени я буду его остерегаться. «Как хочешь, — отвечал он, — но ты несносен и смешон с твоей девичьею скромностью. Знаешь ли, что я скажу тебе? Если бы у меня была жена такая скромная и стыдливая, как ты, я целовал бы ноги ее; но если б с такими же качествами был сын мой, я высек бы его розгами. Теперь посуди сам, не надобно ли тебя отучать всеми способами от твоей смешной стыдливости? Она совсем нейдет гусару и ни на что ему не пригодна».

Станкович делает нам не очень-то приятные сюрпризы: в самое то время, когда мы, как небо от земли, далеки от всякого помысла о каком бы то ни было беспокойстве, он велит играть тревогу, и вмиг все взволнуется: гусары бегут опрометью, выводят бегом лошадей, седлают их как попало, садятся, скачут во весь дух и на скаку поправляют на себе, что

нельзя было сделать на месте. Поспевшему в две минуты дается от ротмистра награждение, а приехавшему после всех — тоже награждение, но только совсем другого рода. Одна из этих тревог пришлась мне дорого. У меня болело колено, и именно в том месте, которым надобно прижаться к седлу; я не могла сидеть на лошади и даже испугалась, когда услышала проклятую тревогу; но нечего было делать: выправя поспешно взвод свой, села и сама на лошадь с осторожностью, чтобы не придавить больного колена. Но ведь надобно было скакать: лошадь моя задрала вверх голову и полетела. Все еще, однако ж, сохраняла я необходимое положение на седле; на беду, на пути моем была яма, в которую лошадь моя со всего размаха прыгнула, и тут все пропало; колено мое облилось кровью, я затрепетала от боли, которой никакими словами не могу выразить; довольно, что невольные слезы градом покатились из глаз моих.

Через несколько дней Станкович пригласил меня ехать с ним в *Кременец* к Павлищеву; я всегда с удовольствием бываю в этом городке; его прекрасное романическое положение у подошвы утесистой горы, на которой красуется развалившаяся каменная ограда замка королевы Боны, доставляет мне очаровательную и разнообразную прогулку. Полагаю, что Кременец получил свое название от кремнистых гор, его окружающих.

Я очень приятно провожу время в доме Павлищева с его дочерью и юнкером Древичем, отлично воспитанным молодым человеком. Как странна судьба этого несчастного юнкера. При всех его блестящих дарованиях, благородных поступках, недурной наружности и знатном происхождении, он никем не любим и девять лет уже служит портупей-юнкером. За год до знакомства моего с ним случилось ужасное происшествие, в котором он играл главную роль и которое отняло у него чин, свободу и спокойствие совести, а вместе совсем этим и охоту жить: он заколол по неосторожности гусара: за смерть его был судим, содержан целый год на гауптвахте и после разжалован до выслуги в солдаты. Я узнала его несчастья по случаю. Еще Миллер-Закомельский не уходил с баталионом в Галицию, и полк стоял в Кременце; по обязанности дежурного, я должна была знать и рапортовать об арестантах. Вошед в маленькую каморку, где сидел бедный Древич, я спросила его, не имеет ли он в чем надобности? что теперешняя моя должность дает мне возможность облегчить несколько суровость его положения. «Ах, если вы не гнушаетесь просьбою убийцы, — сказал он горестно, — то я просил бы вас позволить мне подышать воздухом на этих горах, на которых я прежде проводил столько счастливых часов!» Я сказала, что сама собою не могу этого сделать, но попрошу *Горича* и думаю, через него успею получить от шефа позволение на эту прогулку. Горич очень вежливо выслушал мою просьбу и тотчас пошел к Миллеру; через минуту он возвратился ко мне, говоря, что генерал дает вам волю поступать как угодно в рассуждении облегчения участи арестанта; но просит вас соблюсти должный порядок. Я пошла к Древичу и была свидетельницей радостных и вместе горестных ощущений его при виде красот природы. За нами пошли было два гусара с обнаженными саблями, но я сказала им, что буду сама его стражем и чтобы они следовали за нами издали. Древич несколько раз едва не упал в обморок: столько сидячая жизнь ослабила силы его!

Обоим нашим эскадронам ведено идти в поход. Древич отдан под надзор полковнику Павлищеву; достойный офицер этот не имел нужды в образовании, чтобы поступить с арестантом самым благородным и деликатным образом; он просто последовал внушению высокой добродетели: «Вы отданы, — сказал он Древичу, — в мой эскадрон под присмотр до решения вашего дела; но я не могу, я не имею духа видеть вас арестантом на гауптвахте; взамен ее предлагаю вам дом мой, стол и попечение друга. Если б вы решились уйти от меня, разумеется, тогда я заступлю ваше место, то есть буду солдат!» Нет пера, нет слов, беден язык человеческий для выражения того, что чувствовал Древич; я не берусь этого описать. Но вот последствия: Древич жил в доме благодетеля своего,

любил его, как отца, и помирился было с своею участью; но пришло решение: Древич — солдат до выслуги. Павлищев обязан был употреблять его в этом качестве на службу, и, видно, продолжительные несчастья, укоры совести в убийстве, хотя и не умышленном, но все убийстве, и — как я имела случай догадываться — безнадежная любовь к дочери Павлищева сделали несчастному Древичу жизнь его ненавистною! Недели через две после сентенции он застрелился; его нашли в саду на плаще с разлетевшеюся на части головою: близ него лежал карабин. Мы пришли в Черниговскую губернию и стали квартирами в обширном селении, называющемся *Новая Басань*; здесь живет помещик Чеадаев, старый, уединенный, скучный человек, с такою ж точно сестрою. Мы никогда у него не бываем.

В соседстве у нас свадьба. Помещик М*** отдает дочь свою за ротмистра И*** Александрийского гусарского полка; мы все приглашены и завтра поедем. В доме М*** всем мужчинам отвели одну комнату; в ней поместились военные и штатские, молодые и старые, женатые и холостые. Я, в качестве гусара, должна была быть с ними же; в числе гостей был один комиссионер *Плахута*, трехаршинного роста, весельчак, остряк и большой охотник рассказывать анекдоты. В множестве рассказываемых им любопытных происшествий я имела удовольствие слышать и собственную свою историю: «Вообразите, — говорил Плахута всем нам, — вообразите, господа, мое удивление, когда я, обедая в Витебске, в трактире, вместе с одним молодым уланом, слышу после, что этот улан *Амазонка*, что она была во всех сражениях в Прусскую кампанию и что теперь едет в Петербург с флигель-адъютантом, которого царь наш нарочно послал за нею! Не обращая прежде никакого внимания на юношу-улана, после этого известия я не мог уже перестать смотреть на героиню!» — «Какова она собою?» — закричали со всех сторон молодые люди. «Очень смугла, — отвечал Плахута, — но имеет свежий цвет и кроткий взгляд, впрочем, для человека непредупрежденного в ней не заметно ничего, что бы обличало пол ее; она кажется чрезвычайно еще молодым мальчиком». Хотя я очень покраснела, слушая этот рассказ, но как в комнате было уже темно, то я имела шалость спросить Плахуту: узнал ли бы он эту Амазонку, если б теперь увидел ее? «О, непременно, — отвечал комиссионер, — мне очень памятно лицо ее; как теперь гляжу на нее; и где б ни встретил, тотчас бы узнал». — «Видно, память ваша очень хороша», — сказала я, завертываясь в свою шинель, Плахута начал еще что-то рассказывать, но я не слушала более и тотчас заснула.

На другой день все мы уехали в Басань свою. Девушка А*** рассказала мне о смешной ошибке, которая, однако ж, может иметь важные последствия. На третий день возвращения нашего со свадебного пира пошла я к подполковнику; видя его занятого делом, я прошла в комнату девушки А*** и нашла ее погруженную в глубокую задумчивость. На вопрос мой, отчего она так пасмурна и не усталость ли от танцев этому причиною? — отвечала она, вздыхая: «Нет, не усталость от танцев, а происшествие в танцах тяготит душу мою! Я одержала победу, без воли, без намерения, не только не желая, но и не подозревая даже, что такая напасть может со мной случиться!» Я смеялась ее печали и спросила, как же сделалось с нею такое чрезвычайное несчастье? и кто этот богом отверженный, над которым победа причиняет ей такую горькую печаль? «Хорошо вам шутить, — сказала А***, — я готова плакать. Вот послушайте, как это было: вы знаете, что я очень дружна с Катенькой Александровичевой; мы обе, когда нам случается в танцах подавать друг другу руку, всегда уже пожимаем ее; забывшись, я не видала, что надобно было подать руку Ч***, этому молодому гусарскому офицеру Александрийского полка; чувствую, что руку мою взяли, я тотчас пожала, воображая, что рука Катеньки; но, не слыша ответа на мое пожатие, оглядываюсь и, к неизъяснимому замешательству моему, вижу, что это Ч*** держит мою руку и смотрит на меня с видом радости и изумления! Я покраснела и не знала, куда девать глаза свои. Вчера Ч*** сделал мне предложение о супружестве через жену Станковича, желая, как он говорит, увериться в

моих чувствованиях и тогда уже просить меня у моих родителей! Но я не имею к нему ни малейшей склонности и совсем не хочу идти так рано замуж. Беда моя, если он отказ этот припишет стыдливости и будет свататься открыто; батюшка отдаст меня! Ч*** богат!» — «Да, наделали вы себе хлопот с этим безвременным пожиманием рук; нельзя, однако ж, не удивляться благородству чувствования Ч***; одно пожатие руки девицы заставило его предложить о супружестве, тогда как другой, повеса, пожал бы вашу руку тридцать раз и не дал бы уже нигде покоя, не заботясь предлагать о неразрывном союзе...» Разговор наш был прерван приходом отца девицы А***, Станковича и жены его; опасения А*** были основательны. Ч*** сделал предложение отцу, который принял его с радостью и, полагая навверное, что дочь его согласится, пришел сказать ей об этом предложении. Много было удивления, слез, брани, хлопот, пока наконец девица А*** избавилась нежеланной партии.

Прогуливаясь вечером около мельниц, увидела я, что гусары наши расстанавливают за рвом соломенное чучело. На вопрос мой, для чего это? — отвечали, что завтра ученье конное с стрельбой из пистолетов.

В шесть часов утра мы были уже на поле; Станкович командовал эскадроном; Павлищев был инспектором этого смотра. Действие открыл первый взвод под начальством Т***, которому надобно было первому перескочить ров, выстрелить из пистолета в соломенное чучело и тотчас рубить его саблею; люди последуют за ним, делая то же. Т*** тотчас отсекся прыгать через ров, представляя, к общему смеху нашему, причину своего отказа ту, что он упадет с лошади. «Как вы смеете сказать это, — вскричал инспектор, — вы кавалерист! гусар! Вы не стыдитесь говорить в глаза вашему начальнику, что боитесь упасть с лошади. Сломите себе голову, сударь, но скачите! делайте то, что должно делать в конной службе, или не служите». Т*** выслушал все, но никак не смел пуститься на подвиг и был просто только зрителем отличавшихся его гусар. За ним П*** плавно поскакал, флегматически перескочил ров, равнодушно выстрелил в чучело и, мазнув его саблею по голове, стал покойно к стороне, не заботясь, хорошо или дурно делает эволюции взвод его. За ним была очередь моя; у меня на этот раз не было своей лошади, и я сидела на одной из фронтовых; это был конь пылкий, красивый собою, но до крайности пугливый. Он вихрем понесся к рву, перелетел его со мною, как птица; но выстрел из пистолета заставил его прыгнуть в сторону; с четверть часа мыкался он то туда, то сюда, становился на дыбы и относил быстро от чучела, которого мне надобно было рубить. Я совсем потеряла терпение и, желая скорее кончить эту возню, ударила саблею своего капризного коня, как мне казалось, плашмя; конь бросился со всех ног на чучело и даже повалил его. Не заботясь о причине такого скорого повиновения, я оборотила лошадь, перескочила обратно ров и стала смотреть, как мои гусары делали ту же самую эволюцию; наконец она кончилась. Выступил на сцену четвертый взвод; им командовал Вонробка — отличный стрелок и наездник. Я сделалась в свою очередь простым зрителем и подъехала к Станковичу и Павлищеву, чтоб вместе с ними смотреть на молодецкие выходки последнего взвода. «Что это за кровь на ноге вашей лошади, Александров?» — спросил Станкович. Я оглянулась: по копыту задней ноги моего коня струилась кровь и обагряла зеленый дерн. Удивляясь, осматриваю с беспокойством, откуда б это могло быть, и, к прискорбию моему, вижу на клубе широкую рану, которую, вероятно, я нанесла, ударив так неосторожно саблею. На повторенные вопросы Станковича: «Отчего это?» — я должна была сказать, отчего. Станкович переменился в лице от досады: «Поезжайте за фронт, сударь! Поезжайте на квартиру! вам не на чем быть на ученье и незачем; вы мне перераните всех лошадей!» Оглушенная этим залпом выговоров, я поехала на квартиру, не столько раздосадованная жутью ротмистра, как опечаленная жестоким поступком моим с бедною лошадию. Приехав на квартиру, я приказала при себе вымыть рану вином и заложить корпией. По окончании ученья все поехали к Павлищеву, в том числе и

господин Т***. На вопрос Павлищева, а где ж Александров? — трус Т*** поспешил сказать: «Он теперь омывает горячими слезами рану лошади своей». — «Как это! какой лошади?» — «Той, на которой он сидел и которой разрубил клуб за то, что не пошла было на чучело». — «С вами этого не случится, Григорий Иванович! скорее чучело пойдет на вас, нежели вы на него». — Насмешник замолчал с неудовольствием.

[Оглавление](#)

КОМАНДИРОВКА. 1810 ГОД

Киев. Станкович получил повеление прислать одного офицера, унтер-офицера и рядового к главнокомандующему резервной армией генералу *Милорадовичу* на ординарцы; эскадронному командиру моему пришла фантазия послать ординарцев самых молодых, и по этому распоряжению жребий пал на меня, как говорит Станкович, на юнейшего из всех офицеров. Хорошо, что я уже не так молода, как кажусь; мне пошел двадцать первый год, а то я не знаю, что хорошего дождался бы Станкович, отправляя трех молокососов одних на собственное их распоряжение и на такой видный пост. Юнкеру Граве шестнадцать лет; гусару восемнадцать, а моя наружность не обещает и шестнадцати. Отличные ординарцы!

На рассвете отправилась я с своею командою в Киев, где находится наша корпусная квартира. Для избежания нестерпимого жара и сбережения лошадей я ехала ночью от Броварей до Киева. Густой сосновый лес искрещен весь бесчисленным множеством дорог, глубоко врезавшихся в песок; не зная, что все они выводят к одному месту, к берегу Днепра и Красному трактуру, я думала, что мы заплутались; продолжая ехать наудачу, дорогою, какая случилась перед нами, и будучи окружены непроницаемою чащею, увидела я что-то мелькнувшее с дороги в лес; дав шпоры лошади, прискакала я к тому месту, где что-то пряталось за деревьями. На оклик мой: кто тут? — вышла крестьянка, едва переводившая дух от страха; но, увидя спокойный и дружелюбный вид трех молодых гусар, она и сама успокоилась и говорила уже смеючись: «Вишь, беда какая, я испугалась вас, а вы меня!» Граве показалось очень смешно, что малороссиянка думала, будто три гусара, вооруженные, могли ее испугаться. «Скажи нам, матушка, куда мы едем? нам надобно в Киев». — «Ну, так вы туда и едете», — отвечала женщина своим малороссийским наречием. «Как же угадать нам, куда повернуть; здесь такое множество дорог!» — «Что до этого, — сказала крестьянка, — все они выходят к одному месту, к Красному трактуру, недалеко от перевоза». Сказав ей спасибо, мы поехали рысью и скоро увидели блистающий от лунного света Днепр. Пока проснулись перевозчики и приготовили паром, месяц зачал тускнеть, знак занимающейся зари. Мы взошли на паром, и пока переправлялись, то рассвело совсем. Я поехала прямо к нашему генералу *Ермолову*; у него на дворе юнкер мой и гусар расположились биваками; а я прошла в залу и легла не раздеваясь на диван. Встав за полчаса до пробуждения Ермолова, я привела в порядок свой униформ и ожидала, когда он проснется, чтобы тотчас идти к нему. Прием генерала был весьма ласков и вежлив. Обращение Ермолова имеет какую-то обворожительную простоту и вместе обязательность. Я заметила в нем черту, заставляющую меня предполагать в Ермоллове необыкновенный ум: ни в ком из бывающих у него офицеров не полагает он невоспитания, незнания, неумения жить; с каждым говорит он как с равным себе и не старается упростить свой разговор, чтоб быть понятным; он не имеет смешного предубеждения, что выражения и способ объясняться людей лучшего тона не могут быть понятны для людей среднего сословия. Эта высокая черта ума и доброты предубедила меня видеть все уже с хорошей стороны в нашем генерале. Черты лица и физиономия Ермолова показывают душу великую и непреклонную!..

Адъютант Милорадовича К*** прислал просить меня к себе; я пришла и тотчас увидела, что он ожидал не меня: грубый, необразованный офицер этот спросил, не предложив даже мне стула: «Почему эскадронный командир ваш не прислал на ординарцы того офицера, которого я назначил?» — «Вероятно, потому, — отвечала я, — что назначение ваше несообразно было с его хозяйственными распоряжениями в эскадроне. У нас ведется очередь откомандировок, о которых постороннему нет надобности заботиться». Я видела, что ответ мой рассердил К***; он необыкновенно горд, как вообще все мелочные люди. Несмотря на видимую молодость мою, я имела удовольствие сделать К*** врагом своим.

Выбираются дни, что я с утра до вечера летаю на своем коне — *Алмазе* — или подле кареты Милорадовича, или с поручениями от него к разным лицам в Киеве. В последнем случае он посылает меня тогда только, когда тот, к кому надобно послать, проезжий или приезжий генерал; но когда он выезжает сам в карете или верхом, то всегда уже сопровождаю его я одна с моими гусарами, и никогда никакой другой ординарец не ездит за ним. Из этого я заключаю, что Милорадович любит блеск и пышность; самолюбию его очень приятно, что блистающий золотыми шнурами гусар на гордом коне рисуется близ окна его кареты и готов по мановению его лететь, как стрела, куда он прикажет.

К*** пришло в голову осматривать, так ли, как должно, одеты ординарцы, не только рядовые, но и офицеры. Сумасбродная фантазия! Может ли пехотный офицер знать в тонкости все принадлежности гусарского мундира, и вдобавок лучше, нежели сами гусары! Я не послушала его приказания как такого, которое не могло ко мне относиться; не поехала к нему на смотр ни сама, ни гусар своих тоже не послала. Он имел слабость пожаловаться Ермолову, у которого все мы, как у дежурного генерала, под непосредственным начальством; Ермолов спросил меня, для чего я не явлюсь к К***? «Для того, ваше превосходительство, — отвечала я, — что К*** ничего не смыслит в нашем униформе, и что странно было бы, если б гусарский офицер имел нужду в наставлениях пехотного, как одеться в свой мундир». Ермолов не настаивал более, но сказал только: «К*** это приказано от Милорадовича, сладьте это как-нибудь». — «Поверьте, генерал, что К*** лжет! Милорадович имеет столько ума, чтоб не посылать гусар на смотр к мушкетеру». Дело обошлось без дальних хлопот. К*** оставил свои претензии.

Сегодня было заложение инвалидного дома. По окончании всех обрядов все мы обедали в палатках; день был до нестерпимости жарок. Прежде еще присутствования при заложении дома Милорадович объехал в сопровождении всей свиты своих ординарцев все крепости, что составляло верст двадцать. Его небольшая арабская лошадь, галопируя весьма покойно, не утомила нисколько своего всадника; но не то было со мною: мой Алмаз, не умея сообразить своих скачков с легким и плавным галопом питомца степей и, сердясь, что не дают ему воли скакать, как бы ему хотелось, беспрестанно прыгал, становился на дыбы, третировал и рвал из рук повода. Он так измучил меня, что, когда мы приехали к палаткам, я думала, кровь моя вспыхнет: таким горячим потоком кипела она во всем теле моем!

Мы тотчас после освящения сели за стол; я положила в рюмку кусок льду; *Голицын*, стоявший в это время подле меня, ужаснулся: «Что вы делаете, — сказал он, — вы можете смертельно простудиться». Пока он это говорил, я выпила одним духом свое вино со льдом. «Неужели вам не вредны такие переходы от жары к холоду?» Я отвечала, что привыкла ко всему этому. И в самом деле, здоровье мое беспримерное; я, так сказать, цвету здоровьем, и мне до крайности не нравятся мои алые щеки. Я как-то спросила *Любарского*, нашего полкового лекаря, не знает ли он средства избавиться лишнего румянца? «Очень знаю, — отвечал он, — пейте больше вина, проводите ночи за картами и

в волокитстве. Через два месяца этого похвального рода жизни вы получите самую интересную бледность лица».

Мне очень весело в Киеве; я имею здесь много приятных знакомств, в числе которых считаю дом *Масса*, здешнего коменданта; родной племянник его, *Шлеин*, кирасирский офицер, мне хороший приятель. Масс, несмотря на свои шестьдесят лет, все еще молодец и так бодро скачет на коне, как лучший из наших гусар.

Вчера был концерт в пользу бедных; Милорадович подарил по два билета всем своим ординарцам, в том числе и мне. Концерт был составлен благородными дамами; главную в этом музыкальном обществе была княгиня Х***, молодая, прекрасная женщина и за которую наш Милорадович неусыпно ухаживает. Я не один раз имела случай заметить, что успех в любви делает генерала нашего очень обязательным в обращении; когда встречаюсь с ним в саду, то всегда угадаю, как обошлась с ним княгиня: если он в милости у нее, то разговаривает с нами, шутит; если ж напротив, то проходит пасмурно, холодно отвечает на отдаваемую нами честь и не досадует, если становимся ему во фронт, тогда как в веселом расположении духа он этого терпеть не может.

Милорадович давал бал в день именин вдовствующей государыни; блестящий, великолепный бал! Залы наполнены были гостями; большой старинный сад был прекрасно иллюминирован; но гулять в нем нельзя было и подумать: Милорадовичу вздумалось угощать там свой *Апшеронский* полк, что и было после причиною смешного происшествия; вечером бесчисленное множество горящих ламп, гремевшая музыка и толпы прекрасных дам привлекли любопытство находившихся в саду наших храбрых сподвижников; они подошли как можно ближе к стеклянным дверям залы, которые были отворены и охраняемы двумя часовыми. Масс, видя, что толпа солдат сгущается от часу более и напирает в двери, так что часовые с трудом могут ее удерживать, чтоб не вломилась в залу, позвал меня; я была в этот день на дежурстве: «Скажи, Александров, часовым, чтобы затворили двери». Я пошла было исполнить приказание: но Милорадович, слышавший, что говорил мне Масс, остановил меня, спрашивая: «Куда вы?» Я отвечала, что иду сказать часовым... «Знаю, — перервал Милорадович нетерпеливо, — не надобно затворять! пусть войдут! Юнкера могут танцевать! Оставайтесь на своем месте!..» Говоря это, он поправил раза два свой галстук, что было признаком досады, и пошел к часовым сказать, чтоб не мешали идти в залу кому вздумается из солдат. Следствием этого распоряжения было то, что менее нежели в пять минут зала наполнилась солдатами, высыпавшими, как рой, из садовой двери; вмиг смешались они с гостями. Масс пожимал плечами, Ермолов усмехался; дамы с изумлением отступали назад, видя подле себя эти дебелые и грубые существа. Я, вместе с другими ординарцами, смеялась от души странному этому зрелищу. Дамы собрались все в одну горницу; мужчины ожидали, улыбаясь, чем эта сцена кончится. Милорадович, совсем не ожидавший такого шумного и многочисленного посещения своих сослуживцев, сказал, что он советует им идти обратно в сад, где им свободнее будет веселиться; прибавя, что «чистый воздух есть стихия русского воина!» Из этого изречения русские воины ничего не поняли, кроме того, что им надобно идти обратно в сад, куда они немедленно и ушли. Теперь уже сам Милорадович велел затворить двери; порядок восстановился, музыка заиграла, красавицы рассыпались по зале и снова заблистали взорами на гусар, улан, кирасир, драгун, одним словом, на все носящее усы и шпоры. Офицер Татарского уланского полка, молодой человек необычайной красоты и также необычайно высокого роста, барон N*** казался царем всего этого блестящего сонмища; глаза всех дам и девиц сияли на него своими лучами. Нельзя сосчитать всех соперничеств, досад и движений ревности, произведенных им в этот вечер; порывов последней не избежал и Милорадович. Княгиня, танцуя с ним кадрили, беспрестанно оборачивала голову к другой кадрили, в которой танцевал барон.

За полчаса перед ужином кончились танцы, и все усмирилось; несколько молодых людей, и в их числе комиссионер П***, шалун, болтун и повеса, пошли с нами, то есть с ординарцами, в комнату смежную с залом: там П*** принялся рассказывать о всех красавицах в Малороссии, каких где ему случалось видеть. «В Пирятине видел я, — говорил П***, — девицу Александровичеву редкой красоты, и что ж? у нее такое варварское имя, которого я ни выговорить, ни слышать не могу без досады: *Домника Порфировна!* Слыхали ль вы что-нибудь подобное?» Я вздрогнула при этом имени: Домника Александровичева двоюродная сестра мне, и я, по справедливости, боялась, чтоб от нее по прямой линии не дошло до меня. Опасения мои оправдались в ту ж минуту. П*** продолжал: «Кроме красоты своей, смешного имени, Домника замечательна еще и по близкому родству с тою Амазонкою, о которой так много говорили три года тому назад и которая после бог знает куда девалась». Все стали рассуждать и толковать об этом происшествии; я молчала и пока думала, пристать или нет к этому разговору, *Давыдов*, один из нашей собратий ординарцев, сидевший подле меня, вдруг вскрикнул, ударив меня по колену: «Что нам в ваших Амазонках! вот у нас своя девочка! не правда ли? тонок, как спичка, краснеет при каждом слове...» — «Что мы здесь спрятались, господа, — сказал *Шлеин*, вставая и взяв за руку меня и драгуна *Штейна*, — пойдемте к генералу!» За нами встали все и пошли толпою в залу.

Как дурно рассчитывают те командиры полков, которые, желая отдалить от себя худого поведения офицера, посылают его куда-нибудь в откомандировку. В полку он скрыт со всеми его несовершенствами и что бы там ни напроказил, все остается, так сказать, дома; но, будучи выслан на показ свету, он играет соло, и так отвратительное, что всем, носящим один мундир с ним, стыдно его слушать. Повод к этому размышлению дало мне одно из происшествий вчерашнего бала: уланский ординарец Т. А***, видя возможность пить пунш, сколько ему рассудится, напился до такой степени, что его и без того узенькие калмыцкие глаза совсем почти закрылись и он в совершенном опьянении ходил посреди дам, приглашая каждую танцевать, хотя музыка давно уже перестала играть и делались приготовления к ужину. Дамы усмехались и по мере приближения этого чудака удалялись от него; он продолжал бродить среди общества, наткнулся наконец на старого Массы и наступил ему на ногу. Комендантская кровь вспыхнула от такой наглости; он остановил А*** рукою, говоря ему: «Вы, господин офицер, кажется, ничего уже не видите?» — «А что мне видеть?» — возразил А***, стараясь расширить свои смыкающиеся глаза. «Людей, по ногам которых вы ходите!» — «По чьим?» — спросил пьяный улан. «Мне, мне, коменданту, наступили вы на ногу», — сказал вышедший из терпения Масс. «Мы все здесь коменданты!» — пробормотал А*** и, махнув рукою, пошел опять ходить по зале, покачиваясь из стороны в сторону. На другой день его отослали в полк.

Сегодня были маневры: пример баталии. Ермолов, командовавший войском, назначенным отступать, просил Милорадовича дать ему двух из своих ординарцев; Милорадович дал ему драгуна и улана, оставя себе гусара и кирасира. Посреди этой суеты сует, скачки, пальбы и атаки какой-то несчастный наездник, сидевший на лошади, отделя от нее ноги на пол-аршина, проскакал мимо меня, зацепился за мою шпору и оторвал ее; я скоро узнала невыгоду остаться с одною шпорою. Милорадович везде посылал одну меня, и я во все продолжение маневров летала в своем золотом мундире с ментиею на плечах, как блестящий метеор, мелькая среди стреляющих, марширующих, кричащих *ура!* и идущих на штыки. Наконец лошадь моя едва переводила дух; Милорадович стоял в это время над одним глубоким рвом и рассматривал позицию; за оврагом, над которым стоял наш главнокомандующий, находились егерские стрелки и, на беду свою, стояли, а по распоряжению им надобно было лежать. Милорадович рассердился, стал дергать свой галстук и, взглянув на меня, сказал отрывисто, указывая на овраг рукою: «Поезжайте к этим стрелкам, скажите их недогадливому офицеру, чтобы он велел им лечь!» Я тронула

остальнойю шпорою свою лошадь; но она, видя, что надобно идти в глубокий ров, замялась. «Что ж, вы не хотите меня слушать!» — закричал Милорадович. Удар шпорою и саблею заставил коня моего броситься стремглав в овраг, и я, как Курций, слетела вместе с лошадью в эту пропасть!

По окончании маневров бедный мой *Алмаз*, отведенный в конюшню, тотчас лег, как только его расседлали, и на другой день я не узнала его, до такой степени он переменялся.

Два месяца дежурства моего при главнокомандующем в звании ординарца прошли. Завтра я возвращаюсь в эскадрон.

Служба моя в эскадроне началась очень несчастливо. На рассвете прискакал ко мне дежурный унтер-офицер с известием, что корнет Парадовский застрелился. В одно мгновение оделась я, села на лошадь без седла и поскакала во весь опор на квартиру Парадовского. Станкович был уже там; несчастный Парадовский лежал середь полу, вниз лицом; кровь его большою лужею скопилась у дверей; череп расскочился на несколько кусков, которые лежали на полу и на лавках; карабин, из которого он застрелился, находился близ тела, две пули остались в потолке. Станкович, рассмотрев все письма и кой-какие записки покойника, не нашел ничего, по чему можно было бы угадать причину его самоубийства; он приказал обвернуть платком лицо и остаток головы несчастного Парадовского и отнести тело его на распутие, где вырыли ему могилу. Мимо ее пролегает дорога, и вечером, проходя ею, я невольно содрогнулась, поравнявшись с зеленым холмом Парадовского: вчера мы шли с ним вместе этой дорогою! а сегодня... Нам велено идти в поход! Какая непостоянная жизнь, не дадут нигде привыкнуть! Мы было так хорошо ознакомились с окружающими помещиками и вот опять понеслись вдаль. Теперешние наши квартиры будут близ Ровно, в имении Корвицкого, местечке Мизочи (на Волыни).

Эскадрон наш прошел через Киев. *Ермолов* ехал с нами до заставы. Он очень ласково разговаривал со мною, спрашивал, не жалею ли я о чем-нибудь в Киеве, и когда я сказала, что не жалею ни о чем, то он похвалил меня, говоря: «Веди себя всегда так, молодой человек, я буду почитать тебя».

Мизочь. Здесь большой манеж и прекрасный сад, два замечательных предмета; остальное все так, как и везде в Польше, — развалившиеся хижины, крытые соломою, и больше ничего. До манежа нам дела нет, мы объезжаем добрых коней в чистом поле; но сад! это дело другое. Я провожу там все послеобеденное время. Какое тут множество цветов, и так прекрасных, что я прыгаю от радости при виде их и ни для чего в свете не могу удержаться, чтоб не достать себе одну из роз, так высоко растущих, как мне никогда еще не случалось видеть; эти деревца вышиною аршина три и более осыпаны прелестнейшими розами, и я не иначе могу доставать их, как срубя цветок концом сабли. В один день я была застигнута на этом подвиге приходом садовника; в замешательстве и показывая ему срубленную розу, я спросила: «Можно ли иногда сорвать цветок с этих розовых деревьев?» — «Да когда уже сорвали, так можно, — отвечал, смеючись, садовник, — но только не испортите самого деревца».

Вчера Станковичу пришла охота делать ученье в самый полдень; пыль и жар были нестерпимы; маневры делались все на карьере, к чему Станкович, лихой гусар, привык еще при Витгенштейне, прежнем шефе Мариупольского полка. Вчера метода эта едва не стоила жизни бедному жиду, трусливейшему из всех существ, населяющих землю. Окончательный маневр у нас бывает — *атака*. По команде: с *места! марш! марш!* мы понеслись как лишенные ума; Станковичу рассудилось повесть атаку на *Мизочь*, близ которого была широкая дорога и на ней пыли в пол-аршина глубиною; когда мы вскакали

на эту дорогу, то пыль обняла эскадрон таким густым облаком, что я не только не видала, куда скачу, до не видала и лошади, на которой сижу; в это время раздалось вдруг и командирское — *стой! равняйся!* и отчаянный вопль чей-то подле самого стремени моего. Я с испугом остановила свою лошадь, и в то же время редеющая пыль дала мне увидеть у ног моего коня поверженного жиды, который кричал во весь голос: *ратуйте!* Его бледное лицо, полные ужаса глаза, растрепанные пейсы и широко разинутый рот делали его похожим на чудовище: лошадь моя захрапела, стала на дыбы, а жиды на четвереньках отполз от остановившегося фронта; потом встал и, согнувшись почти до земли, убежал в местечко. Я после узнала, что он упал от страха; но был невредим, потому что случаю угодно было, чтоб в это самое время остановился скачущий эскадрон. После ученья рассказала я моим товарищам об этом происшествии. «Ну, что ж, — спросил Вонробка, — когда ты увидел у ног своей лошади пручающегося жиды с зияющею пастью и выпученными глазами, не пришло тебе на мысль из Федры:

De rage et de douleur ie monstre bondissant
Vient aux pieds des chevaux tomber on mugissant,
Se route, et leur presente une queue enflammee
Qui les couvre de feu, de sang, et de fumee».

От ярости и от боли чудовище подпрыгнуло
И с ревом пало под ноги коням,
Оно извивалось, из огненной пасти
Извергая огонь, кровь и дым (франц.).

Домбровица. Мы расстались с Александрийцами и пришли квартировать в местечко Домбровицу, принадлежащую графу Платеру, живущему в трех верстах от нее. Я сделала приятное знакомство, и довольно странным образом. Дымчевич, наш батальонный командир, занимает бельэтаж большого каменного дома; о жителях верхнего этажа мы не имели никакого понятия. В один день, будучи дежурным по караулам, по обязанности своей пришла я к Дымчевичу с рапортом; всходя на крыльцо, слышу звуки фортепиано. Эта необыкновенность и превосходство игры заставили меня забыть Дымчевича, рапорт и все на свете караулы. Я пошла туда, откуда неслась обворожительная гармония: всхожу на лестницу, иду по коридору и прихожу к дверям, за которыми явственно слышу музыку; отворяю и, к удивлению моему, вижу себя в кухне, в которой не было и не могло быть фортепиано. Остановясь в изумлении, я продолжаю слушать: играют в соседней комнате; ведома гусарскою предприимчивостью, я иду далее, решаюсь непременно узнать, кто так прекрасно чарует слух мой. Прихожу к другой двери, отворяю ее, и восклицание: «Ах, боже мой!» — прекратило тотчас музыку. Вскрикнувшая дама была пожилая женщина; она смотрела на меня с беспокойным и вопрошающим видом; но молодая, игравшая на пиано, хотя смешалась было, тотчас, однако ж, оправилась, когда я сказала, как умела, по-польски, что прекрасная игра ее вела меня, как очарованного, через все места против моей воли и всякого приличия; что если приход мой через кухню кажется ей странным, то прошу ее вспомнить, что я не властен был выбирать дорогу. Она отвечала чистым польским наречием, что ей очень приятен случай, доставляющий ей мое посещение. Меня просили садиться, а я просила ее продолжать свою игру, что она тотчас и исполнила. Окончив, она стала говорить своей матери по-русски. Я удивлялась правильному выговору ее и сказала ей об этом. «Я — русская», — отвечала она. «Ах, боже мой! так на что ж я ломаю всеми образами язык свой, чтоб говорить с вами по-польски?» — «Не знаю», — сказала, смеючись, молодая госпожа Выродова: так была фамилия моей новой знакомой. Это приключение имело весьма приятные последствия: мать и дочь так полюбили меня и до такой степени дорожили моим товариществом, что ни одного дня не могли провести без меня, и, если я который день не приходила, выговаривали и

решиительно не хотели, чтобы я пропустила хоть одни сутки, не быв у них; на это я и сама охотно согласилась, потому что нигде не находила столько ума, приятности обращения, ласки, дружбы, отличного образования и блестящих талантов, как в молодой Выродовой.

Добрая старушка, мать Выродовой, любит меня, как сына, называет Сашенькой и целует в лицо. Я рассказала Вонробке, с которым вместе квартирую, об этом знакомстве; хотя он теперь болен, не может надеть мундира и, следовательно, быть у нее, но желание его видеть этот феномен Домбровицы так велико, что он решился пуститься на какую-нибудь шалость, только чтоб сыскать средство войти к ним в дом; думал, передумывал и наконец выдумал, чтобы я отослала с ним книги к Выродовой; что для этого посольства он наденет солдатский китель и, будучи защищен этой эгидою от внимания дам, рассмотрит со всею свободою мое, как он говорит, *завоевание*. Я отдала ему книги и едва не сделалась больна от смеха, видя его преобразившегося в солдата, больного, худого, бледного, с мутными глазами и искривленной шеею. Он пошел, а я осталась ждать развязки. Через четверть часа Вонробка возвратился и рассказал, что поход его был весьма неудачен: книги взяла у него горничная девка, и когда он хотел заглянуть в дверь, несколько отворившуюся при шуме, сделанном его приходом, то девка, сочтя его пьяным, не допустила и вытолкнула за двери. Я сказала ему, что самолюбию Выродовой лестно будет, когда она узнает, что было причиною превращения его в пьяного солдата.

К молодой вдове, моей знакомке, приезжает часто графиня Платер. Эта семидесятилетняя дама великая охотница ездить на полеванье за зайцами, волками, кабанам и большая мастерица стрелять из ружья; нередко проезжает она верхом через Домбровицу и всегда мимо нашей гауптвахты; белая лошадь ее не много чем моложе своей всадницы; за нею следует ее берейтор с хлыстиком; когда графине рассудится пуститься в галоп, она говорит одно только слово: *галоп!* по этой команде берейтор дотрагивается хлыстиком до лошади, и она поднимается в плавный и легкий галоп. Мы все имели и случай и время заметить, что белая лошадь галопирует тогда только, когда перед гауптвахтою нашею или на крыльце шефской квартиры соберется много гусарских офицеров. Не понимаю, отчего графиня так недовольна нами; она зовет нас капуцинами! За что? неужели за то, что мы очень редко бываем в ее доме; так это более ее вина, нежели наша. Слыхано ли где, чтоб бал оканчивался в восемь часов? У графа это узаконенное время ужина, и часто бой роковых восьми часов, заставляя смолкнуть гремющую музыку, слышится так же неожиданно и нежеланно, как бой смертного часа, особливо для некоторых из наших молодых гусар.

Не знаю, что мне делать! деньги исчезают, как дым, и куда, не понимаю. Я не играю в карты, не пью вина, ничего не покупаю; но как только обращаю ассигнации в серебро, то эти *злотые, гроши, двудесятки* сведут меня с ума и рассыплются, как прах. Стыдно мне просить опять, и еще так скоро, у государя денег, а нет другого средства; отец не даст, да я и сама ни за что не стану беспокоить доброго моего родителя. Ах, он так небогат! и уже стар! Увижу ли я это счастливое время, когда в состоянии буду помогать ему! Благословит ли меня бог этою радостью! Буду ль я покоить старость отца моего! Заплачу ль ему за попечения в детстве моем! О, верх благополучия покорных детей, достигну ли я тебя!

Государь пожаловал мне тысячу рублей; я получила их от Аракчеева, который пишет ко мне, «что, заступя место графа Ливена при государе, взял вместе с прочими делами и ту обязанность, которою возложено на него доводить до сведения императора все мои просьбы и желания». Он оканчивал письмо свое уверением в готовности делать для меня все, что от него зависит.

Сегодня я дежурным в табуне и буду в этой должности всю неделю. Среди луга, отведенного для паствы нашим лошадям, построен мой соломенный шалаш; первый день я почти весь проходила по окружным полям и любовалась игрою и беганьем наших четвероногих друзей.

Вчера в первый раз в жизни я испугалась и теперь имею понятие, что такое страх. Табун наш пасется в семи верстах от эскадронных квартир; это расстояние я часто проходила пешком без малейшей усталости; вчера, приехав, по обыкновению, верхом к Станковичу с рапортом о благосостоянии наших коней, я осталась у него обедать и, отдав лошадь провожавшему меня гусару, велела ему ехать обратно в табун, располагаясь сама прийти пешком. После обеда, когда я хотела было идти, Станкович, не зная того, что я отослала свою лошадь, удерживал меня остаться у него до чаю. Я согласилась, рассудя, что вечером не так жарко будет. После чаю Станкович сказал: «Куда тебе спешить, Александров, ужинай с нами; теперь светит месяц, ночь прекрасная, после ужина поедешь». Слова: ночь *прекрасная* решили меня остаться ужинать; я заранее радовалась своему ночному путешествию по безмолвным полям при пленительном свете полной луны. После ужина я простилась наконец с Станкевичем и, препоясав острый меч свой, пошла; но, чтоб не делать лишнего обхода, вздумалось мне пройти прямо от квартиры Станковича огородами и полями на дорогу, ведущую от селения к месту, где ходил табун. Я много выиграла бы, если б этот план удался мне; но я ошиблась в своем расчете. При обманчивом свете месяца все казалось мне ровным и гладким; но когда пришлось проходить через эти места, то я думала, что не будет конца рвам, ямам и вспаханым полям. Сначала я с легкостью перескакивала рвы, вымоины и проворно перебежала по вспаханному полю; но, видя, что за одним полем следовало другое, там третье, и еще поле, и еще, а окончания не видно, я потеряла бодрость и пошла тише; наконец рвы и огороды кончились, но поля все еще стлались черным ковром на большое пространство, которое я, хочу или не хочу, должна была перейти. С поздним раскаянием вспомнила я простонародную пословицу, что «прямо одни вороны летают!».

Наконец я вышла на дорогу; месяц был уже почти на середине неба, и свет его разливался серебром по всей необозримой обширности полей; глубокая тишина царствовала вокруг. Вышед на гладкую и ровную дорогу, не чувствуя более под ногами ни кочек, о которые запинаясь, ни рыхлой земли, в которую вязла, я пошла было скорым и легким шагом; но вдруг ужас и изумление сделали меня неподвижною. Я остановилась. Вопль, не имеющий в себе ничего человеческого, раздался по всему пространству полей и продолжался, не переставая, с такими ужасными завываниями, визгами, перекатами и некоторым родом стона, что страх овладел и сердцем, и умом моим, и я оборотилась было назад, чтоб убежать; однако ж стыд этого столь необыкновенного для меня поступка и еще больший стыд сделать его известным своим товарищам заставили меня образумиться и продолжать свой путь. Я вынула саблю и пошла навстречу неистовому воплю, который ревел, выл и грохотал все с одинакою силою. Напрягая зрение, чтобы увидеть, что за существо появилось в поле, я не могла ничего усмотреть, и мне нужна была вся сила рассудка и веры, чтоб не счесть этого вопля воплем злого духа. Прошед еще с полверсты, я увидела наконец нечто черное, приближающееся ко мне и кричащее неистово. Я пошла скорее; не доходя шагов сто, увидела я, что это крестьянин огромного роста; уверясь тогда, что это не зверь, не чудовище, не злой дух, но просто человек, я положила саблю в ножны и, сошедшись ближе с крестьянином, спросила его, для чего он так кричит? Он не мог отвечать мне: это был немой, живущий в нашем селении и питающийся подаянием; посредством разных знаков он успел дать мне понять, что идет из ближнего селения и, боясь волков, старается подражать собачьему лаю, чтобы этим отогнать их. Объясняя все это, он употреблял такие страшные телодвижения, что одними ими мог бы испугать всякого; он тарашил глаза, щелкал зубами и рычал диким голосом. Я сделала ему знак,

чтоб он шел своею дорогою, и он пошел с тем же нелепым воем, который был так страшен мне и который теперь сделался желателен и необходим: мне предстояла опасность действительная, не сверхъестественная, не романическая, но самая простая, грубая и ужасная! — опасность быть съеденной волками. В Малороссии и здесь звери эти во множестве рыщут ночью по полям и вокруг деревень; теперь я шла быстро, присматриваясь с беспокойством ко всем предметам, и по мере как благодетельный вой немого крестьянина стихал в отдалении, беспокойство мое увеличивалось; сердце мое сильно билось от ожидания опасности, в которой ни сила, ни мужество, ни умение владеть оружием не могли б мне быть пособием; что могла я сделать против восьми, десяти или более лютых и голодных зверей? Обескураживающие размышления мои были прерваны самым приятным образом: до слуха моего явственно доносились оклики часовых при табунах и даже песни, напеваемые ими вполголоса. Пришед в свой шалаш, я не велела подавать огня и, не раздеваясь, легла на соломенную постель свою. Ожидая скорого появления зари и не имея желания спать, стала я обдумывать, рассматривать, разбирать и переворачивать на все стороны приключения этой ночи. Нельзя уже не признаться, что я испугалась, услыша крик немого крестьянина. Страх мой исчез, когда я увидела, что кричит человек; но снова заменился боязнию встретиться с волками. Для чего ж в сражениях, при виде тысячи смертей близких, ужасных, в душе моей не было и тени страха? Что значит это? Боль, мученье, смерть, не все ли равно — от пули, сабли неприятеля или от зубов и когтей свирепого зверя? Никак не могу добраться умом своим до настоящей причины как страха своего, так и неустрашимости. Неужели это оттого, что смерть на поле сражения сопряжена с славою, а на поле среди волков с одной только болью?

[Оглавление](#)

ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ

Полк идет в *Слоним*, а меня отпустили на 28 дней в Петербург. Место графа *Аракчеева* заступил *Барклай-де-Толли*; будет ли он столько же обязателен ко мне, как был Аракчеев! вряд ли! Говорят, он человек очень суровый. Впрочем, странно было бы, если б сыскался кто-нибудь еще суровее графа; но Аракчеев имел два неоцененные качества — искреннюю привязанность к государю и слепое повиновение воле его.

Я опять увидела прекрасную столицу нашу! очаровательное жилище обожаемого царя! нежно любимого отца — кроткого, милостивого! Нет, язык человеческий беден выражениями для стольких соединенных добродетелей! Каждый день слышу, с каким чувством любви говорят о нашем Александре! Вижу слезы умиления в глазах тех, кто рассказывает какое-нибудь из его действий; и все они исполнены милости, и все они имеют целию счастье людей! Должно сделать усилие над собою, чтоб перестать писать о нем. Я не кончила бы никогда, если б слушалась того сердечного чувства, которым дышат к нему все жители обширного Петербурга.

Барклай-де-Толли приказал мне явиться к нему, и, когда я пришла в его кабинет, он отдал мне 500 рублей с весьма вежливым видом, говоря, что государь император полагает эту сумму достаточною для моей обмундировки. Что ж мне было делать? Я взяла деньги, поклонилась и пошла заказывать себе мундир и другие вещи; на эти деньги по одному только чуду можно б было сделать гусарский мундир; но как время чудес прошло уже, то я и решилась перейти в уланы. Написала об этом желании и причине его военному министру, прося, как это было мне позволено, довести просьбу мою до сведения государя и, сверх этого, дать мне некоторую сумму денег для переезда из одного полка в другой и полную уланскую обмундировку. Написав и послав эту записку к военному министру, я

поспешила уехать из Петербурга, полагая, что министр разбранил бы меня сгоряча и не доложил бы ничего государю; но как меня уже нет, бранить некого, то в продолжение времени он обдумает сам, что денег дали мне мало; в гусарах служить дорого. Да и что ему тут! так угодно государю!

Возвратясь в Слоним, я не нашла еще своего полка; он не прибыл. Жида обступили меня с предложением услуг; но, узнав, что золото у меня только на мундире, ушли, и я одна, без всякой прислуги, живу в доме старого отставного гвардии сержанта, который с утра до вечера рассказывает мне анекдоты своей молодости и службу при Екатерине.

Наконец я дождалась полка; эскадроны разошлись по квартирам, которые все почти в прелестных, романических местах. Как мила Польша по многому! веселые, гостеприимные поляки! прекрасные и ласковые польки! благорастворенный климат! картинные места и покорный, услужливый народ!

Весь наш полк теперь вместе. Первый батальон, квартировавший в Одессе, пришел сюда же в Слоним.

[Оглавление](#)

ПЕРЕВОД В ДРУГОЙ ПОЛК

1811, Апреля 1-го

Я на пути обратно в Домбровицу. Я уже *улан Литовского полка*; меня перевели.

С прискорбием рассталась я с моими достойными товарищами! с сожалением скинула блестящий мундир свой и печально надела синий колет с малиновыми отворотами! «Жаль, Александров, — говорит мне старший Пятницкий, — жаль, что ты так невыгодно преобразился; гусарский мундир сотворен для тебя, в нем я любовался тобою; но эта куртка: что тебе вздумалось перейти!..» Полковник Клебек, призвав меня: «Что это значит, Александров, — спросил он, — что вы перепросились в другой полк? мне это очень неприятно!»

Я не знала, что отвечать. Мне стыдно было сказать, что гусарский мундир был слишком дорог для меня по неумению распоряжаться деньгами. Сказав печальное прости храбрым сослуживцам, золотому мундиру и вороному коню, села я на перекладную телегу и понеслась во весь скак по дороге к *Пинску*. Денщика моего, Зануденко, отдали мне в уланы, и он, сидя на облучке, закручивает седые усы свои и вздыхает: бедный! он состарился в гусарах.

Вот я и в Домбровице. Литовским полком, в отсутствие шефа *Тутолмина*, командует князь *Вадбольский*, тот самый, которого я знала в Тарнополе. Думаю, что я скоро утешусь о потере гусарского мундира; вид улан, пики, каски, флюгера пробуждают в душе моей воспоминание службы в Коннопольском полку, военные действия, незабвенного Алкида, все происшествия, опасности! Все, все воскресло и живою картиною представилось воображению моему! Никогда не изгладится из памяти моей этот первый год вступления моего на военное поприще; этот год счастья, совершенной свободы, полной независимости, тем более драгоценных для меня, что я сама, одна, без пособия постороннего умела приобрести их. Четыре года минуло этому происшествию. Мне теперь двадцать один год. Ч*** говорит, что я выросла; что когда он видел меня в Тарнополе, то считал ребенком лет тринадцати. Неудивительно! Я имею очень

моложавый вид и что-то детское в лице; это говорят мне все; даже и панна Новицкая, прежде, нежели заснула от занимательности моего товарищества, воскликнула раза два: «Moy boze! tak mlode dziecko i juz idzie do woyska!!»(Мой боже! такой юный и уже служит в армии !! (польск.)).

Меня назначили в эскадрон к ротмистру Подьямпольскому, прежнему сослуживцу моему в Мариупольском полку. Доброму гению моему угодно, чтоб и здесь эскадронные товарищи мои были люди образованные: Шварц, Чернявский и два брата Торнези, отличные офицеры в полку по уму, тону и воспитанию. Подьямпольский не дал мне еще никакого взвода; я живу у него; всякий день взводные начальники приезжают к нам, и мы очень весело проводим наше время.

Шеф полка возвратился; я часто бываю у него; он любит и умеет хорошо жить; часто делает балы для дам соседственных поместьев. Графиня Платер не зовет улан капуцинами, и граф не приказывает накрывать стол в восемь часов; напротив, мы танцуем у них до четырех за полночь, и старая графиня берет самое живое и деятельное участие в наших забавах.

Молодая вдова Выродова вышла замуж за Шабуневича, адъютанта нашего полка. Она рассказывала мне, что по отъезде моем в Петербург Вонробка познакомился с ней, пленился ею и умел ей понравиться: что они были неразлучны все дни: вместе читали, рисовали, пели, играли, варили кофе и пили его, что, одним словом, жизнь их была райская и любовь истинная, на взаимном уважении и удивлении совершенствам друг друга... Я не могла долее слушать. «Как же случилось, — позвольте спросить, — что после всего этого вы — госпожа Шабуневичева?» — «А вот как случилось, — отвечала она: — Полку вашему велено было идти в Слоним; Вонробка с истинною горестию расставался со мною и клялся хранить верность; но о руке своей ни слова. Из Слонима он писал ко мне очень нежно, но тоже ни слова о вечном соединении нашем; из этого я заключила, что привязанность его из числа тех нескольких десятков привязанностей, которые он имел прежде; он любит испытывать сердце им занятое, и, пока уверится, что любим точно, собственная его любовь простынет. Не желая подвергнуться этому жребию, я перестала отвечать на его письма и принудила себя не думать более о нем. Любовь наградила меня за оскорбление, нанесенное моей нежностью: Шабуневич, молодой и прекрасный улан, полюбил меня всею силою пламенной души и доказал истину слов, что не может жить без меня; он предложил мне руку, сердце и все, что имеет и будет иметь. Я вышла за него и теперь, будучи счастливейшею женщиною, всякий день благодарю бога, что он не дал мне мужем Вонробку. Адская жизнь, милый Александров, с таким человеком, который все испытывает, ничему не верит и от излишней опытности всего боится. Мой бесценный Юзя не таков: он верит мне безусловно, и я люблю его с каждым днем более». Прекрасная Эротиада кончила свой рассказ, сев за пиано и спрашивая меня шутя: «Какие пиесы угодно вам, господин Александров, чтоб я играла?» Я назвала их, подала ноты и села подле её инструмента слушать и мечтать.

Тутолмин — красавец; хотя ему уже сорок четыре года, но он кажется не более двадцати восьми лет; девицы и молодые дамы окружных поместьев все до одной равнодушны к нему; все до одной имеют против него планы; но он!.. Я не видала никого, кто б холоднее и беспечнее его смотрел на все знаки участия, внимания и потаенной любви. Я приписываю это слишком уже высокому мнению о самом себе. О, в сердце, наполненном гордостью, нет места любви!

Вчера *Шварц* и я поехали гулять верхом, и, разъезжая долго без цели по песчаным буграм и кустарникам, мы наконец сбились с пути и с толку, то есть потеряли дорогу и

соображение, как найти ее. Кружась более часа все около того места, где, казалось нам, должна была быть дорога, усмотрели мы невдалеке деревню. Шварц, начинавший уже выходить из терпения и сердиться, поскакал в ту сторону, а за ним и я. Мы приехали к огородам; в одном из них женщина стлала лен. Шварц, подъехав к этому огороду, закричал: «Послушай, тетка! как зовется эта деревня?» — «Що пан каже?» — спросила крестьянка, кланяясь в пояс. «Как зовут деревню! провались ты с поклонами!» — крикнул Шварц, блистая глазами. Женщина испугалась и зачала говорить протяжно и запинаясь при каждом слове, что деревня эта имеет не одно название, что когда она была построена, то называлась как-то мудроно, она не упомнит; а теперь... «Черт возьми тебя, деревню и тех, кто строил ее!» — сказал Шварц, дав шпоры лошади. Мы понеслись. Шварц, бранясь и проклиная, а я с трудом удерживаясь от смеху. Проскакав с полверсты в прямом направлении, мы увидели еще одну женщину, тоже расстилающую лен на поляне, окруженной кустарником, через который пролегалала малоезжаная дорога. «Позволь мне расспросить эту женщину, — сказала я Шварцу, — ты только пугаешь их своим криком». — «Пожалуй, расспроси, вот увидишь, какой вздор она занесет». Я подъехала к женщине: «Послушай, милая, куда ведет эта дорога?» — «Не знаю!» — «Нельзя ли ею проехать в Корпиловку?» — «Нельзя!» — «Ну, а к черту нельзя ли по ней доехать?» — спросил Шварц, вышед из терпения, с злобною иронией и таким голосом, которого даже и я испугалась. «Можно, можно», — говорила оробевшая крестьянка, низко кланяясь нам обоим. «Не слушай его, милая, скажи только нам, не знаешь ли, как проехать в Корпиловку? Нельзя ли прямо полями? Она, кажется, должна быть недалеко отсюда». — «Да вы откуда приехали сюда?» — спросила женщина, робко поглядывая на Шварца. Я сказала. «О, так вы заплутались, вам надо вернуться назад и опять сюда приехать!..» При этом ответе я умерла, как говорится, от смеху. «Как прекрасно расспросил, — сказал Шварц, — не хочешь ли исполнить по совету!» Мы поехали и, проплутав еще часа два, открыли потом свою заколдованную Корпиловку и приехали в нее.

Наконец стальное сердце Тутолмина смягчилось! пробил час его покорения!.. Графиня Мануци, красавица двадцати восьми лет, приехала к отцу своему, графу Платеру, в гости и огнем черных глаз своих зажгла весь наш Литовский полк. Все как-то необыкновенно оживилось! все танцуют, импровизируют, закручивают усы, прыскаются духами, умываются молоком, гремят шпорами и перетягивают талию а *la circassienne*! (как черкешенки (франц.)) Графиня истинно очаровательна! в белом атласном капоте с блондовым покрывалом на волосах, опускающимся до половины ее прекрасных томных глаз. Она сидит в больших креслах и с милою небрежностью и равнодушием смотрит на ходящих, стоящих, блестящих и рисующихся перед нею уланских *Адонисов* наших! Она с дороги устала; так пленительно склоняет она голову к плечу матери и говорит вполголоса: «Ah! maman, comme je suis fatiguée!» (Ах! мама, как я устала! (франц.)) Но огонь глаз и удовольственная улыбка говорят противное. Уланы верят им более, нежели словам, и не торопятся домой. Наконец дремота восьмидесятилетнего Платера вразумила плененных кавалеристов, что, может быть, графиня в самом деле устала.

Красавец Тутолмин и красавица Мануци неразлучны; бал у Тутолмина сменяется балом у Платера; мы танцуем поутру, танцуем ввечеру. После развода, который теперь всякий день делается с музыкою и полным парадом и всегда перед глазами нашего генерал-инспектора — графини Мануци, мы идем все к полковнику; у него завтракаем, танцуем и наконец расходимся по квартирам готовиться к вечернему балу! От новой Армиды не вскружилась голова только у тех из нас, которые стары, не видели ее, имеют сердечную связь и, разумеется, у меня; остальное все вздыхает!

Все утихло!.. не гремит музыка!.. Мануци плачет!.. нет ни души в их доме из нашего полка!.. Мануци одна в своей спальне горько плачет!.. А вчера мы все так радостно

скакали какой-то бестолковый танец!.. вчера, прощаясь, уговаривались съехаться ранее, танцевать долее и опять на весь вечер навязать нашему Грузинцову старую графиню!.. Но вот как непрочны блага наши на земле: *выступить в двадцать четыре часа!* Магические слова! от них льются слезы Мануци! от них весело суется молодые солдаты! от них все, что вчера пело и танцевало, пасмурно рассчитывается и расплачивается за разные разности! Рейхмар говорит, что его ошеломило этим приказом! Солнцев, Чернявский, Лизогуб, Назимовы и Торнези, хотя были верными сподвижниками Тутолмина на поприще волокитства, нимало, однако же, не грустят и сейчас все полетели в свои эскадроны; Торнези и я поехали в *Стрельск*. «Опомнились ли вы наконец? — спросил нас Подъямпольский. — Я думал, вы насмерть закружитесь!» Мы сказали, что все еще раздается в ушах наших звук последнего котильона. «Ну, хорошо! а вот теперь начнем котильон, которого фигуры будут, по-видимому, довольно трудны... Прощайте, господа! у нас полные руки дела!» Мы отправились к своим взводам.

[Оглавление](#)



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВОЙНА 1812 ГОДА

17-го *марта*. Сегодня сказали мы последнее прости гостеприимному дому Платера, веселому жилищу нашему в Домбровице и всему, что нас любило, и всему, что нас

пленило! Мы идем в Бельск, выострим свои пики, сабли и пойдем далее.

Говорят старики уланы, что всякий раз, как войско русское двинется куда-нибудь, двинутся с ним и все непогоды. На этот раз надобно им поверить: со дня выступления провожают нас снег, холод, вьюга, дождь и пронзительный ветер. У меня так болит кожа на лице, что не могу до нее дотронуться; по совету старшего Торнези я каждый вечер умываюсь сывороткой, и от этого средства боль немного прошла, но я сделалась так черна, так черна, что ничего уже не знаю чернее себя.

Подъямпольский занят расчетами в штабе; я осталась старшим офицером по нем и команду эскадрона; впрочем, я калиф на час; через два дня царствование мое кончится.

Кастюкновка. В этом селении назначена эскадрону нашему дневка. Квартирою нам четверым — *Чернявскому*, двум *Торнези* и мне — служит крестьянская хижина, почерневшая, закоптелая, напитанная дымом, с растрепанною соломенной кровлею, земляным полом и похожая снаружи на раздавленную черепаху. Передний угол этой лачуги принадлежит нам; у порога и печи расположились наши денщики, прилежно занимаясь чисткою удил, мундштуков, стремян, смазываньем ремней и тому подобными кавалерийскими работами. Неужели нам оставаться целый день в такой конурке и в таком товариществе! Мы решились ехать на весь день к помещику селения *Соколовскому*.

Он принял нас очень ласково, и мы провели у него день весело и приятно. Я очень была обрадована, узнав, что он тот самый Соколовский, о котором писал Коцебу в своем *достопамятном годе жизни*. Коцебу называет его Соколовым, видно, по ошибке. Соколовский рассказывает нам, как жил в Сибири, грустил, надеялся, ходил на охоту и ждал с терпением и философиєю перемены к лучшему. Я спрашивала, так ли жил Коцебу в Сибири, как описывает, и был ли он печален? «Он жил весело, — отвечал, смеючись, Соколовский, — играл каждый день в карты, каждый день выигрывал и по наружности, казалось, мало заботился о том, что будет с ним далее».

*Селенье *****.* Здесь остановились мы, не знаю, надолго ли. Мне отвели квартиру у униатского священника; молодая жена его очень нежно заботится доставлять мне все, что есть лучшего у нее в доме; всякое утро приносит мне сама кофе, сливки, сахарные сухари, тогда как для мужа приготовляет просто стакан гретого пива с сыром; обед ее всегда вкусен, деликатен, и, только чтоб не до конца прогневить супруга, готовится одно какое-нибудь блюдо по его вкусу, который, надобно признаться, довольно груб.

Вчера пастырь наш был очень рассержен чем-то; во все продолжение обеда хмурился и отталкивал блюда, которые жена его подставляла ему, приятно усмехаясь; к счастью, гневу его не довелось разразиться на словах. Никто не говорил с ним, и даже старались не встречаться взглядами; в этом маневре жена была из первых.

Хозяйка выводит меня из терпения; нет дня, чтоб она не говорила мне: *вы должны быть непременно поляк!* «Почему вы так думаете?» — спрашиваю я и получаю в ответ какую-нибудь пышную глупость: *вы так приятно говорите; приемы ваши так благородны!* Она с ума сошла!.. «Неужели приятность разговора и благородство приемов принадлежат, по Вашему мнению, исключительно одним полякам? Чем же провинились перед вами все другие нации, позвольте спросить; что вы отнимаете у них эти преимущества?..» Вместо ответа она смеется, отделяется шутками и снова начинает открывать во мне различные доблести поляка. Отбиваясь всеми возможными доводами от чести быть поляком, сказала я, между прочим, хозяйке, что если она замечает во мне что-нибудь не совсем русское, так это может быть оттого, что в крови моей есть частицы малороссийской и шведской крови,

что бабки мои с отцовской и материнской стороны были одна малороссиянка, другая шведка. Хозяйка зачала хвалить шведов, превознося до небес их храбрость, твердость, правоту; хозяин приметно терял терпение; на беду, в это самое время подали ему любимое блюдо его, гречневую кашу, облитую сверху салом и усыпанную выжаренными кусочками этого же самого сала; в Польше называют их, не знаю уже для чего и почему — *шведами*. Хозяин, схватя блюдо, поставил его перед собою и с испуганием стал бить ложкою по этим безвинным кусочкам, приговаривая: «Не люблю шведов! не люблю шведов!» Сальные брызги летели на мундир и эполеты мои; я поспешно встала из-за стола, обтирая платком лицо... «*Ах, мой боже!*» — вскрикнула хозяйка, стараясь вырвать у него из рук ложку, — *помешался, совсем помешался!*»

Дни через три после этой сцены хозяйка принесла мне поутру кофе, как то делала всякий день; но в этот раз она уже не дожидалась, пока я возьму из рук ее чашку; она поставила все передо мною на столик и, не говоря ни слова, села задумчиво у окна. «Что так невесела, моя прекрасная хозяйка?» — спросила я. «*Nic, panie poruczniku!* (Ничего, пан поручик! (польск.)) — Помолчав с минуту, она стала говорить: — Будете вы помнить меня?» — «Буду, клянусь честью, буду!» — «Дайте же мне залог этого обещания». — «Извольте; что вам угодно?» — «Это кольцо!» Она взяла мою руку, сжимая легонько мизинец, на котором было золотое кольцо... Этого я не ожидала; молча и в замешательстве смотрела я на молодую попадью, устремившую на меня свои черные глаза, и не знала, что делать!.. Кольцо это было подарено девицею *Павлищевой*, и я поклялась ей никогда не расставаться с ним. Между тем хозяйка ждала ответа и, разумеется, невольно смешалась, видя, что я не снимаю в ту ж секунду кольцо, чтоб отдать ей... «*Что это значит, мой друг, что ты сидишь у господина поручика и забыла, что я еще не завтракал?*» Это говорил разгневанный хозяин; он растворил дверь моей комнаты и, увидя, что жена его держит мою руку, остановился на пороге. Жена кинулась к нему: «*Ах, жизнь моя, душа моя, прости мне, пожалуйста! сейчас все будет готово!*» Говоря это, она как молния проскочила мимо мужа и оставила его в положении статуи на пороге дверей, прямо против меня. Успокоенная счастливым оборотом дела, грозившего сначала лишить меня кольца, этого бесценного залога дружбы, я просила хозяина войти ко мне. «Я скажу вам радостную весть, господин поручик», — говорил хозяин, входя в комнату. «Какую ж это, почтенный отец?» — «Вы завтра идете в поход». — «Завтра! а вы как это знаете?» — «Я сейчас от вашего ротмистра; просил было, чтоб вас переместили к кому другому. Вы, надеюсь, не прогневайтесь на это; я не так богат, чтоб давать стол и все выгоды офицеру более двух или трех дней, а вы стояли у меня около двух недель. Все это я представил вашему ротмистру; но он сказал, что сию минуту получено повеление выступить в поход и что завтра в восемь часов утра эскадрон ваш выйдет отсюда». — «Поздравляю вас, любезный хозяин! весть эта, конечно, радостнее вам, нежели мне; теперь время не слишком благоприятно для похода: и дождь, и снег, и холод, и пыль — все вместе! Я думал, мы дождемся здесь, пока весна установится прочно». — «*Что ж делать! когда велят, надобно идти*». Сказав это, хозяин поклонился мне с ироническою усмешкою и отправился пить свое гнетое пиво.

Итак, поход! да и к лучшему, идти так идти; на этих квартирах мы только бесполезно разнеживаемся; привыкаем к лакомствам, ласкам, угождениям; белые атласные ручки легонько треплют по щеке; рвут нежно за ушко; дают конфет, варенья; стелют мягкую постель, и как легко, как приятно свыкаться! Со всем этим вдруг поход, вдруг надобно перейти от неги к суровостям, пересестись с бархатной софы на бурного коня и так далее: во всем контраст! Я не успела кончить своих размышлений, как ротмистр прислал за мною. «Ну, брат, — сказал он, как только я отворила дверь к нему в горницу, — прощайся с черноглазой попадьей своей, завтра поход!» — «Слава богу, ротмистр». — «Слава богу? вот новость!.. да не ты ли был *pienne dziecko i czerwone jablko?* (прекрасное дитя и красное

яблочко (польск.)) Неблагодарный!..» Шутка ротмистра напомнила мне, что я в самом деле неблагодарна; за любовь хозяйки я не могла заплатить ни любовью, ни золотым кольцом; но все надобно было бы подарить что-нибудь на память, и, разумеется, не деньги! Я возвратилась на квартиру; хозяйка печально накрывала стол; хозяин стоял у окна, играл какую-то жалобную песню на скрипке и посматривал иронически на жену.

До обеда оставался еще целый час; я пошла в свою горницу, чтоб посмотреть, не найду ли чего подарить хозяйке; роясь в вещах своих, отыскала я две дюжины сарпинских платков, радужно блестящих; я купила их в Сарепте и послала батюшке; но когда была у него в гостях, он подарил мне их обратно, и они лежали у меня без употребления; я вынула их и разложила по столу. Продолжая ревизовать свое имущество, я отыскала в углу чемодана свой силуэт, снятый еще в гусарском полку и в том же мундире; я положила его к платкам и опять зачала перебрасывать все, что было в чемодане. Наскуча наконец искать и недоискиваться и чтоб кончить все одним разом, я взяла чемодан за дно, перевернула, встрясла всю его начинку на пол и села сама тут же; в ту самую минуту, как я с восторгом схватила одною рукой стразовую пряжку к поясу, а другою большой платок, подаренный сестрою, вошла хозяйка: «Обед готов! что вы это делаете?» — «Вы хотели иметь какую-нибудь вещь на память, сделайте мне удовольствие, выберите, что вам понравится», — говорила я, показывая ей на платки, силуэт, пряжку и платок большой. «Я выбрала кольцо». — «Его нельзя отдать, это подарок друга». — «Святая вещь, подарок друга! берегите его!..» Она подошла к столу, взяла силуэт и, не обращая глаз на другие вещи, пошла к дверям, говоря, что муж ее ждет меня обедать. Выбор подарка тронул меня, я побежала за нею, обняла ее одною рукой и убедительно просила взять еще хоть стразовую пряжку для пояса: «Ведь вы любите меня, моя добрая хозяйка! для чего ж не хотите взять вещь, которую будете носить так близко к сердцу?» Она не отвечала ничего и даже не взглянула на меня; но, прижав к груди руку мою, взяла из нее легонько пряжку и сошла вниз, не говоря ни слова. Через минуту я последовала за нею; хозяин сидел уже за столом, хозяйка показывала ему пряжку. «Ну что я в этом разумею», — говорил он, отталкивая руку ее и пряжку. Увидя меня, он встал, прося меня садиться за стол: «А что, мой друг, сегодня надобно бы получше угостить господина поручика, ведь он расстается с нами, вероятно, навсегда; что у нас сегодня?» — «Увидишь». После этого короткого ответа, сказанного как будто с досадою, она села на свое место. «Моя жена сердится на вас, — стал говорить хозяин, — вы слишком дорого платите ей за эти две недели, которые мы имели удовольствие доставлять вам кой-какие неважные выгоды». — «Кажется, я ничем не платил вам; блестящую безделку нельзя принимать как уплату; это просто для...» — я хотела сказать — *воспоминания*, но хозяйка взглянула на меня, и я замолчала, как можно заметить, очень некстати; хозяин dokonчил: «Подарок для памяти, не так ли? Но мы и без него помнили бы вас». День этот весь, до самого вечера хозяин был в хорошем нраве; он шутил, смеялся, играл на скрипке, целовал руки жене и просил ее спеть под аккомпанемент его игры: *vous me quittez...* (*вы меня покидаете...* (*франц.*)), прося и меня присоединить мои убеждения к его. «Вы еще не знаете, как прекрасно поет моя жена!..» Наконец жена потеряла терпение, укоризненно взглянула на своего мужа глазами, полными слез, и ушла. Это расстроило хозяина; он в замешательстве и торопливо повесил скрипку на стену и отправился вслед за женою. Я пошла к ротмистру и пробыла там до полночи, именно для того, чтоб не видаться, если можно, этого вечера ни с одним из моих хозяев; но обманулась в своем расчете; оба они дожидались меня ужинать и были, по-видимому, в самом лучшем согласии. Видя, как хозяйка амурно прилегла на грудь своего супруга, я подумала было, что подозрения мои неосновательны, и, обрадовавшись этому открытию, стала говорить с нею весело, дружески и доверчиво; но разочарование было готово. Муж оборотился к дверям приказывать что-то человеку; хозяйка в это время проворно вынула из-за косынки мой силуэт, показала мне его, поцеловала и опять

спрятала; все это сделала она в две секунды, и, когда муж ее снова обернулся к нам, она опять прильнула к плечу его.

Я встала на рассвете, на минуту завернула к хозяину и жене его, пожелала им счастливо оставаться и отправилась к ротмистру ожидать часа, назначенного для похода. Насмешник Торнези всю дорогу ехал подле меня и пел: *nie kochaysie we mnie, bo to nadaremnie...* (не влюбляйся в меня, потому что это напрасно... (польск.))

Мы идем не торопясь, переходы наши невелики, и вот снова ведено нам остановиться *впредь до повеления*, и, как нарочно, квартиры достались самые невыгодные. Деревня эта бедна, дурна и разорена, надобно думать, непомерными требованиями ее помещика. Мы все четверо квартируем в одной большой избе, и разместились — Чернявский с старшим Торнези у окна на лавках; а я с младшим у печи на нарах; прямо против нас на печи, под самым потолком сидит старуха лет в девяносто. Не знаю, для чего она берет себя беспрерывно двумя пальцами за нос, говорит при этом самым тонким голосом — *хм!* и потом прикладывает эти два пальца к стене. Первые дни мы с Торнези хохотали как сумасшедшие над этим упражнением нашей Сивиллы, но теперь уже привыкли и, несмотря на пронзительное хмыканье, иногда забываем, что над нашими головами есть нечто дышащее.

Этого года весна какая-то грустная, мокрая, холодная, ветреная, грязная; я, которая всегда считала прогулкою обходить конюшни своего взвода, теперь так неохотно собираюсь всякое утро в этот обход, лениво одеваюсь, медлю, смотрю двадцать раз в окно, не разъясняется ли погода; но как делать нечего, идти надобно непременно, иду, леплюсь по кладкам, цепляюсь руками за забор, прыгаю через ручейки, пробираюсь по камням и все-таки раз несколько попаду в грязь всею ногой. Возвратясь из своего грязного путешествия, я застаю моих товарищей всех уже вместе: Чернявский читает *Расина*, Сезар курит трубку и всегда кладет кусочек алая на верх табаку, говоря, что так делают турки; Торнези, Иван, представляет иногда балет — *Ариадна* на острове *Наксосе*, и всегда самую Ариадну. Это могло б рассмешить и умирающего; я забываю в ту ж минуту затруднительный вояж по грязным улицам.

Подъямпольский поехал в штаб для каких-то отчетов дни на три; товарищей моих послали доставить овса и сена для наших лошадей, а я осталась командиром эскадрона и повелителем всей деревни по праву сильного. Я так мало заботилась знать что-нибудь в этой деревне, кроме своих конюшен, что даже не знала, есть ли в ней почта или нет; сегодня утром я имела случай узнать это. Окончив все занятия по службе, взяла я какую-то Вольтерову сказку перечитывать в сотый раз от нечего делать и от нечего читать; и когда я с нехотением и скукою развернула книгу и легла было на походный диван свой — лавку с ковром, дверь вдруг отворилась и вошел молодой пехотный офицер: «Позвольте узнать, кто здесь командует эскадроном?» — «Я». — «Прикажите, сделайте милость, дать мне лошадей; я спешу в полк, вот моя подорожная; жид, содержатель почты, не дает мне лошадей, говорит, что все в разгоне, но он лжет; я видел — множество их ведут поить». — «Сию минуту будут у вас лошади. Прошу садиться. Послать ко мне дежурного!..» Дежурный пришел. «Ступай сейчас на почту и прикажи заложить лошадей в экипаж господина офицера, каких найдешь, хотя бы жид и сказал, как то они говорят обыкновенно, что у него одни только курьерские». Дежурный пошел и в две минуты возвратился с жидом, содержателем почты. Иуда клялся и говорил, что не даст лошадей, потому что остались только одни курьерские. «А вот увидим, как ты не дашь лошадей! — Я оборотилась к дежурному: — Я приказал тебе, чтоб лошади были непременно заложены; зачем ты пришел ко мне с жидом?» С окончанием этого вопроса дежурный и жид в одну секунду исчезли; их обоих словно вихрем вынесло за дверь, и через десять

минут экипаж офицера подкатился к крыльцу моей квартиры. Офицер встал: «Не служили ль вы когда в гусарах?» — спросил он. «Служил». — «И, верно, в Мариупольском? и, верно, вы Александров?» — «Да, почему вы это знаете?» — «Я был с вами знаком в Киеве; мы были вместе на ординарцах у Милорадовича; неужели вы меня не вспомните?» — «Нет». — «Я *Горленко*». — «Ах, боже мой! теперь только я припоминаю себе черты ваши; как я рад! Посидите же у меня еще немного; расскажите мне о других наших товарищах; где Шлеин, Штейн, Косов?» — «Бог их знает; я с ними, так вот как и с вами, до сего времени нигде не встречался. Увидимся где-нибудь все; теперь настало время разгульного житья, то есть беспрестанной ходьбы, езды, походов, переходов, то туда, то сюда, где-нибудь да столкнемся; с ними я не был так дружен, как с вами. Помните ли, как мы садились всегда в конце стола, чтоб быть далее от генерала и брать на свободе конфеты? Ташка ваша всегда была нагружена для обоих нас на целый день». — «Нет, это вы уже шутите, я что-то не помню, чтоб нагружал свою ташку десертом». — «А я так помню! Прощайте, Александров! Дай бог нам увидеться опять такими же, как расстаемся!» Он сел в повозку и понесся вдоль по ухабистой дороге посреди тучи грязных брызг. Я возвратилась в свою дымную лачужку, очень довольная тем, что заставила проклятого жида дать лошадей; я еще не забыла тех придинок и задержек, которые испытывала на станциях, когда ездила в отпуск. Все проделки зрителей тотчас пришли мне на память, как только Горленко сказал, что ему не дают лошадей, под предлогом, будто они все в разгоне, и я обрадовалась случаю отметить хоть одному из этого сословия.

[Оглавление](#)

ФУРАЖИРОВКА

Товарищи мои возвратились: Чернявский ни с чем; Сезар с приобретением неважным; Иван привез несколько поболее. Через два дни посылают меня.

Наконец и я отправилась доставать фураж! Мне, как и другим, дали команду, дали предписание за подписью и печатью командира полка ездить по окружным поместьям, требовать у помещиков овса и сена, брать все это и взамен давать расписки, с которыми они могут посылать своих старост в эскадрон, чтоб там получить квитанции и с ними опять ехать в штаб; там тоже дадут квитанции, и с этими уже квитанциями должны господа помещики явиться в комиссию для получения уплаты наличными деньгами.

На рассвете оставила я грязную деревню нашу, дымную квартиру свою с ее столетнею обитательницею и тремя молодцами, то есть моими товарищами, и, последуемая двенадцатью уланами, отправилась в путь. Первым поприщем моих действий было поместье подкоморого Л***; в тридцати верстах от наших квартир. Поручение мое казалось мне довольно щекотливым, и оттого я пришла в большое замешательство, когда увидела дом пана Л*** в десяти шагах от себя... Как я начну! что скажу! Может быть, это человек почтенный, старый, отец семейства; примет меня радушно, сочтет за гостя, а я, я буду требовать овса почти даром! Я ведь знаю, что поляки неохотно отдают свои произведения под наши квитанции и все способы употребляют избавиться от них; что и весьма натурально. Как бы ни был верен платеж по квитанциям, но все веселее и вернее получить сию минуту наличные деньги, нежели разъезжать туда и сюда с квитанциями. Рассуждая, размышляя и краснея от готовящейся драмы, я все-таки доехала, въехала на двор, вошла в комнаты, и предчувствие не обмануло меня...

Меня встречает человек лет шестидесяти; лицо его печально, взор беспокоен. Приметно, однако ж, что причина этого не мы, незваные гости; ему даже и не видно улан моих, а я одна, с моею наружностью семнадцатилетнего юноши, не могла испугать его; итак, это

какая-нибудь домашняя скорбь рисуется на добродушном лице его. Поляки всегда очень вежливы; он пригласил меня сесть, прежде нежели спросил, что доставляет ему честь видеть меня в своем доме. Наконец начало сделано; вопрос, столько ужасающий меня, вылетел из уст моего хозяина; я отвечала, покраснев, как только может человек покраснеть, что имею поручение от полка отыскивать фураж, где только есть возможность достать его, и купить... разумеется, не на деньги, а под квитанцию. «Я не могу вам служить этим, — сказал помещик равнодушно, — неделя тому назад у меня сгорело все: овес, сено, пшеница, рожь, и я теперь отправил к окружающим помещикам купить для себя всего этого, если продадут. Квартирование ваше, господа кавалеристы, очень выгодно для тех из нас, у которых есть что продавать вам, но служит величайшим подрывом для тех, которые, подобно мне, ищут купить». В продолжение этого разговора нам подали кофе. Л*** продолжал: «Вы имеете поручение весьма затруднительное; простите мою откровенность, но под квитанции ни один помещик не продаст вам продуктов земли своей; не продал бы и я даже и тогда, если б все мы не имели другой дороги сбыть их; посудите же, отдадут ли их теперь, когда имеют случай продать за наличные деньги?» Я встала в нерешимости и не знала, что делать: уехать, не говоря более ни слова, или показать ему предписание? Л*** тоже встал. «Вы уже едете? Жалею очень, что не могу исполнить вашего требования; мне приятно было бы долее пользоваться удовольствием видеть вас у себя, если б я не был убит горестию: вчера я схоронил сына!..» Он не мог более ничего сказать; глаза его затмили слезами, и он сел, не в состоянии будучи держаться на ногах. Я поспешно вышла, села на лошадь и в галоп усакала с моими уланами.

Под вечер приехала я в поместье Старостины Ц*** и теперь уже несколько смелее вошла в комнату. Как на беду, и здесь надобно иметь дело с старостью; меня приняла дама лет осьмидесяти; узнав мою надобность, она велела позвать эконома и просила меня заняться чем-нибудь, пока он придет. Говоря это, она отворила дверь в другую комнату; это была обширная зала, где собраны были всех родов способы забавляться: волан, бильярд, кольцо, карты, разрезные картинки, арфа, гитара... Я нашла тут общество молодых людей; все они занимались разными играми. «Это все мои внуки», — сказала хозяйка, вводя меня в их круг; они в ту ж минуту просили меня взять участие в их играх; я тотчас согласилась и от всей души предалась удовольствию играть во все игры поочередно; подхватывая и отбрасывая волан, я в то же время слушала очаровательную игру на арфе одной из девиц и восхитительное пение другой. Как желала я, чтоб экономом не приходил как можно долее! При звуках арфы и прекрасного голоса можно ль было помыслить, не содрогаясь, о том предписании, которое, как спящий змей, лежало у меня на груди под мундиром; стоило только вынуть его, и все встревожится. А теперь — как веселы эти молодые люди! Как они полюбили меня! Как дружелюбно жмут мне руки, обнимают, целуют; девицы сами ангажируют, в танцах резвятся, бегают! Все мы теперь не что иное, как толпа взрослых детей, и вот чрез какие-нибудь полчаса вдруг все переменится; я сделаюсь отчаянным уланом, имеющим и власть и возможность забрать у них фураж... А мои пленительные хозяева... что сделается с их радостными физиономиями, живым и веселым говором! Ах, для чего и здесь не сгорел весь овес и не умерла которая-нибудь внука или внук!.. Тогда мне легче было бы уехать без всего; а теперь!.. Вот я уже в пятидесяти верстах от эскадрона, а еще ничего не сделала и, верно, не сделаю, потому что всякий помещик, хотя бы он имел одну только каплю ума, не даст мне ничего под простую расписку; а требовать повелительно и в случае отказа все-таки надобно взять нужное и отправить в эскадрон на их же лошадях, дав помещику за все это расписку!.. Как можно подумать об этом и не прийти в отчаяние! По крайней мере, я впервые проклинала свое уланское звание; среди танцев, смеху, беготни я вздрагивала всякий раз, когда отворялась дверь в нашу залу. К счастью, экономом не пришел до самого ужина, и, к величайшему моему благополучию, хозяйка сказала, что может дать мне овса четвертей десять и четыре воза сена с тем, чтоб

людям ее было заплачено за провоз и чтоб с моею распискою ехал в эскадрон при возах ее староста и мой унтер-офицер; я с великою радостью и благодарностию согласилась на все ее распоряжения и поцеловала ее руку; я поцеловала бы ее и тогда, если б не была к этому обязана обыкновением Польши и моим одеянием, потому что ее снисходительность сняла ужаснейшую тяжесть с моего сердца и избавила от необходимости шевелить змея, которого теперь повезу далее.

Отправля вozy с фуражом, я возвратилась к веселому обществу; меня ожидали ужинать, и хлопоты отправления замедлили ужин одним часом; когда сели за стол, хозяйка поместила меня подле себя. «Вы слишком усердны к службе, молодой человек, — начала она говорить, — возможно ли смотреть самому и дожидаться, пока вozy с фуражом наложатся и выберутся из селения; это уже чересчур: по вашему виду и молодости я не предполагала найти в вас такого хорошего служивого». Безрассудная старуха не знала того, что для ее же выгод я ни на минуту не выпускала из виду моих улан; они могли бы поискать в разных местах чего-нибудь получше овса! Долго ли будут люди судить всегда по наружности!.. Меня удерживали ночевать, но я уже разочаровалась и не находила более приятности быть в этом обществе.

Оставляя дом старостины Ц***, я решилась ехать всю ночь, чтоб на рассвете посетить еще деревню отставного ротмистра М... польской службы; жиды сказали мне, что у него очень много заготовлено овса и сена, и именно на продажу; надеюсь, судьба будет так милостива ко мне, что спящий змей не проснется.

Старый народовец, к которому я пришла в десять часов утра, принял меня со всем радушием кавалериста: «Садитесь, садитесь, любезный улан, чем вас потчевать? вина вы, верно, еще не пьете, не правда ли? итак, кофе. Гей, *Марисю!*» На этот возглас явилась Марися, седая, сухая, высокая, с пасмурною физиономией. «Прикажи, милая, подать нам кофе». Самолюбию моему было очень лестно, что Марися (хотя ей было под пятьдесят) взглянула на меня ласково и с усмешкою, тогда как взор ее на ветерана выражал и досаду и пренебрежение вместе; она отвечала, что сейчас будет готов, ушла и через четверть часа возвратилась с кофеем. Сказав своему господину, что его спрашивает эконо́м, сама поместилась подле меня, чтоб разливать кофе; я не удивлялась этой фамилиарности: домоправительницы холостых стариков имеют все привилегии госпож и в Польше бывают почти всегда из дворян, то есть шляхтянки. Наконец хозяин возвратился; узнал причину моего приезда, покачал головою, пожал плечами: «Ну, если я не дам под расписку вашу овса, что тогда?» — «Тогда у меня не будет его», — отвечала я. «Вы умереннее, нежели я ожидал, и это делает вам много чести. Для чего ваши начальники не посылают вас с деньгами, вместо права давать расписки?» — «Не знаю; это уже, думаю, хозяйственное распоряжение полка. Но ведь и вам все равно, что расписка, что деньги; разница только во времени; получите немного позже, потому что надобно ехать за ними в штаб». Народовец рассмеялся: «Ах, как вы еще молоды, *kochany koliego!* (*милый коллега!* *польск.*)) Пойдемте, однако ж, вам, я думаю, нельзя терять времени, пойдемте; я велю дать вам двадцать четвертей овса; более этого не могу и не хочу уделить вам от назначенного уже мною в продажу не иначе как на деньги». Я так обрадовалась этим двадцати четвертям, которые превышали мое ожидание, давали возможность возвратиться в эскадрон и освободиться наконец от ненавистной *баранты*, что схватила руку старого народовца и побежала было с быстротою лани, таща его с собою... «Тише, тише, молодой человек! верю, что вам приятно получить столько овса без хлопот; но моя пора бегать прошла уже; сверх того, я ранен в обе ноги, итак, пойдемте шагом». Я устыдилась своего неуместного восхищения и молча шла подле моего доброхотного хозяина. Мы прошли через прекрасный сад и вышли к его стодам и житницам; тут стоял эконо́м и мои уланы. Наконец все готово; я отправила всех своих улан с этой добычею и оставила при себе

только одного, располагаясь провести день у любезного народовца и завтра возвратиться в эскадрон. С каким удовольствием вынула я из-за мундира свое предписание, изорвала его в мельчайшие кусочки и бросила в озеро. Как я была рада! Вся веселость моя возвратилась, и старый ротмистр так доволен был моим товариществом, что просил меня самым убедительным образом остаться у него еще дни на два: «Ваша юность цветущая, живость, веселость приводят мне на память и оживляют в душе моей счастливое время молодости; таков был я в ваши лета; останьтесь, молодой человек, — говорил он, обнимая меня, — подарите эти два дни старику, который полюбил вас, как сына!» Я осталась. В награду моей уступчивости хозяин мой пригласил к себе из окружающих поместьев семейства три или четыре. Я провела очень весело время у бравого народовца; мы танцевали, играли во все возможные игры, бегали по горницам не лучше пятилетних детей, и сколько ни хмурилась Марися, но шум, говор, смех, танцы нисколько не утихали; и сверх того, хозяин превзошел наше ожидание, установив огромный стол конфетами, вареньями и лакомствами всех родов. Каково-то было бедной Марисе; она не могла пройти мимо этого стола, не сделав какой-то судорожной гримасы.

Два дни минуло; я простилась с моим добрым хозяином и поехала обратно в эскадрон. Так кончилась неприятная откомандировка моя, и дай бог, чтоб никогда уже более не возобновилась! Возвратясь домой, я ничего не рассказывала ротмистру, кроме того, что не имела нужды прибегать к насильственным мерам. На квартире нашей теперь остались только мы двое с Сезаром; Чернявский и старший Торнези опять поехали на поиски.

Сегодня товарищи мои возвратились, и сегодня же мы идем в поход. Долго ль это будет! я что-то худо понимаю, для чего мы идем с такими расстановками?

Мы прошли верст сто и опять остановились. Говорят, *Наполеон* вступил в границы наши с многочисленным войском. Я теперь что-то стала равнодушнее; нет уже тех превыспренных мечтаний, тех вспышек, порывов. Думаю, что теперь не пойду уже с каждым эскадроном в атаку; верно, я сделалась рассудительнее; опытность взяла свою обычную дань и с моего пламенного воображения, то есть дала ему приличное направление.

Мы стоим в бедной деревушке на берегу Наревы. Каждую ночь лошади наши оседланы, мы одеты и вооружены; с полуночи половина эскадрона садится на лошадей и выезжает за селение содержать пикет и делать разъезды; другая остается в готовности на лошадях. Днем мы спим. Этот род жизни очень похож на описание, которое делает мертвец *Жуковского*:

Близ Наревы дом мой тесный:
Только месяц поднебесный
Над долиною взойдет,
Лишь полночный час пробьет,
Мы коней своих седлаем,
Темны кельи покидаем.

Это точь-в-точь мы, литовские уланы: всякую полночь седлаем, выезжаем; и домик, который занимаю, тесен, мал и близ самой Наревы. О, сколько это положение опять дало жизни всем моим ощущениям! Сердце мое полно чувств, голова мыслей, планов, мечтаний, предположений; воображение мое рисует мне картины, блистающие всеми лучами и цветами, какие только есть в царстве природы и возможностей. Какая жизнь, какая полная, радостная, деятельная жизнь! Как сравнить ее с тою, какую вела я в Домбровице! Теперь каждый день, каждый час я живу и чувствую, что живу; о, в тысячу,

в тысячу раз превосходнее теперешний род жизни!.. Балы, танцы, волокитства, музыка... о боже! какие пошлости, какие скучные занятия!..

Право, я не думала, что найду употребление тому вину, которого раздают нам по две рюмки каждый день наравне с солдатами; но, видно, не надобно ничем пренебрегать: вчера, проходя одно селение, должно было нашему эскадрону идти через узкую плотину; какое-то затруднение, встретившееся переднему отделению, заставило эскадрон остановиться; другие, подходя, потеснили нас с тылу, и лошади наши, теснясь и упираясь, чтоб не упасть в широкие рвы с боков плотины, стали беситься, бить и становиться на дыбы. В этом беспорядке меня вдавили в середину моего взвода и так сжали, что я хотя и видела, как стоящая передо мною лошадь располагалась ударить меня своею, хорошо подкованною ногою, но во власти моей было только с мужеством дожидаться и вытерпеть этот удар; от жестокой боли я вздохнула из глубины души! Негодная лошадь имела и волю и возможность раздробить ногу мою, потому что я была, как в тисках; к счастью, когда она собиралась повторить удар, эскадрон тронулся с места, и все пришло в порядок. Когда стали на лагерь, я осмотрела свою ногу и ужаснулась: она была расшиблена до крови и распухла: от подошвы до колена ломит нестерпимо. В первый раз в жизни я охотно села бы в повозку; мучительно ехать верхом; но как переменить этого нечем, то и надобно терпеть. Повозок при нас давно уже нет ни одной. Теперь вино пригодилось мне; всякий день я мою им больную ногу свою и вижу, к испугу моему, что она делается с каждым днем багровее, хотя боль и утихает. Ступень ушибленной ноги сделалась черна, как уголь; я боюсь смотреть на нее и не могу понять, отчего почернела ступень, когда ушиб на середине между ею и коленом?

Штаб-лекарь *Карнилович* говорит, что ногу мою надобно будет отрезать; какой вздор!

Что бы это значило? Мы отступаем и очень поспешно, а еще ни разу не были в деле!

Сегодня шли без дороги, лесом; я думала, что мы спешим прямым путем на неприятеля, но ничего не бывало; мы прибежали, чтоб вытянуть фронт наш в высоких коноплях. Было для чего торопиться! Однако ж впереди нас сражаются... Худо остаться без настоящего начальника! Полковой командир *Тутолмин* отрапортовался больным еще в Бельске и оставил нас на произвол судьбы; нами командует теперь *Штакельберг*, подполковник Новороссийского драгунского полка, *Крейц*, шеф этого полка, наш бригадный начальник.

Мы все еще стоим в коноплях; день жарок до несносности. Ротмистр *Подъямпольский* спросил меня, не хочу ли я купаться? И когда я отвечала, что очень бы хотела, тогда велел мне взять начальство над четырнадцатью человеками улан, отряженными им за водою к ближней речке, которая была также недалеко и от сражающихся. «Теперь имеешь случай выкупаться, — сказал ротмистр, — только будь осторожен: неприятель близко». — «Что ж мы не деремся с ним?» — спросила я, вставая с лошади, чтобы идти на реку. «Как будто всем надобно драться! подожди еще, достанется и на твою долю; ступай! ступай! не мешкай! да смотри, пожалуйста, Александров, чтоб соколы твои не разлетелись». Я пошла позади моей команды, велев унтер-офицеру идти впереди, и в таком порядке привела их к речке. Оставя улан наполнить котелки свои водою, умываться, пить и освежаться как могли, я ушла от них на полверсты вверх по течению, проворно разделась и с неизъяснимым удовольствием бросилась в свежие, холодные струи. Разумеется, я недолго могла тут блаженствовать; минут через десять я вышла из воды и оделась еще скорее, нежели разделась, для того что выстрелы слышались очень уже близко. Я повела свою команду, освеженную, ободренную и несущую благотворную влагу своим товарищам.

Весь эскадрон наш отряжен на пикет; мне очередь разводить, ставить и объезжать ведеты. Для этого дано мне пол-эскадрона; с другою половиною Подъямпольский расположился в селении. Получив от ротмистра наставления, как в каком случае поступать, какие брать предосторожности и что наблюдать при размещении часовых, я отправилась с своим полуэскадром на гору к монастырю, где надобно было поставить первый ведет. Половиною людей своих я заняла назначенные пункты, а другая была в готовности, чтобы по прошествии урочного времени сменить их. Была уже полночь, когда я подъехала сменять свои ведеты. Подъезжая к селению, расположенному недалеко от той горы, где находился монастырь, я приказала уланам ехать по траве, прижать сабли коленом к седлу и не очень сближаться одному с другим, чтоб не бренчать стремянами. У самого селения я остановила свою команду и поехала одна осмотреть, не кроется ли где неприятель. Мертвое молчание царствовало повсюду; все дома были брошены своими жителями; все было тихо и пусто, и одна только черная глубь растворенных сараев и конюшен крестьянских страшно зияла на меня. *Зелант*, имевший дурную привычку ржать, когда отставал от лошадей, теперь, казалось, таил дыхание и ступал так легко по твердой дороге, что я не слыхала его топота. Уверясь, что в селении никого нет, я возвратилась к своим уланам и повела их через деревню к подошве горы. Тут, взяв с собою двух улан и одного унтер-офицера, оставила я всю свою команду, а сама поехала на гору к стенам монастыря, чтоб сменить главный ведет. «Нам что-то слышится в поле, ваше благородие, — говорили уланы, — и что-то маячит то там, то сям, как будто люди на лошадях, но разглядеть порядочно не можем, а чуть ли то не французы». Я сказала, что если при оклике не скажут лозунга, то стрелять по ним, и, взяв с собою смененных улан, поехала к оставленной под горою команде. Проезжая рошу, окружавшую монастырь, я очень удивилась, увидя одного из тех людей, которые должны были ждать меня у подошвы горы, идущего ко мне пешком. «Что это значит? — спросила я. — Зачем ты здесь и без лошади?» Он отвечал, что лошадь сшибла его. «Как! стоя на месте!» — «Нет; на нас напали французы; унтер-офицер, которому вы поручили нас, убежал первый; нам нечего было делать, и мы разбежались в разные стороны. Я поскакал было к вам, чтоб дать знать; но лошадь моя стала на дыбы и, сбросив меня, убежала». — «Где ж французы?» — «Не знаю». — «Прекрасно!» Я не вправе была взыскивать с солдата, когда унтер-офицер бежал, но чрезвычайно была недовольна и встревожена этим обстоятельством. При выезде из роши увидела я толпу конных людей, которые что-то нерешительно переминались: то поедут, то станут, то всадят лошадей и наклонятся один к другому. Я остановилась, чтоб всмотреться, что это такое; но, услыша русский разговор, тотчас подъехала к ним и спросила, кто они? «Казаки, — отвечал мне один из них, — хорошо, что вы остановились, а то мы хотели ударить на вас». — «Для чего же ударить, не окликнув, не спрося лозунга, не узнав наверное, неприятель или свой? Да что еще значит: *хорошо, что вы остановились?*» — «А как же! ведь вы давеча бежали от нас...» Теперь все дело объяснилось: несколько человек казаков, рыская, по обыкновению, по всем местам, заехали и в пустую деревню посмотреть, нет ли чего или кого; оттуда пустились в монастырь и, увидя под горою конный отряд, сочли его за неприятельский, и пока совещались между собою: гикнуть на него или нет, храбрецы мои, сочтя их также за неприятелей, не рассудили за благо этого дожидаться и, следуя примеру негодяя унтер-офицера, бросились скакать в разные стороны. Это рассыпное бегство и быстрота лошадей их спасли от преследования казаков, которые, взъехав в гору, осмотрели монастырь и, не найдя ничего и никого, отправились обратно; но, увидя меня с тремя уланами, приняли за тех же, по их мнению, французов, которые от одного вида их бежали, и если б я не подъехала к ним с вопросом, то они ударили бы на нас с пиками. «Уж мы хотели было принять вас хорошенько!» — сказал один brave казак лет пятидесяти. «Куда вам, — отвечала я с досадою, — наши пики тверже ваших, вы не нашли б места, куда убежать»; и, не слушая более их толков, поехала своею дорогою. Свыше всякого выражения я была недовольна и обескуражена. Что ожидает меня в будущем? Можно ль

пуститься на какое-нибудь славное дело с такими сподвижниками? При одном виде опасности они убегут, выдадут, остынут. Зачем я оставила доблестных гусаров моих? Это — сербы, венгры! Они дышат храбростью, и слава с ними неразлучна!.. Все пропало для меня в будущем; но что еще ожидает меня теперь? Трусы, верно, уже встревожили резерв; Подъямпольский может послать в главную квартиру с этим адским донесением: «пикет под начальством поручика Александра разбит неприятелем, по этому действию, прорвавшимся через передовую линию ведетов!» И вот спокойствие и безопасность армии потревожены, потому только, что поручик Александров или трус или глупец, позволил себя разбить, не защищаясь, не дав знать резерву, не сделав ни одного выстрела; иначе неприятелю нельзя было бы так удобно прорезать передовую цепь ведетов! А мне сказано, *что и тень пятна на имени Александра не простится мне никогда!*.. Мысли и чувства, черные, как ночь, тяготили ум и сердце мое; я ехала шагом в сопровождении трех улан, мне оставшихся; вдруг сильный топот скачущего полуэскадрона поразил слух мой. Взглянув вперед, увидела я Торнези *Сезара*, несущегося, как вихрь, а за ним летящий полуэскадрон. Увидя меня, он вскрикнул с изумлением, останавливая свою лошадь: «Это ты, Александров! Скажи, ради бога, что такое случилось?» — «Чему случиться, брат? Разумеется, случилось то, что и всегда будет случаться с нашими трусами. Они испугались казаков и, не пошевелив даже оружием, бежали, как зайцы». — «Подъямпольский в отчаянии; унтер-офицер сказал, что тебя взяли в плен и весь пикет вырезали». — «Что за выражение! *вырезали!* Ведь каналы-то не спали, чтоб их вырезать; их могли только изрубить. Что ж Подъямпольский?» — «Я тебе говорю, что он в отчаянии: «Как он мог забыть мои слова! Я так ясно, так подробно все растолковал ему», — говорил с горестию и досадою brave начальник наш. Но вот он едет и сам; мы ведь поехали было отбивать тебя у неприятеля, хотя бы это стоило целого эскадрона...» Я подъехала к Подъямпольскому: «Не вините меня, ротмистр! Я лучше желал бы быть разбит и взят в плен, нежели видеть себя покрытым незаслуженным стыдом». (В первый раз еще дано мне поручение, назначен пост, соединенный с опасностью и требующий мужества и неусыпности, и вот как отлично исполнено это поручение.) Я рассказала ротмистру подробно все происшествие. Мы возвратились в наше село, оставя бедных часовых стоять без смены до рассвета. Не было уже времени сменять их. Подъямпольский, отличнейший офицер, храбрый и опытный, получа нелепое донесение от бежавшего с пикета унтер-офицера, как ни был им встревожен и огорчен, не хотел послать, однако ж, этого известия далее, не употребляя прежде всех способов поправить это несчастное дело, и решился лучше погибнуть со всем эскадроном, сражаясь до остальной капли крови, нежели допустить в огласку столь постыдный случай. Благодаря этой геройской решимости имя мое сохранилось от поношения, но происшествие это сделало глубокое впечатление недоверчивости в душе моей; я стала бояться всякой откомандировки, всякого поручения, если только исполнять его надобно было вместе с моею командою. Никогда, никогда уже нельзя будет поверить им! Правду говорил Ермолов, *что трус солдат не должен жить*. Тогда такое заключение казалось мне жестоким, но теперь вижу, что это — истина, постигнутая великим умом необыкновенного человека. Ленивый земледелец, расточительный купец, вольнодумец священник — все они имеют порок, противоположный их званию и выгодам, но пример их никого не увлекает, и они вредны только себе: бедность и презрение остаются им в удел. Но трус солдат!! У меня нет слов изобразить всю великость зла, какое может сделать один ничтожный, робкий негодяй для целой армии!.. И в теперешнем случае, какие беды навлекло бы на мою голову одно только то, что трус испугался своей тени, убежал, увлек за собою других, был бы причиною ложного донесения, напрасной тревоги всего войска! Нет, робкий солдат не должен жить: *Ермолов прав!*

Эти размышления занимали меня до рассвета. Ведеты наши были сменены; трусов наказали больно, унтер-офицера еще сильнее. По окончании этой расправы новая мысль

не дает мне покою, пугает, стыдит меня; и я ничем не могу выжить ее из головы, краснею, начерчивая эти строки: не я ли одна виновата? не я ли одна заслуживаю и нареkanie и наказание? Я офицер; мне поручен был этот отряд; зачем я оставляла их одних и с таким унтер-офицером, который никогда еще не был в деле?

Скорыми маршами едем мы в глубь России и несем на плечах своих неприятеля, который от чистого сердца верит, что мы бежим от него. Счастье ослепляет!.. Мне часто приходит на мысль молитва Старна перед жертвенником Одена, когда он просит его наслать на ум Фингала недоумение, *предзнаменующе могущего паденье!*.. Вопреки бесчисленным поклонникам Наполеона беру смелость думать, что для такого великого гения, каким его считают, он слишком уже уверен и в своем счастье и в своих способностях, слишком легковерен, неосторожен, малосведущ. Слепое счастье, стечение обстоятельств, угнетенное дворянство и обольщенный народ могли помочь ему взойти на престол; но удержаться на нем, достойно занимать его будет ему трудно. Сквозь его императорскую мантию скоро заметят артиллерийского поручика, у которого от неслыханного счастья зашел ум за разум: неужели, основываясь на одних только сведениях географических и донесениях шпионов, можно было решиться идти завоевывать государство обширное, богатое, славящееся величием духа и бескорыстием своего дворянства, незыблемой опоры русского престола; устройством и многочисленностью войск, строгою дисциплиною, мужеством их, телесною силою и крепостью сложения, дающего им возможность переносить все трудности; государство, заключающее в себе столько же народов, сколько и климатов, и ко всему этому имеющее оплотом своим веру и терпимость? Видеть, что это славное войско отступает, не сражаясь, отступает так быстро, что трудно поспевать за ним, и верить, что оно отступает, страшась дожидаться неприятеля! Верить робости войска русского в границах его отечества!.. Верить и бежать за ним, стараясь догнать. Ужасное ослепление!! Ужасен должен быть конец!..

Французы употребляют все старания догнать нас и подраться, а мы употребляем тоже все старания уйти и не драться. Маневр этот очень утешает меня. Забавно видеть, с какою быстротою несем мы доверчивого неприятеля своего во глубину лесов наших!.. не всегда, однако ж, кажется это смешным. Воображая страшный конец отступления нашего, я невольно вздыхаю и задумываюсь. Французы — неприятель, достойный нас, благородный и мужественный; *но* злой рок в виде Наполеона ведет их в Россию; в ней положат они головы свои, в ней рассыплются кости их и истлеют тела.

Двое суток я не смыкаю глаз и почти не схожу с лошади. Штакельберг послал меня занимать место для лагеря; мне дали по четыре улана с каждого эскадрона, и со мною едут также квартиргеры полков Новороссийского драгунского и Ахтырского гусарского. Заняв место для лагеря, я еду встретить полк, и когда он расположится, дожидаясь приказаний и, получа их, немедленно отправляюсь. Марши наши довольно велики; я почти всякий раз выезжаю в ночь, приезжаю на место около полудня, и, пока разведут места всему арьергарду, я жду своей очереди принять назначенное для полка; после этого надобно тотчас ехать ему навстречу, разместить эскадроны и, опять дождавшись конца всей суматохи и новых приказаний, отправляться в путь.

Третьи сутки прошли так же: лагерь занят под местечком Кадневым. Я не в силах долее выносить; возвратясь из лагеря в местечко, я послала улана на дорогу смотреть, когда покажется полк, и дать мне знать, а сама пошла на квартиру в намерении что-нибудь съесть и после заснуть, если удастся. В ожидании обеда легла я на хозяйскую постель и более ничего уже не помню... Проснувшись поздно вечером, я очень удивилась, что дали мне так долго спать; в горнице не было ни огня, ни людей; я поспешно встала и, отворя дверь в сени, кликнула своего унтер-офицера; он явился. «Разве полк не пришел еще?» —

спросила я; он отвечал, что нет, а что пришел один только Киевский драгунский. «Для чего ж вы не разбудили меня?» — «Не могли, ваше благородие; вы спали сном смертным; мы сначала будили Вас тихонько, но после трясли за руки, за плечи, посадили вас, поднесли свечу к самым глазам вашим, наконец, брызнули холодной водою в лицо вам; все напрасно: вы даже не пошевелились. Хозяйка, при которой все это происходило, заплакала, увидя, что мы, не успев разбудить вас, положили опять на постель: «Бедное дитя! он, как мертвый! зачем вы берете таких молодых в службу?» Она, наклонясь к вам, прислушивалась, дышите ли вы. Оставшись при вас, я велел улану ехать далее по дороге навстречу полка; но он скоро возвратился с уведомлением, что нашему полку переменен маршрут и что сюда пришел один только Киевский драгунский полк под начальством *Эмануэля*». Я тотчас поехала в лагерь; там еще не спали, и я нашла тут обоих своих товарищей — драгунского и гусарского квартиргеров; первый просил Эмануэля взять его с командою под свое начальство покамест; а гусар и я, осведомясь, какою дорогою пошли наши полки, пустились отыскивать их, в чем и успели весьма скоро.

Между нашим арьергардом и неприятельским авангардом бывают иногда небольшие сшибки, так только, чтоб не совсем без дела отступить.

Охота же так бежать!.. Я не знаю, что мне делать; смертельно боюсь изнемочь; впоследствии это припишут не чрезмерности стольких трудов, но слабости моего пола! Мы идем и день и ночь; отдохновение наше состоит в том только, что, остановя полк, позволят нам сойти с лошадей на полчаса; уланы тотчас ложатся у ног своих лошадей, а я, облокотясь на седло, кладу голову на руку, но не смею закрыть глаз, чтоб невольный сон не овладел мною. Мы не только не спим, но и не едим: спешим куда-то! Ах, бедный наш полк! Чтоб прогнать сон, меня одолевающий, я встаю с лошади и иду пешком; но силы мои так изнурены, что я спешу опять сесть на лошадь и с трудом поднимаюсь на седло. Жажда палит мою внутренность; воды нет нигде, исключая канав по бокам дороги; я сошла опять с лошади и с величайшим неудобством достала на самом дне канавы отвратительной воды, теплой и зеленой; я набрала ее в бутылку и, сев с этим сокровищем на лошадь, везла еще верст пять, держа бутылку перед собою на седле, не имея решимости ни выпить, ни бросить эту гадость; но чего не делает необходимость! я кончила тем, что выпила адскую влагу...

Если б я имела миллионы, отдала бы их теперь все за позволение уснуть. Я в совершенном изнеможении. Все мои чувства жаждут успокоения... Мне вздумалось взглянуть на себя в светлую полосу своей сабли: лицо у меня бледно, как полотно, и глаза потухли! С другими нет такой сильной перемены, и, верно, оттого, что они умеют спать на лошадях; я не могу.

В ту ночь Подъямпольский бранил меня и Сезара за то, что люди наших взводов дремлют, качаются в седле и роняют каски с голов. На другой день после этого выговора мы увидели его самого едущего с закрытыми глазами и весьма крепко спящего на своем шагистом коне; утешаясь этим зрелищем, мы поехали рядом, чтобы увидеть, чем это кончится; но Сезар хотел непременно отомстить ему за выговор: он пришпорил свою лошадь и проскакал мимо Подъямпольского; конь его бросился со всех ног, и мы имели удовольствие видеть испуг и торопливость, с какою Подъямпольский спешил подобрать повода, выпавшие из рук его.

Непостижимый дух раздора овладел мною и Сезаром! Начинаем всегда тем, что выедем вперед эскадрона, разговариваем прежде очень дружелюбно, после начинаем спорить и наконец, наговорив друг другу вежливых колкостей, разъезжаемся к краям дороги. В одну из этих вылазок мы отъехали ко рвам по сторонам дороги, сошли с лошадей и легли; но, к

счастью, не заснули еще, как эскадрон подошел; Подъямпольский, полагавший, что мы при своих взводах, удивился и рассердился, увидя нас спокойно расположившихся у рвов близ дороги. «Не стыдно ли вам, господа! — говорил он, — вместо того, чтобы смотреть за своими солдатами, чтоб не спали, не падали, не роняли касок, не портили лошадей, вы уехали вперед и легли спать на дороге!..» Подстрекаемые тем же духом раздора, который вооружал нас друг против друга, мы отвечали ему, что не прошло еще и двух дней, как он сам испытал и доказал, что теперешние трудности превышают силы человека! Подъямпольский, не возражая ничего, приказал только нам быть непременно при своих местах и людях. «Мы обязаны подавать им пример, — прибавил он ласково, — им легче будет переносить всякий труд, если они увидят, что офицеры их переносят его наравне с ними; никогда солдат не осмелится роптать ни на какую невыгоду, если офицер его разделяет ее с ним...» Я почувствовала справедливость слов Подъямпольского и приняла твердое намерение всегда ими руководствоваться.

Наконец дали нам отдых. С каким неописанным удовольствием разостлала я свою шинель на сено, легла и в ту же минуту заснула. Думаю, что я спала часов десять, потому что солнце уже садилось, когда я выползла из своего шалаша, в буквальном смысле выползла, для того что отверстие, служащее дверью, было немного выше полуаршина. Глазам моим представилась живая и прекрасная картина: толпы офицеров уланских, гусарских, кирасирских ходили по всему лагерю; солдаты варили кашу, чистили амуницию; ординарцы, адъютанты скакали то там, то здесь; прекрасная музыка нашего полка гремела и восхищала бесчисленное множество всех полков офицеров, пришедших слушать ее. Штакельберг, теперешний командир полка нашего, будучи любителем и знатоком музыкального искусства, занялся усовершенствованием нашей полковой музыки и довел ее до высшей степени превосходства, так что теперь в обеих армиях, первой и второй *западных*, нет ей равной.

Полк наш расположен близ цепи холмов, довольно высоких; когда наступила ночь, зажглись бесчисленные огни бивачные, раздался шум, говор солдат, топот, ржание лошадей. Я рассматривала с полчаса эту шумную, одушевленную сцену и наконец, сама не знаю для чего, перешла на другую сторону холмов; спустясь в долину, я не слыхала уже ни малейшего шума, как будто солдат, войны, армии не существовало никогда на свете! Я взошла опять на холмы, посмотрела несколько времени на картину кипящей деятельности, непрерывной суеты и движения и снова погрузилась в тишину и спокойствие долины! Этот скорый переход от величайшего шума к совершенному безмолвию делает на душу мою какое-то впечатление, которого я, однако ж, ни понять, ни описать не могу.

Близ Смоленска объявили нам Государев манифест, в котором было сказано, что *«государь не удерживает более нашего мужества и дает свободу отменить неприятелю за скуку противувольного отступления, до сего времени необходимого»*. Солдаты наши прыгали от радости, и взоры всех пылали мужеством и удовольствием. «Наконец! — говорили офицеры, — теперь будет наша очередь догонять!»

Смоленск. Я опять слышу грозный, величественный гул пушек! Опять вижу блеск штыков! Первый год моей воинственной жизни воскресает в памяти моей!.. Нет! трус не имеет души! Иначе как мог бы он видеть, слышать все это и не пламенеть мужеством! Часа два дожидались мы приказа под стенами крепости Смоленской; наконец ведено нам идти на неприятеля. Жители города, видя нас проходящих в порядке, устройстве, с геройскою осанкою и уверенностью в своих силах, провожали нас радостными восклицаниями; некоторые, а особливо старики, непрерывно повторяли: *помоги бог!*

помоги бог! каким-то необыкновенно торжественным голосом, который заставлял меня содрогаться и приводил в умиление...

Полк наш помещен по обеим сторонам дороги; эскадрон Подьямпольского на левой; еще левее кирпичные сараи. Место, нам доставшееся, так неудобно для оборотов кавалерии, что при первом натиске неприятеля мы не удержим его за собою; все это поле изрыто, усеяно мелкими кустами и перерезано рытвинами так, что при каждом быстром движении эскадронам пришлось бы перескакивать на каждом шагу или ров, или куст, или яму. Так как здесь брали глину для кирпичей, то ям было бесчисленное множество, и, сверх того, все они были полны дождевой воды. Нам ведено было удерживать неприятеля. Итак, чтоб завязать дело. Подьямпольский, выстроив эскадрон в боевой порядок, велел выехать фланкерам. «Кому из вас, господа, угодно взять над ними начальство?» — спросил нас ротмистр. Старший Торнези сейчас вызвался; он и человек двадцать лучших наездников пустились на неприятеля. Через час они возвратились все, исключая Торнези, которого французы изрубили; говорят, что он в запальчивости занесся в толпу их, и, сколько они ему ни кричали *rendez vous! rendez vous!* (сдавайтесь! сдавайтесь! (франц.)) он, не слушая, рубил их направо и налево, и наконец они с остервенением кинулись на него, и вмиг его не стало.

Когда Подьямпольский спросил фланкеров, как могли они допустить, чтоб изрубили их офицера? то они в оправдание свое сказали, что Торнези заскакал в толпу неприятелей и, не принимая предложения их сдаться, рубил и бранил их без пощады, и что они все вдруг кинулись на него; множество сабель засверкало над несчастным Торнези, и он упал к ногам своей лошади без жизни и образа.

Мы все смотрели очень внимательно на правую сторону дороги, где происходило уже сражение и некоторые из наших эскадронов отлично дрались; дорого заплатили бы мы за это звание по сторонам, если б наш священник *Вартминский*, самый неустрашимый человек из всего полка, не подъехал к нам и не указал в левую сторону своею нагайкою (единственным оружием, которое он равно употреблял для лошадей и для неприятеля). Взглянув, куда он указывал, мы увидели скачущую к нам во фланг неприятельскую кавалерию; в одно мгновение Подьямпольский скомандовал: «Второму полуэскадрону правое плечо вперед» — и, поставя его к неприятелю лицом, приказал мне взять начальство и в ту ж минуту ударить на несущуюся к нам конницу. Восхитительная минута для меня! Я уже не помнила постыдного бегства улан моих с пикета, видела только возможность прославиться... Но вдруг команда моя «с места, марш, марш» слилась с громовым голосом нашего начальника, раздавшимся позади нашего фронта: «назад! назад!..» В одну секунду мой полуэскадрон повернулся назад и поскакал сломя голову на большую дорогу; я осталась позади всех. Без порядка скакал эскадрон густой толпою по кустам, буграм и рытвинам; *Зелант*, горячий, заносчивый конь мой, рвался из-под меня, но я не смела дать ему воли; он имел дурную привычку, разгорячась, драть голову вверх, и мне предстоял весьма трудный выбор: дать волю Зеланту и тотчас упасть с ним в яму или полететь стремглав через куст или, придерживая его, быть догнанной неприятелем, летящим по следам нашим. Я выбрала последнее как более безопасное: посредственность французской кавалерии давно была мне известна, и я могла быть уверена, что в целом отряде, который гнался за нами, ни одна лошадь не равнялась Зеланту в быстроте; итак, удерживая коня своего, неслась я большим галопом вслед скачущего эскадрона; но, слыша близко за собою топот лошадей и увлекаясь невольным любопытством, не могла не оглянуться; любопытство мое было вполне награждено: я увидела скачущих за мною на аршин только от крестца моей лошади трех или четырех неприятельских драгун, старавшихся достать меня палашами в спину. При этом виде я хотя не прибавила скорости моего бега, но, сама не знаю для чего, закинула саблю на спину острием вверх. Миновав

бугры и ямы, Зелант, как бурный вихрь, унес меня от толпы неприятельской. Выбравшись на ровное место, мы отплатили неприятелю за свое беспорядочное бегство: повинаясь голосу офицеров, эскадрон в минуту пришел в порядок, построился и грозною тучею понесся навстречу неприятелю. Земля застонала под копытами ретивых коней, ветер свистал в флюгерах пик наших; казалось, смерть со всеми ее ужасами неслась впереди фронта храбрых улан. Неприятель не вынес этого вида, и желая уйти, был догнан, разбит, рассеян и прогнан несравненно с большим уроном, нежели был наш, когда мы приневолены были отступать во весь дух через бугры и рытвины.

Теперь эскадрон наш поставили на правой стороне дороги, а бугристое поле занято егерями. «Давно бы так!» — говорит Подьямпольский, покручивая усы с досадою... Мы здесь должны охранять крепость, итак, стоим без дела, но в готовности, то есть на лошадях и пики наперевес. Впереди нас стрелки Бутырского полка перестреливаются с неприятельскими. Храбрый, отличный полк! Как только он начал действовать, в ту ж минуту пули неприятельские перестали долетать до нас.

На этом месте мы будем до завтра. Бутырский полк сменен другим, и теперь пули не только долетают до нас, но и ранят. Подьямпольскому это очень неприятно. Наконец, наскуча видеть, что у нас то того, то другого отводили за фронт, он послал меня в Смоленск к Штакельбергу сказать о критическом положении нашем и спросить, что он прикажет делать? Я исполнила, как было велено, сказала Штакельбергу, что у нас много ранено людей, и спросила, какое будет его приказание? «Стоять, — отвечал Штакельберг, — стоять, не трогаясь ни на шаг с места. Странно, что Подьямпольский присылает об этом спрашивать!» Я с великим удовольствием повезла этот прекрасный ответ своему ротмистру. «Что, — кричал мне издали Подьямпольский, — что велело?» — «Стоять, ротмистр!» — «Ну, стоять так стоять», — сказал он покойно; и, оборотясь к фронту с тем неустрашимым видом, который так ему свойственен, хотел было несколько ободрить солдат, но, к удовольствию своему, увидел, что они не имеют в этом нужды: взоры и лица храбрых улан были веселы; недавняя победа одушевила черты их геройством. Весь их вид говорит: *беда неприятелю!* К вечеру второй полуэскадрон спешился, и я, имея тогда свободу отойти от своего места, пошла к ротмистру спрашивать о всем том, что в этот день казалось мне непонятным. Подьямпольский стоял у дерева, подперши голову рукою, и смотрел без всякого участия на перестрелку; приметно было, что мысль его не здесь. «Скажите мне, ротмистр, для чего вы посылали к Штакельбергу меня, а не унтер-офицера? Не правда ли, что вы хотели укрыть меня от пуль?» — «Правда, — отвечал задумчиво Подьямпольский, — ты так еще молод, так невинно смотришь и среди этих страшных сцен так весел и беспечен! Я видел, как ты скакал позади всего эскадрона во время беспорядочного бегства нашего от кирпичных сараев, и мне казалось, что я вижу барашка, за которым гонится стая волков. У меня сердце обливается кровью при одной мысли видеть тебя убитым. Не знаю, Александров, отчего мне кажется, что если тебя убьют, то это будет убийство противное законам; дай бог, чтоб я не был этому свидетелем! Ах, пуля не разбирает. Она пробивает равно как грудь старого воина, так и сердце цветущего юноши!..» Меня удивило такое грустное расположение духа моего ротмистра и необыкновенное участие во мне, какого прежде я не замечала; но, вспомя, что у него брат, нежно им любимый, остался в Мариупольском полку один, предоставленный произволу судьбы и собственного разума, нашла весьма натуральным, что мой вид незрелого юноши и опасности войны привели ему на память брата, детский возраст его и положение, в каком он может случиться при столь жаркой войне. Наступила ночь; второй полуэскадрон сел на лошадей, а первый спешился; пальба ружейная прекратилась. Я просила ротмистра позволить мне не садиться на лошадь; он согласился, и мы продолжали разговаривать. «Объясните мне, ротмистр, отчего у нас так много ранят офицеров? Рядовых такая густая масса; их более и удобнее было бы убивать; разве в

офицеров нарочно метят?» — «Разумеется, — отвечал Подъямпольский, — это самый действительный способ расстроить и ослабить силы неприятеля». — «Почему ж?» — «Как почему! потому что один храбрый и знающий офицер более сделает вреда неприятелю своими сведениями, проницанием, умением пользоваться и выгодами местоположения и ошибками противной стороны, а особливо офицер, одаренный тем высоким чувством чести, которое заставляет встречать бестрепетно смерть и спокойно действовать в величайших опасностях; такой офицер, повторяю, один более сделает вреда неприятелю, нежели тысяча солдат, никем не начальствуемых...» Разговор наш продолжался часа два все в этом же смысле; я слушала со вниманием суждения и замечания Подъямпольского, лучшего офицера в полку нашем, храброго, опытного, строгого к себе столько же, как и к другим. Очередь сойти с лошадей второму полуэскадрону прекратила беседу нашу; ротмистр сел на лошадь, а мне сказал, что теперь я могу, если хочу, заснуть полчаса. Я не заставила повторить этого два раза, но тотчас воспользовалась позволением и, закутавшись солдатским плащом, легла под деревом, положив голову на корни его. На рассвете сквозь тонкий сон слышала я, что по каске моей что-то щелкало; проснувшись совсем, я открыла голову и увидела стоящих недалеко от меня подполковника *Лопатина* и Подъямпольского; они о чем-то разговаривали, смотря и по временам указывая в сторону неприятельских стрелков; стыдясь, что нашли меня спящею, я спешила встать: и в это самое время пуля на излете ударила по каске моей, а тем объяснились и первые щелчки; я собрала лежащие близ меня пули и понесла их показать ротмистру. «Ну так что ж! — сказал он, рассмеявшись, — неужели тебе и это в диковинку?» — «А как же! ведь они не докатились, а долетели, почему ж не ранили меня?» — «Не имели силы. Полно, однако ж, садись на лошадь, нас сейчас сменяют!» Драгунский эскадрон пришел стать на наше место, а мы вошли в крепость и у стен ее расположились отдыхать. Смоленск уступили неприятелю!.. Ночью уже арьергард наш взошел на высоты за рекою. *Раевский* с сожалением смотрел на пылающий город. Кто-то из толпы окружавших его офицеров вздумал воскликнуть: «Какая прекрасная картина!..» — «Особливо для *Энгельгардта*, — подхватил который-то из адъютантов генерала, — у него здесь горят два дома!»

Мы всё отступаем! Для чего ж было читать нам, что государь не удерживает более нашего мужества! Кажется, не слишком большому опыту подвергли нашу храбрость. Как вижу, мы отступаем в глубь России. Худо будет нам, если неприятель останется в Смоленске! Одна только безмерная самонадеянность Наполеона обеспечивает в возможности заманить его далее. Все это, однако ж, выше моего понятия. Неужели нельзя было встретить и разбить неприятеля еще при границах государства нашего? К чему такие опасные маневры? Для чего вести врага так далеко в средину земли своей?.. Может быть, это делается с прекрасною целью; однако ж, пока достигнут се или разгадают, войско может потерять дух; и теперь уже со всех сторон слышны заключения и догадки, одни других печальнее и нелепее.

По очереди пришлось мне быть на ординарцах у *Коновницына*. Генерал этот очень любит находиться как можно ближе к неприятелю и, кажется, за ничто считает какие б то ни было опасности; по крайней мере, он так же спокоен среди битв, как и у себя в комнате. Здесь завязалось небольшое сражение. Генерал подъехал к передовой линии; но как свита его тотчас привлекла внимание и выстрелы неприятеля, то он приказал нам разъехаться. Не знаю почему, мы не скоро послушались его, и в это время ранили под ним лошадь. Неприятель сосредоточил на нашей группе свои выстрелы, что и заставило Коновницына отъехать немного далее от линии фланкеров. Когда мы повернулись все за ним, то мой досадный Зелант, имея большой шаг, неприметно вышел вперед генеральской лошади. Коновницын, увидя это, спросил меня очень строго: «Куда вы, господин офицер? Разве не знаете, что вам должно ехать за мною, а не впереди?» Со стыдом и досадою осадил я свою лошадь. Генерал, верно, подумал, что это страх заставил меня прибавить шагу!..

Коновницыну надобно было послать на левый фланг к графу *Сиверсу* узнать, что в случае отступления безопасны ли и удобны ли дороги для его ретирады, довольно ли с ним войска и не нужно ли будет ему подкрепления? Для принятия этого поручения явилась я. «Ох, нет! — сказал Коновницын, взглянув на меня, — вы слишком молоды, вам нельзя этого поручить: пошлите кого постарее». Я покраснела: «Не угодно ли вашему превосходительству испытать; может быть, я в состоянии буду понять и исполнить ваши приказания». — «А... очень хорошо! извините меня», — сказал Коновницын торопливо и вежливым тоном; он отдал мне свои приказания, прибавя, чтоб я как можно скорее ехала. Не успела я скрыться у него из виду, как он, тревожимый недоверчивостью, послал другого ординарца по следам моим с тем же самым приказанием, и это было действием видимого покровительства божия, потому что неприятель занял уже те места, через которые проехала я к Сиверсу. Возвращаясь, я встретила с посланным офицером, от которого и узнала, что там, где прежде ехала, находятся уже неприятельские стрелки. Приехав к Коновницыну, я рассказала ему со всею подробностью о положении отряда Сиверса, о путях, переправах, средствах, одним словом, обо всем, что мне ведено было узнать. Коновницын, выслушав мое донесение, расхвалил меня, попросил извинения в том, что усомнился было дать мне поручение по причине моей молодости, и, видно, желая загладить это, посылал уже везде одну меня через целый день, говоря при каждом поручении: «Вы исправнее других». Носясь весь день по полям от одного полка к другому, я измучилась, устала, смертельно проголодалась и совсем уже не рада стала приобретенной славе исправного ординарца. Бедный Зелант сделался похож на борзую собаку.

Солнце уже закатилось, когда мы стали на лагерь. Я только что успела сойти с лошади, как должна была опять сесть на нее: Подьямпольский сказал, что мне очередь ехать за сеном для целого полка. «Вот тебе десять человек от моего эскадрона; сейчас придут остальные, отправляясь с богом! Да нельзя ли, — прибавил он вполголоса, — достать что-нибудь съесть: гуся, курицу; сколько уже дней все один хлеб: досмерти наскучило!..» Пятьдесят человек улан явились под начальство мое, и я поехала с ними по первой, какая попала, дороге отыскивать сенокос, потому что в это время года начинают уже косить. Ночь была очень тепла, но и очень темна; месяц не светил. Отъехав верст шесть от лагеря, мы увидели в полуверсте от нас деревню и в три минуты были уже в ней, потому что, обрадовавшись такой скорой находке, пустились туда рысью. К деревне примыкал обширный луг; виднелась речка, за нею несколько мелких перелесков. Приказав уланам идти с лошадьми на луг, я осталась одна в покинутой деревне и, привязав лошадь, пошла осматривать опустевшие жилища. Что-то было страшно видеть все двери отворенными; везде царствовал мрак, тишина и запустение; ничто не было заперто: конюшни, сараи, анбары, кладовые и дома, все было растворено! На дворе, однако ж, ходили, лежали, стояли коровы, овцы и сидели гуси стадами: бедные гуси! вид их припомнил мне просьбу Подьямпольского! припомнил, что одному из них непременно надобно будет умереть! Ах, как мне стыдно писать это! Как стыдно признаваться в таком бесчеловечии! Благородною саблей своей я срубила голову неповинной птицы!! Это была первая кровь, которую пролила я во всю мою жизнь. Хотя это кровь птицы, но поверьте, вы, которые будете когда-нибудь читать *мои Записки*, что воспоминание о ней тяготит мою совесть!.. Через час уланы мои возвратились, ведя за собою лошадей своих, навьюченных сеном. «Не слишком ли тяжело вы навьючили их?» — спросила я, видя, что по бокам лошадей висели огромнейшие связки сена. «Нет, ваше благородие! ведь сено легко!» Я поверила, вовсе не подозревая, что тут кроется тяжесть мне неизвестная, и что для этого нарочно навязаны такие ужасные горы сена. Я села на лошадь, велела взять мертвого гуся и поехала впереди своего отряда, который шел пешком, ведя лошадей своих в поводу. Мы уже прошли большую половину своей дороги и были верстах в двух от лагеря, как вдруг прискакал улан: «Поспешите, ваше благородие, полк скоро пойдет». Я велела людям идти так скоро,

как они могут; они побежали; натурально, что и лошади пошли рысью; я очень удивилась, увидя, что в отряде моем то там, то сям падают с лошадей бараны. Я не имела времени спросить, для чего они столько набрали их, как другой улан прискакал с приказанием от полка бросить сено и спешить к полку; я приказала оставить все, и сено, и баранов, и моего гуся на месте, сесть на лошадей и рысью возвращаться в полк; мы догнали его уже на марше. «Что это значит, ротмистр, что полк так скоро пошел?» — «Вот странный вопрос, что значит! велено, так и пошли; мы не прогуливаемся, теперь война!» Я замолчала. Ротмистр был не в духе и, верно, оттого, что голоден. Я тоже голодна и, сверх того, нисколько не спала эту ночь.

У нас новый главнокомандующий: *Кутузов!*.. Это услышала я, стоя в кругу ординарцев, адъютантов и многих других офицеров, толпящихся около разведенного огня. Гусарский генерал *Дорохов* говорил, поглаживая седые усы свои: «Дай бог, чтоб *Михаило Ларионович* поскорее приехал и остановил нас; мы разбежались, как под гору».

Кутузов приехал!.. солдаты, офицеры, генералы — все в восхищении; спокойствие и уверенность заступили место опасений; весь наш стан кипит и дышит мужеством!..

Холодный, пронзительный ветер леденит тело мое. Шинель моя не только что не на вате, но и ни на чем; под нею нет подкладки. Уланский колет мой подложен тафтою, и в нем состоит вся моя защита против ветра, столько же холодного, как зимою.

Бородино. Вечером вся наша армия расположилась биваками близ села Бородино. Кутузов хочет дать сражение, которого так давно все желают и ожидают. Наш полк, по обыкновению, занимает передовую линию. В эту ночь я сколько ни свертывалась, сколько ни куталась в шинель, но не могла ни согреться, ни заснуть. Шалаш наш был сделан а jour (на один день, временный (франц.)), и ветер свистал сквозь него, как сквозь разбитое окно. Товарищи мои, которых шинели теплы, спят покойно: охотно бы легла я у огня, но его нет и не разводили.

24-го августа. Ветер не унялся! на рассвете грозно загрохотала вестовая пушка. Гул ее неся, катился и переливался по всему пространству, занятому войском нашим. Обрадовавшись дню, я тотчас оставила беспокойный ночлег свой! Еще не совсем замолк гул пушечного выстрела, как все уже было на ногах! Через четверть часа все пришло в движение, все готовится к бою! Французы идут к нам густыми колоннами. Все поле почернело, закрывшись несметным их множеством.

26-го. Адский день! Я едва не оглохла от дикого, неумолчного рева обеих артиллерий. Ружейные пули, которые свистали, визжали, шикали и, как град, осыпали нас, не обращали на себя ничьего внимания; даже и тех, кого ранили, и они не слышали их: до них ли было нам!.. Эскадрон наш ходил несколько раз в атаку, чем я была очень недовольна: у меня нет перчаток, и руки мои так окоченели от холодного ветра, что пальцы едва сгибаются; когда мы стоим на месте, я кладу саблю в ножны и прячу руки в рукава шинели: но, когда велят идти в атаку, надобно вынуть саблю и держать ее голою рукой на ветру и холоде. Я всегда была очень чувствительна к холоду и вообще ко всякой телесной боли; теперь, перенося днем и ночью жестокость северного ветра, которому подвержена беззащитно, чувствую, что мужество мое уже не то, что было с начала кампании. Хотя нет робости в душе моей и цвет лица моего ни разу не изменялся, я покойна, но обрадовалась бы, однако ж, если бы перестали сражаться.

Ах, если б я могла согреться и опять почувствовать, что у меня есть руки и ноги! Теперь я их не слышу.

Желание мое исполнилось; нужды нет, каким образом, но только исполнилось; я не сражаюсь, согрелась и чувствую, что у меня есть руки и ноги, а особенно левая нога очень ощутительно дает мне знать, что я имею ее; она распухла, почернела и ломит нестерпимо: я получила контузию от ядра. Вахмистр не допустил меня упасть с лошади, поддержал и отвел за фронт. Несмотря на столько битв, в которых была, я не имела никакого понятия о контузии; мне казалось, что получить ее не значит быть раненой, и потому, не видя крови на колене своем, воротилась я к своему месту. Подъямпольский, оглянувшись и видя, что я стою перед фронтом, спросил с удивлением: «Зачем ты воротился?» — «Я не ранен», — отвечала я. Ротмистр, полагая, что меня ударила пуля на излете, успокоился, и мы продолжали стоять и выдерживать огонь до самой ночи. Тогда неприятель зачал освещать нас светлыми ядрами, живописно скачущими мимо нашего фронта; наконец и эта забава кончилась, все затихло. Полк наш отступил несколько назад и спешился; но эскадрон Подъямпольского остался на лошадях. Я не в силах была выдерживать долее мучений, претерпеваемых мною от лома в ногу, от холода, оледеневшего кровь мою, и от жестокой боли всех членов (думаю, оттого, что во весь день ни на минуту не сходила с лошади). Я сказала Подъямпольскому, что не могу более держаться на седле и что если он позволит, то я поеду в вагенбург, где штаб-лекарь *Карнилович* посмотрит, что делается с моею ногой; ротмистр позволил. Наконец пришло то время, что я сама охотно поехала в вагенбург! В вагенбург, столько прежде презираемый! Поехала, не быв жестоко раненною!.. Что может храбрость против холода!!

Оставя эскадрон, пустилась я, в сопровождении одного улана, по дороге к вагенбургу, едва удерживаясь от болезненного стога. Но я не могла ехать далее Бородина и остановилась в этом селении; оно из конца в конец было наполнено ранеными. Ища бесполезно избы, куда б меня пустили, и получая везде отказ, решила я войти и занять место, не спрашивая согласия; отворив дверь одной обширной и темной, как могила, избы крестьянской, была я встречена двадцатью голосами, болезненно кричащими ко мне из глубины этого мрака: «Кто там! Зачем? Затвори двери! Что тебе надобно? Кто такой пришел...» Я отвечала, что я уланский офицер, ранен, не могу найти квартиры и прошу их позволить мне переночевать здесь. «*Нельзя, нельзя!* — закричало вдруг несколько голосов, — здесь раненый полковник, и нам самим тесно!» — «Ну, так раненый полковник должен по себе знать, что в таком положении трудно искать квартиры, и как бы ни было вам тесно, но вы должны были бы предложить мне остаться между вами, а не выгонять». На эту проповедь отвечал мне кто-то отрывисто: «Ну, пожалуй, оставайтесь, вам негде будет лечь». — «Это уже моя забота», — сказала я и, обрадовавшись, что наконец вижу себя в тепле, взлезла на печь и легла на краю не только что во всем вооружении, но даже не снимая и каски. Члены мои начали оттаивать и боль утихать; одна только ушибленная нога была тяжела, как бревно: я не могла пошевелить ее без боли. Изнуренная холодом, голодом, усталостью и болью, я в одну минуту погрузилась в глубочайший сон. На рассвете, видно, я хотела повернуться на другую сторону, но как спала на краю печи, то сабля моя от этого движения свесилась и загремела; все проснулись и все кричали: «Кто тут! Кто ходит!» Голос их показывал сильный испуг; один из них прекратил эту тревогу, напоминая товарищам обо мне, выражаясь весьма обязательно: «Это возится тот улан, вот что с вечера еще черт принес к нам». После того они опять все заснули, но я уже не спала; нога моя жестоко болела, и, вместо вчерашнего озноба, во мне был сильный жар. Я встала и, рассмотрев сквозь трещины ставня, что заря уже занималась, отворила дверь, чтоб выйти и оставить гостеприимный кров, под которым провела ночь; у самого порога стоял мой улан с обеими лошадьми; терзательная боль, когда надобно было стать и опереться левою ногой на стремя, выжала невольные слезы из глаз моих. Отъехав с полверсты, я хотела уже сойти с лошади и лечь в поле, отдавшись на волю судьбы: нога моя затекла и причиняла мне боль невыносимую! К счастью, улан мой увидел вдали телегу; на ней лежала пустая бочка, в которой отвозили вино в армию; сейчас он поскакал

и привел эту телегу ко мне; пустую бочку сбросили, а я заняла ее место и легла на ту солому, на которой она лежала. Улан повел моего Зеланта в поводу, и таким образом прибыла я в вагенбург, где нашла доброго приятеля своего полкового казначея *Бурого*, и теперь сижу в его теплом шалаше, в его тулупе; в руках у меня стакан горячего чаю; нога обвязана бинтами, намоченными спиртом; надеюсь, что и это поможет за неимением лучших средств. Карниловича нет здесь, он при полку.

Я совершенно оправилась! Хороший суп, чай и теплота возвратили членам моим силу и гибкость; все забыто, как сон, хотя нога и болит еще. Но что об ней думать! К тому ж, право, мне кажется, что моя контузия из всех контузий самая легкая.

Проведя два дня в шалаше *Бурого*, я спешила возвратиться в полк; мне дано отвесть туда небольшой отряд, состоящий из двадцати четырех улан, для укомплектования эскадрона.

Мы отступаем к Москве и теперь уже в десяти верстах от нее. Я просила *Штакельберга* позволить мне съездить в Москву, чтоб заказать сшить теплую куртку; получа позволение, я отдала свою лошадь улану и отправилась на паре едва дышащих кляч, нанятых в селении. Я хотела было остановиться в Кремле у *Митрофанова*, искреннего друга и сослуживца отца моего, но узнала, что он куда-то уехал. Пока я доспросилась о нем, должна была заходить ко многим жильцам обширного дома, в котором были и его комнаты. Один из этих набегов произведен на горницы молодой купчихи; она, увидя меня отворяющую дверь ее, тотчас стала говорить: «Пожалуйте, пожалуйста, батюшка господин офицер! прошу покорно, садитесь, сделайте милость; вы хромаете, конечно, ранены? Не прикажете ли чаю? Катенька, подай скорее». Говоря все это, она усаживала меня на диване, а Катенька, миленькая четырнадцатилетняя девочка, во всем блеске купеческой красоты, стояла уже передо мною с чашкою чаю. «Что, батюшка, супостат наш далеко ли? Говорят, он идет в Москву». Я отвечала, что его не пустят в Москву. «Ах, дай-то бог! Куда мы денемся тогда? Говорят, он всех принуждает к своей вере». Что мне было отвечать им на такие вопросы? Малютка тоже отозвалась своим тоненьким голосом: «Слышно, что они всех пленных клеймят против сердца», — говоря это, она указывала на свое собственное сердце. «Это легко может быть, — отвечала я, — об этом что-то и я слышал». Они приступили было ко мне с расспросами, но я встала, сказав, что должен спешить к своему месту. «Итак, господь с вами, батюшка», — говорили обе сестры, провожая меня по переходам к лестнице. Куртку мне сшили, я надела ее и хотела сейчас выехать из города; но это не так-то легко было сделать: неприятель близко, многие извозчики оставили Москву, и те из них, которые были еще тут, просили с меня пятьдесят рублей, чтоб довезть до главной квартиры; но как у меня нет и одного, не только пятидесяти, то я отправляюсь пешком. Прошед версты три по мостовой, я принуждена была лечь на землю, как только вышла за заставу: нога моя снова стала болеть и пухнуть, и я не могла уже ступить на нее. К моему счастью, проезжала мимо какая-то фура, нагруженная седлами, потниками, манерками, ранцами и всяким другим военным дрязгом; при ней был офицер. Я просила его взять меня на эту фуру; сначала он не соглашался, говоря, что ему нельзя ничего из тех вещей сбросить и некуда посадить меня; но, представя ему, что не только офицер, но и простой солдат дороже государю двадцати таких фур, я убедила его дать мне место. У главой квартиры я встала, поблагодарила офицера и пошла, прихрамывая, искать *Шварца*, чтоб попросить у него какую-нибудь лошадь; моя осталась в полку. Я отыскала *Шварца* в квартире графа *Сиверса*. После Бородинского дела мы не видались; он очень удивился, увидя меня, и спросил, для чего я не при полку? Я рассказала ему о контузии, о боли, о Москве, о куртке, прибавя ко всему этому, что желала бы как можно скорее возвратиться к полку и что для этого мне нужна лошадь. *Шварц* дал мне казачью лошадь с тонкою вытянутою шеей, безобразную, оседланную гадким седлом с огромной подушкой. На этом коне, не имевшем и в доброе

свое время ни огня, ни быстроты, приехала я в полк. Горю нетерпением сесть на своего бодрого и гордого Зеланта, я узнала, к величайшей досаде моей, что он отправлен с заводными лошадьми верст за пять в деревню.

Перешед Москву, мы остановились верстах в двух или трех от нее; армия пошла дальше.

Через несколько времени древняя столица наша запылала во многих местах! Французы вовсе нерасчетливы. Зачем они жгут наш прекрасный город? свои великолепные квартиры, так дорого ими нанятые? Станные люди!.. Мы все с сожалением смотрели, как пожар усиливался и как почти половина неба покрылась ярким заревом. Взятие Москвы привело нас в какое-то недоумение; солдаты как будто испуганы; иногда вырываются у них слова: *лучше уж бы всем лечь мертвыми, чем отдавать Москву!* Разумеется, они говорят это друг другу вполголоса, а в таком случае офицер не обязан этого слышать.

Полк наш примыкал левым флангом к какой-то деревушке; в ней не было уже ни одного человека. Я спросила ротмистра, долго ли мы тут будем стоять? «Кто ж это знает, — отвечал он, — огней не велено разводить, так, видно, надобно быть наготове каждую минуту. А тебе на что это знать?» — «Так; я пошел бы в крайний дом лечь спать ненадолго; у меня очень болит нога». — «Поди; пусть унтер-офицер постоит у избы с твоей лошадей; когда полк тронется с места, то он разбудит тебя». Я проворно побежала в дом; вошла в избу и, видя, что пол и лавки выломаны, не нашла лучшего места, как печь; я влезла на нее и легла с краю; печь была тепла, видно, ее недавно топили; в избе было довольно темно от притворенных ставень. Теплота и темнота! какие два благословенные удобства! Я тотчас заснула. Думаю, что спала не более получаса, потому что скоро проснулась от повторенных восклицаний: «Ваше благородие! ваше благородие! полк ушел! неприятель в деревне!!» Проснувшись, я спешила встать и, стараясь опереться левою рукой, почувствовала под нею что-то мягкое; я обернулась посмотреть и как было темно, то наклонилась очень близко к предмету, в который уперлась рукою; это был мертвый человек и, кажется, ополчанин; не знаю, легла ли бы я на печь, если б увидела прежде этого соседа, но теперь я и не подумала испугаться. Каких странных встреч не случится в жизни, особливо в теперешней войне! Оставя безмолвного обитателя хижины спать сном беспробудным, я вышла на улицу; французы были уже в деревне и стреляли кой-на-кого из наших. Я поспешила сесть на свою лошадь и рысью догнала полк.

Штекельберг послал меня за сеном для полковых лошадей, и я волею или неволею, но должна была ехать на лошади упрямой, ленивой и безобразной, как осел; пуская вперед свою команду, ехала я за нею, размышляя о неприятном положении своем. Стыд и беда с таким конем ожидают меня в первом деле: на неприятеля он не пойдет, от неприятеля не унесет... «Вот здесь наши заводные!» — сказал один из улан своему товарищу, указывая на ближнее селение; оно было в версте от дороги, по которой я вела свой отряд. Мысль, что могу достать свою лошадь, осветила мой ум, успокоила и разогнала все мрачные помыслы; я поручила унтер-офицеру вести шагом отряд к ближнему лесу, а сама не поскакала уже, но потряслась как могла скорее к селу, где надеялась найти наших заводных.

Судьба ожесточилась против меня: я не нашла здесь своей лошади; здесь не нашего полка заводные; уланские далее еще верстах в трех от селения.

Несчастный голодный осел, на котором я сижу и терзаюсь досадою, какую только можно себе представить, не хочет идти иначе как шагом и то с величайшею ленью. Мучительнее этого состояния я еще не испытывала. Если б мне отдали на выбор: быть ли еще на двух

Бородинских сражениях или два дня только иметь под собою эту верховую лошадь, сию минуту избираю первое, не колеблясь ни секунды.

Я отыскала и взяла своего Зеланта; но как дорого мне это стоило! Решась во что бы то ни стало избавиться неприятного положения своего, принудила я шпорами и саблею бедную лошадь довести меня рысью до второго селения, и тут, к восхищению моему, первый предмет, который мне представился, был Зелант! Пересев на него, полетела я, как стрела, к тому лесу, куда велела ехать своему отряду; я надеялась отыскать его по следам, но множество дорог, идущих вправо, влево, поперек — и на всех бесчисленное множество конских следов, — привели меня в недоумение. Проехав версты три наудачу по дороге, которая показалась мне шире других, приехала я к господскому дому прекрасной архитектуры. Цветник перед крыльцом, ведущим в сад, был весь истоптан лошадьми; по аллеям тянулись богатые кружева и блонды: следы грабительства видны были везде. Не встречая тут ни одного человека и не зная, как отыскать свою команду, решила я возвратиться в полк. Штакельберг, увидя меня одну, спросил: «Где ж ваша команда?» Я откровенно рассказала, что, желая взять свою лошадь в ближнем селении, велела отряду идти шагом к лесу и там дожидаться меня; но что, возвратясь, я не нашла их на назначенном месте и теперь не знаю, где они. «Как смели вы это сделать! — закричал Штакельберг. — Как смели оставить свою команду! Ни на секунду не должны вы были отлучаться от нее; теперь она пропала: лес этот занят уже неприятелем. Ступайте, сударь! сыщите мне людей, иначе я представлю на вас главнокомандующему, и вас расстреляют!..» Оглушенная этою выпалкой, поехала я опять к проклятому лесу, но там были уже неприятельские стрелки. «Куда ты едешь, Александров?» — спросил меня офицер лейб-эскадрона, находившийся в передней линии наших стрелков. Я отвечала, что Штакельберг прогнал меня искать моих фуражиров. «А ты ужели их потерял?» Я рассказала. «Это, братец, пустяки, фуражиры твои, верно, прошли безопасно окольными дорогами и теперь должны быть в селении, занятом заводными лошадьми нашего ариергарда; ступай туда». Я последовала его совету и, в самом деле, нашла своих людей с их выюками сена в этом селе. На вопрос: для чего не дожидались меня, сказали, что, услыша скачку и пальбу в лесу, думали, что это неприятель, и, не желая вовсе быть взятыми в плен, уехали дальше, верст за восемь; нашли там сено, навьючили им лошадей и приехали ожидать меня здесь. Я отвела их в полк, представила Штакельбергу и поехала прямо к главнокомандующему.

Чувствуя себя жестоко оскорбленную угрозой Штакельберга, что меня расстреляют, я не хотела более оставаться под его начальством: не сходя с лошади, написала я карандашом к Подъямпольскому: «Уведомьте полковника Штакельберга, что, не имея охоты быть расстрелянным, я уезжаю к главнокомандующему, при котором постараюсь остаться в качестве его ординарца».

Приехав в главную квартиру, увидела я на одних воротах написанные мелом слова: *Главнокомандующему*; я встала с лошади и, вошед в сени, встретила какого-то адъютанта. «Главнокомандующий здесь?» — спросила я. «Здесь», — отвечал он вежливым и ласковым тоном; но в ту же минуту вид и голос адъютанта изменились, когда я сказала, что ищу квартиру *Кутузова*: «Не знаю; здесь нет, спросите там», — сказал он отрывисто, не глядя на меня, и тотчас ушел. Я пошла далее и опять увидела на воротах: *Главнокомандующему*. На этот раз я была уже там, где хотела быть: в передней горнице находилось несколько адъютантов; я подошла к тому, чье лицо показалось мне лучше других; это был *Дишканец*: «Доложите обо мне главнокомандующему, я имею надобность до него». — «Какую? вы можете объявить ее через меня». — «Не могу, мне надобно, чтобы я говорил с ним сам и без свидетелей; не откажите мне в этом снисхождении», — прибавила я, вежливо кланяясь *Дишканцу*. Он тотчас пошел в комнату *Кутузова* и через

минуту, отворяя дверь, сказал мне: «Пожалуйте» — и с этим вместе сам вышел опять в переднюю; я вошла и не только с должным уважением, но даже с чувством благоговения поклонилась седому герою, маститому старцу, великому полководцу. «Что тебе надобно, друг мой?» — спросил Кутузов, смотря на меня пристально. «Я желал бы иметь счастье быть вашим ординарцем во все продолжение кампании и приехал просить вас об этой милости». — «Какая же причина такой необыкновенной просьбы, а еще более способа, каким предлагаете ее?» Я рассказала, что заставило меня принять эту решимость, и, увлекаясь воспоминанием незаслуженного оскорбления, говорила с чувством, жаром и в смелых выражениях; между прочим, я сказала, что, родясь и выросши в лагере, люблю военную службу со дня моего рождения, что посвятила ей жизнь мою навсегда, что готова пролить всю кровь свою, защищая пользы государя, которого чту, как бога, и что, имея такой образ мыслей и репутацию храброго офицера, я не заслуживаю быть угрожаема смертью... Я остановилась, как от полноты чувств, так и от некоторого замешательства: я заметила, что при слове «храброго офицера» на лице главнокомандующего показалась легкая усмешка. Это заставило меня покраснеть; я угадала мысль его и, чтобы оправдаться, решила сказать *все*. «В Прусскую кампанию, ваше высокопревосходительство, все мои начальники так много и так единодушно хвалили смелость мою, и даже сам *Буксгевден* назвал ее *беспримерною*, что после всего этого я считаю себя вправе назваться *храбрым*, не опасаясь быть сочтен за самохвала». — «В Прусскую кампанию! разве вы служили тогда? который вам год? Я полагал, что вы не старше шестнадцати лет». Я сказала, что мне *двадцать третий год* и что в Прусскую кампанию я служила в Коннопольском полку. «Как ваша фамилия?» — спросил поспешно главнокомандующий. «*Александров!*» Кутузов встал и обнял меня, говоря: «Как я рад, что имею наконец удовольствие узнать вас лично! Я давно уже слышал об вас. Оставайтесь у меня, если вам угодно; мне очень приятно будет доставить вам некоторое отдохновение от тяжести трудов военных; что ж касается до угрозы расстрелять вас, — прибавил Кутузов, усмехаясь, — то вы напрасно приняли ее так близко к сердцу; это были пустые слова, сказанные в досаде. Теперь подите к дежурному генералу *Коновницину* и скажите ему, что вы у меня бессменным ординарцем». Я пошла было, но он опять позвал меня: «Вы хромаете? отчего это?» Я сказала, что в сражении под Бородиным получила контузию от ядра. «Контузию от ядра! и вы не лечитесь! сейчас скажите доктору, чтобы осмотрел вашу ногу». Я отвечала, что контузия была очень легкая и что нога моя почти не болит. Говоря это, я лгала: нога моя болела жестоко и была вся багровая.

Теперь мы живем в *Красной Пахре*, в доме Салтыкова. Нам дали какой-то дощатый шалаш, в котором все мы (то есть ординарцы) жмемся и дрожим от холода. Здесь я нашла *Шлеина*, бывшего вместе со мною в Киеве на ординарцах у *Милорадовича*.

Лихорадка изнуряет меня. Я дрожу, как осиновый лист!.. Меня посылают двадцать раз на день в разные места; на беду мою, Коновницин вспомнил, что я, будучи у него на ординарцах, оказалась отличнейшим из всех, тогда бывших при нем. «А, здравствуйте, старый знакомый», — сказал он, увидя меня на крыльце дома, занимаемого главнокомандующим; и с того дня не было уже мне покоя. Куда только нужно было послать скорее, Коновницин кричал: «Уланского ординарца ко мне!» — и бедный уланский ординарец носился, как бледный вампир, от одного полка к другому, а иногда и от одного крыла армии к другому.

Наконец Кутузов велел позвать меня: «Ну что, — сказал он, взяв меня за руку, как только я вошла, — покойнее ли у меня, нежели в полку? Отдохнул ли ты? что твоя нога?» Я принуждена была сказать правду, что нога моя болит до нестерпимости, что от этого у меня всякий день лихорадка и что я машинально только держусь на лошади по привычке, но что силы у меня нет и за пятилетнего ребенка. «Поезжай домой, — сказал

главнокомандующий, «смотря на меня с отеческим состраданием, — ты в самом деле похудел и ужасно бледен; поезжай, отдохни, вылечись и приезжай обратно». При этом предложении сердце мое стеснилось. «Как мне ехать домой, когда ни один человек теперь не оставляет армию!» — сказала я печально. «Что ж делать! ты болен. Разве лучше будет, когда останешься где-нибудь в лазарете? Поезжай! теперь мы стоим без дела, может быть, и долго еще будем стоять здесь; в таком случае успеешь застать нас на месте». Я видела необходимость последовать совету Кутузова: ни одной недели не могла бы я долее выдерживать трудов военной жизни. «Позвольте ли, ваше высокопревосходительство, привезти с собою брата? Ему уже четырнадцать лет. Пусть он начнет военный путь свой под начальством вашим». — «Хорошо, привези, — сказал Кутузов. — я возьму его к себе и буду ему вместо отца».

Через два дни после этого разговора Кутузов опять потребовал меня: «Вот подорожная и деньги на прогоны, — сказал он, подавая то и другое, — поезжай с богом! Если в чем будешь иметь надобность, пиши прямо ко мне, я сделаю все, что от меня будет зависеть. Прощай, друг мой!» Великий полководец обнял меня с отеческою нежностью.

Лихорадка и телега трясут меня без пощады. У меня подорожная курьерская, и это причиною, что все ямщики, не слушая моих приказаний ехать тише, скачут сломя голову. Малиновые лампасы и отвороты мои столько пугают их, что они хотя и слышат, как я говорю, садясь в повозку, «ступай рысью», но не верят ушам своим и, заставя лихих коней рвануть разом с места, не прежде остановят их, как у крыльца другой станции. Но нет худа без добра: я теперь не зябну; от мучительной тряски меня непрерывно бросает в жар.

В *Калуге* пришел на почту какой-то, по-видимому, чиновник и, выждав, как никого не осталось в комнате, подступил ко мне тихо, как кошка, и еще тише спросил: «Не позволите ли мне узнать содержание ваших депеш?» — «Моих депеш! Забавно было бы, если б рассказывали курьерам, что написано в тех бумагах, с которыми они едут! Я не знаю содержания моих депеш». — «Иногда это бывает известно господам курьерам; я скромн, от меня никто ничего не узнает», — продолжал шептать искуситель с ласковою миной. «И от меня так же. Я скромн, как и вы», — сказала я, вставая, чтоб уйти от него. «Одно слово, батюшка! Москва...» Остального я не слыхала, села в повозку и уехала. Сцены эти повторялись во многих местах и многими людьми; видно, им не новое было расспрашивать курьеров.

Казань. Я остановилась в доме благородного собрания, чтобы пообедать. Лошади были уже готовы и обед мой приходил к концу, как вошло ко мне приказное существо с тихою поступью, прищуренными глазами и хитрою физиогномией: «Куда изволите ехать?» — «В С...» — «Вы прямо из армии?» — «Из армии». — «Где она расположена?» — «Не знаю». — «Как же это?» — «Может быть, она перешла на другое место». — «А где вы оставили ее?» — «На поле между Смоленском и Москвою». — «Говорят, Москва взята; правда ли это?» — «Неправда! Как можно!» — «Вы не хотите сказать! все говорят, что взята, и это верно!» — «А когда верно, так чего ж вам больше?» — «Стало, вы соглашаетесь, что слух этот справедлив?» — «Не соглашаюсь! прощайте, мне некогда ни рассказывать, ни слушать вздору о Москве». Я хотела было ехать. «Не угодно ли вам побывать у губернатора? он просил вас к себе», — сказал хитрец совсем уже другим тоном. «Вам надобно было сказать мне это сначала, не забавляясь расспросами, а теперь я вам не верю, и к тому ж я курьер и заезжать ни к кому не обязан». Чиновник опрометью бросился от меня и через две минуты опять явился: «Его превосходительство убедительно просит вас пожаловать к нему; он прислал за вами свой экипаж». Я тотчас поехала к губернатору. Почтенный *Мансуров* начал разговор свой благодарностью за мое

благоразумие в отношении к нескромным расспросам. «Мне очень приятно было, — говорил он, — слышать от своего чиновника, с какою осторожностью вы отвечали ему; я много обязан вам за это. Здесь наделал было мне хлопот один негодяй, вырвавшийся из армии; столько наговорил вздору и так растревожил умы жителей, что я принужден был посадить его под караул. Теперь прошу вас быть со мною откровенным: Москва взята?» Я медлила ответом: губернатора смешно было бы обманывать, но тут стоял еще какой-то чиновник, и мне не хотелось при нем отвечать на такой важный вопрос. Губернатор угадал мысль мою: «Это мой искренний друг, это второй я! прошу вас не скрывать от меня истины, меня утомляет доверенностию и сам государь; сверх того, мне надобно знать о участи Москвы и для того, чтобы взять свои меры в рассуждении города; буйные татары собираются толпами и выжидают случая наделать неистовств; я должен это предупредить; итак — Москва точно взята?» — «Могу вас уверить, ваше превосходительство, что не взята, но отдана добровольно, и это последний триумф неприятеля нашего в земле русской: теперь гибель его неизбежна!» — «На чем же вы основываете ваши догадки?» — спросил губернатор, на лице которого при словах *Москва отдана* изобразилось прискорбие и испуг. «Это не догадки, ваше превосходительство, но совершенная уверенность: за гибель врагов наших порукою нам спокойствие и веселый вид всех наших генералов и самого главнокомандующего. Не натурально, чтоб, допустя неприятеля в сердце России и отдав ему древнюю столицу нашу, могли они сохранять спокойствие духа, не быв уверенными в скорой и неизбежной гибели неприятеля. Сообразите все это, ваше превосходительство, и вы сами согласитесь со мною». Губернатор долго еще разговаривал со мною, расспрашивая о действиях и теперешнем положении армии, и наконец, прощаясь, наговорил мне много лестного и в заключение сказал, что Россия не дошла бы до крайности отдать Москву, если б в армии были все такие офицеры, как я. Подобная похвала, и от такого человека, как Мансуров, вскружила бы голову хоть кому, а мне и подавно. Мне, которую ожидает тьма толков, заключений, предположений и клевет, как только пол мой откроется! Ах, как необходимо будет мне тогда свидетельство людей подобных *Мансурову, Ермолову и Коновницину!*..

[Оглавление](#)

РАССКАЗ ТАТАРИНА

За Казанью начинаются леса обширные, густые, дремучие и непроходимые; зимою большая дорога, идущая через них, так же узка, как и всякая проселочная; последние еще имеют преимущество перед первою, потому что ими можно иногда ближе проехать и всегда уже дешевле; последнее обстоятельство для меня было также немаловажно, и я со второй станции поворотила с большой дороги на маленькую, которая вела и час от часу глубже заходила в чащу соснового леса. Наступила ночь! в дремучем лесу ничто не шелохнуло, и только раздавались восклицания моего ямщика и заунывные песни старого татарина, ехавшего вместе со мною от самой Казани; он выпросил у меня позволение сидеть на облучке повозки и за то прислуживал мне в дороге; *гайда, гайда, Хамитулла!*.. пел он протяжным и грустным напевом своего народа; это был припев какой-то нескончаемой песни. Устав слушать одно и то же целый час, я спросила: «Что это за Хамитулла, Якуб, которым ты прожужжал мне уши?» Якуб сердито повернулся на облучке: «Что за Хамитулла? Хамитулла был первый красавец из всего рода нашего!» — «Из твоей семьи, Якуб, или из всего татарского племени?..» Якуб не отвечал; я думала, он осердился, по обыкновению; но седой татарин мрачно смотрел в глубь леса и вздыхал. Я оставила его думать, как видно, о Хамитулле и хотела, закрыв голову шинелью, лечь спать; вдруг Якуб оборотился ко мне совсем: «Барин! мы едем теперь через тот самый лес,

где так долго крылся и скитался Хамитулла!.. где он наводил ужас на путников одним только именем своим и мнимыми разбоями!.. где его искали, преследовали и наконец поймали!.. Бедный Хамитулла! видя его в цепях, я не верил глазам своим. Он! добрый и честный человек, примерный сын, брат, друг!.. в цепях за преступление!.. за разбой!.. Как бы вы думали, барин, какое было это преступление и какого рода разбой?.. Хотите знать?» — «Хорошо, Якуб, расскажи». — «Я люблю говорить об нем; дивлюсь ему и жалею о бедственной судьбе его со всем сердоболием отца... Да, я любил Хамитуллу, как сына! Ему было семнадцать лет, когда я, заплатив калым за вторую жену свою, переехал жить к тестю в деревню ****, чтоб помогать ему в трудах. Дом отца Хамитуллы был подле нашего; мне было тогда сорок два года от роду; детей у меня не было; и я всей душою привязался к бравому юноше, который тоже любил и меня, как отца. Он был не только что прекраснейший из молодых людей наших, но и отличнейший стрелок и отважнейший наездник. Иногда, усмирив сердитого неезженного коня и подводя его ко мне, он говорил: «Посмотри, Якуб, только на таких люблю ездить! Что в этих кротких!.. Ах, если б не было и вовсе на свете смиренных лошадей!..» Я смеялся: «За что ж ты хочешь, Хамитулла, чтоб мы все сломили себе шеи, садясь на бешеных лошадей? Хорошо тебе, ты молод, силен, славный наездник; а я, а старик-отец твой? что бы стали мы делать?» — «Правда! не подумал я об этом», — я шалун бегом уводил своего любимца на траву.

Но настало время, когда ни добрый конь, ни тугой лук не веселили более Хамитуллу. Огненные кони его, разметав гриву, летали по горам и долам, а Хамитулла и не думал оседлать которого-нибудь из них; ему приятно было оставаться дома и изредка проходить мимо окна *Зугры*, дочери одного из богатейших татар деревни. Зугра была смуглая, статная, высокая татарочка; разумеется, с черными глазами и бровями, хотя эта последняя прелесть и не диковина у татарок; они почти все черноглазые; но чернота глаз и бровей Зугры была как-то пленительно черна! в них было что-то, от чего жестоко болело сердце Хамитуллы...

«Как же, Якуб, удалось твоему Хамитулле видеть свою любезную? Ведь у вас татарки прячутся от мужчин». — «Но только не от тех, кому хотят понравиться; тут они очень искусно умеют дать себя увидеть. Довольно, что Хамитулла умел отличить прелестную черноту глаз и бровей своей Зугры от такой же точно черноты двадцати пар других глаз и бровей. «У нее глаза горят, а брови лоснятся! клянусь тебе, Якуб, клянусь кораном!» — повторял предо мною влюбленный. «В уме ли ты, Хамитулла! разве нет у тебя товарищей одних с тобою лет, что ты приходишь говорить мне такой вздор и еще клясться в нем кораном?» — «Товарищам! рассказать товарищам о *Зугре*! ах, они слишком хорошо знают об ней, и я, верно, уже не буду лить масло на огонь». — «Ну, чего же ты хочешь? Просил ли ты отца дать калым за нее?» — «Просил». — «Что ж он сказал?» — «Не по деньгам, не в состоянии!.. Отец Зугры хочет такой *калым*, какого у нас в деревне никто дать не может, а я и подавно...» — «В таком случае нечего делать, Хамитулла. Будь благоразумен, старайся забыть; победи себя; займись чем-нибудь, торгом, например; поезжай в Казань». — «Да и надобно будет ехать, — говорил уныло мой молодой друг, — поеду; отец посылает меня продавать халаты, я пробуду там до весны». — «А как скоро ты отправляешься?» — «Через неделю». Я радовался этому, полагая, что в Казани, прекрасном и многолюдном городе, среди забот, забав и разнообразия предметов, молодой татарин не будет иметь времени заниматься своею страстию; худо я знал Хамитуллу!

Он поехал, писал к отцу часто, давал подробный отчет в своей продаже; присылал вырученные деньги, не торопил своим возвращением и не упоминал о Зугре ни слова. Я радовался, думал, что отсутствие произвело свое действие, что юноша успокоился; но худо я знал Хамитуллу!

Между тем, пока он торговал, тосковал, отчаивался, надеялся и ждал первых цветов весны, чтоб возвратиться под родимый кров, калымы за прекрасную Зугру отовсюду предлагались старому *Абурашиду*, отцу ее; по мере умножения цены их умножалось и корыстолюбие старого татарина. Наконец приехал из отдаленного городка богатый купец и предложил калым, против которого нельзя уже было устоять Абурашиду; Зугру помолвили и отдали. Вечером того дня, в который Зугра кропила горькими слезами великолепную перевязь на груди своей — подарок молодого мужа, вечером этого самого дня приехал Хамитулла.

Никто не видал на лице молодого татарина никакого признака печали, не только бешенства или отчаяния, как того можно было ожидать, судя по первому движению, с каким услышал он о свадьбе Зугры; я первый встретился с ним случайно, при въезде его в деревню, и, полагая, что от меня легче ему будет услышать такую убийственную весть, сказал ее со всею ласкою и утешениями отца. С первых слов Хамитулла побледнел, как полотно, и задрожал всеми членами; судорожно схватился он за топор, лежавший у него на телеге; но в ту ж минуту пришел в себя и, к неизъяснимому удивлению моему, дослушал совершенно холодно всю историю сватовства, слез, сопротивления и, наконец, свадьбы бедной его Зугры. Я радовался этому равнодушию и благословлял переменчивость сердца человеческого; но ах, барин! худо я знал Хамитуллу!

В ночь Зугра исчезла с постели своего мужа, а Хамитулла с нар своего отца; их обоих не нашли нигде. Муж Зугры едва не сошел с ума; он поехал в город, подал просьбу; приехал суд, начались розыски, поиски; наконец открылось, что Хамитулла живет со своею Зугрою в дремучем *волоке*, имеющем верст более сорока пространства, вот в этом самом, через который мы теперь едем. Ну, была ли какая возможность найти его тут, а еще более поймать? Я от всей души радовался этому обстоятельству; оно успокаивало мои опасения о Хамитулле на настоящее время; но что будет далее? куда он денется зимою? что он будет есть, чем одеваться? Как жить в лесу в это время года, столь ужасное в нашей стороне!.. Между тем отец и муж Зугры разъезжали каждый день в лесу, сопровождаемые конвоем всех своих родственников. Земская полиция тоже отыскивала Хамитуллу, который, как носился слух, то там, то сям отнимал у прохожих хлеб, а иногда и деньги, не делая, впрочем, ни малейшего вреда никому. В этих розысках и слухах прошло почти все лето. Наступила осень; молва огласила уже Хамитуллу разбойником; хотя он даже не толкнул рукою никого и если брал что у них, так это была всегда такая малость, которой могло достать только на покупку хлеба. Но вот земская полиция ищет с понятиями и со всею ревностью деятельных чиновников, ищет разбойника Хамитуллу! В одну дождливую ночь, когда месяц не светил уже и было так темно, что и в двух шагах от себя нельзя было ничего рассмотреть, я сидел долее обыкновенного; мне что-то было грустно; мысли самые горестные носились в уме моем и сменяли одна другую: все они были о Хамитулле! Близка развязка печальной повести моего любимца; зима все откроет и все кончит! ужасно! Наконец я лег на постель, глаза мои уже смыкались; кажется, будто я заснул; но тихий стук у окна и шепот знакомого голоса заставили меня с ужасом и невольною радостью быстро подняться с постели. «Хамитулла!» — вскрикнул я со слезами и более не мог ничего сказать; слова замерли; я мог только жать трепещущую руку моего бедного друга! Я не мог позвать его в избу, не мог предложить крова, тепла, пищи! Сердце мое хотело разорваться! «Хамитулла, беги! деревня полна понятих; тебя ищет сам *исправник*! Беги скорее!» — «Выйди ко мне, Якуб, — сказал Хамитулла едва слышным голосом, — выйди ко мне, пройдем со мною за деревню, туда к лесу; мне надо многое тебе рассказать». Я вышел, и мы, взявшись за руки, пошли из деревни в поле; в версте от нас чернелся лес; мы укрылись туда. Я хотел было остановиться. «Нет, отец, пойдем дальше! Я имею нужду в тебе; ты сделаешь мне услугу, может, уже последнюю!..» Не имея сил говорить, шел я безмолвно, куда вел меня Хамитулла; ливный дождь хлестал

меня без пощады по лицу и голове; второпях я выскочил без шапки; мы шли более получаса самыми скорыми шагами. «Вот, — сказал Хамитулла, вдруг останавливаясь и останавливая меня, — вот, Якуб, моя бедная Зугра!..» Он кинулся к какому-то бугорку, похожему на копну сена или кучу соломы. Я подошел за ним и увидел, что Хамитулла вынимает из-под наваленных сосновых ветвей женщину; это была его Зугра! С раздирающими душу стонами прижимал ее Хамитулла к сердцу своему: «Зугра! моя Зугра! мое единственное благо на земле! мы должны расстаться!..» Он упал в отчаянии на траву и обнимал колена плачущей Зугры... Она села к нему, положила голову его к себе на грудь, обняла, прижала уста свои к бледному лицу изнемогающего юноши и, страстно целуя его, обливала горчайшими слезами... Я плакал навзрыд. Ах, барин! какие чувства скрываются иногда под грубою наружностью нашею и в глубине диких непроходимых лесов холодного края нашего! Когда первые порывы жесточайшего из всех страданий любви — страдания разлуки, несколько утихли, Зугра стала говорить: «Покоримся на время судьбе, мой милый друг! расстанемся, пока ты сыщешь место, где б мы могли опять быть вместе; я пойду к отцу, но не пойду к мужу, ни за что не пойду! Он не муж мне! моего согласия не спрашивали. Пусть отец отдаст калым; я твоя, вечно твоя! другого мужа у меня не было!» — «Ах, Зугра, Зугра! мы расстаемся навсегда!» — говорил уныло молодой татарин; но, постепенно приходя в бешенство от мысли о вечной разлуке, жестоко стал бить себя в грудь, крича отчаянным голосом: «Зугра! я тебя более не увижу! Убей меня, Якуб! убей! на что мне жизнь без Зугры!..» Между тем заря стала заниматься... Я старался привести в рассудок Хамитуллу и, указывая ему на светлеющий восток, говорил, что если он не хочет быть схвачен понатыми, то чтоб немедленно решался на что-нибудь... «Я еще не знаю, зачем ты привел меня в этот лес. Ты говорил о какой-то услуге: что я могу для тебя сделать? Вот тебе сердце и рука отца; располагай ими, требуй от меня всего, что может умягчить жестокость твоей участи...» Хамитулла встал, обнял снова Зугру и долго держал ее в объятиях, судорожно прижимая к груди своей... Наконец, отдавая ее мне и побледнев, как уже и мертвому нельзя более побледнеть, сказал погасающим голосом: «Возьми ее, Якуб! укрой на первых порах от злобы отца, мужа, от насмешек злых людей! возьми мою Зугру!.. Зугра, Зугра!.. Якуб, для чего ты не хочешь убить меня!..» Опасаясь новых порывов отчаяния, я схватил молодую татарку за руку и бегом, сколько позволяли то мне мои силы, бежал с нею почти до самой деревни. Она задыхалась от слез!

Пришед домой, я отдал Зугру на руки женам своим и пошел в сборную избу, узнать, что там предпринимается для поимки Хамитуллы. Мне сказали, что все пути в лесу застановлены караулами; что сам подполковник распоряжает всем этим; что позднее время года способствует всем их маневрам, потому что облетевшие листья, оставя лес обнаженным, позволяют видеть очень далеко в чашу. Несчастный Хамитулла будет пойман, неизбежно пойман!.. Возвратясь домой, я нашел Зугру спящею. Бедная была худа и бледна; она беспрестанно вздрагивала и, всхлипывая, произносила невнятно — *Хамитулла! о Хамитулла!..*

Долго будет рассказывать, барин! о всем, что я узнал от Зугры, как они жили в лесу, как были неизъяснимо счастливы и как наконец смертная тоска и предчувствие бед теснили грудь их при виде облетающих листьев. Лес, с каждым днем более обнажающийся, начинал становиться для них не убежищем, но прозрачною темницей, и вот Хамитулла решился поручить Зугру мне и бежать куда-нибудь далее до благоприятнейшего времени. Но он не мог успеть в этом; земская полиция под начальством своего исправника (военного подполковника) приняла такие деятельные меры, что через несколько дней непрерывного преследования и поисков бедный друг мой, мужественный, храбрый Хамитулла, несмотря на геройское сопротивление, был схвачен, закован в цепи, отвезен в город и посажен в тюрьму. Его судили и... Но нет, я уже не могу более говорить!

Воспоминание это растравило опять давнюю рану сердца моего! Неповинен он был в крови человеческой. Однако ж с ним поступили, как с душегубцем! Главным преступлением поставлялось ему, то, что в стычке с понятыми он ранил самого исправника и оставил его замертво распростертого на дороге. Вот вся кровь, которую пролил Хамитулла в продолжение всего бедственного скитания своего по лесам...»

Татарин закрыл лицо руками и вздыхал, или, лучше сказать, стонал, наклоня голову почти до колен... Дав время утихнуть этому порыву скорби, я спросила: «Что сделалось с Зугрою?» — «Зугру взял отец обратно; она грозила умертвить себя, если ее отдадут к мужу. Ее красота, несчастная любовь, безмолвная горесть, безотрадные слезы делали ее для всех предметом живейшего участия; но она была мертва для всего, исключая воспоминаний о Хамитулле. Днем и ночью плакала о нем, сидя за своею занавеской, и это она сложила песню, которую вы слышали от меня; в ней она представляет счастливое время любви их в дремучем волоке, их опасения близкой разлуки, страх при раздающихся голосах понятых, отыскивающих по лесу следов ее милого... и наконец последнее расставание! Вся деревня поет у нас эту песню». — «Что же значит припев: *«гайда, гайда. Хамитулла?»*» *«Гайда* значит спешу, или иди, или пойдем, смотря по тому, как придется это слово». Якуб замолчал.

Волок! дремучий волок! в твоей-то чаще непроходимой, жилище лютых зверей, горела любовь, какой нельзя выразить словами! — Хамитуллы уже давно нет; но еще раздается звук имени его в тех местах, где он был так счастлив! где он любил и был любим беспримерно! Сколько раз эхо этого леса повторяло имя его, произнесенное то шепотом любви, то грозным голосом сыщика, то, наконец, заунывным пением молодой татарки, бедной, осиротевшей Зугры!..

Наконец я дома! Отец принял меня со слезами! Я сказала, что приехала к нему отогреться. Батюшка плакал и смеялся, рассматривая шинель мою, не имеющую никакого уже цвета, простреленную, подожженную и прожженную до дыр. Я отдала ее Наталье, которая говорит, что сошьет себе капот из нее.

Рассказав отцу о добром расположении ко мне Главнокомандующего, я убедила его отпустить со мною брата; он согласился на эту жестокую для него разлуку, но только с условием дожидаться весны; сколько я ни уверяла, что для меня это невозможно, батюшка ничего слышать не хотел. «Ты можешь ехать, — говорил он, — как только выздоровеешь, но *Василия* не отпущу зимой: в такие лета! в такое смутное время! нет, нет! ступай одна, когда хочешь; его время не ушло; ему нет еще четырнадцати лет». Что мне делать? предоставляю времени ознакомить батюшку с мыслию расстаться с нежно любимым сыном; не дожидаясь и пишу к *Кутузову*, что, «желая нетерпеливо возвратиться под славные знамена его, я не надеюсь иметь счастье стать под ними вместе с братом своим, потому что старый отец не хочет отпустить от себя незрелого отрока на поле кровавых битв в такое суровое время года и убеждает меня, если можно, дожидаться теплого времени, и что я теперь совсем не знаю, что мне делать».

Я получила ответ *Кутузова*; он пишет, что я *имею полное право исполнить волю отца; что, будучи отправлена Начальником армии, я только ему одному обязана отчетом в продолжительности моего отсутствия; что он позволяет мне дожидаться весны дома, и что я ничего через это не потеряю в мнении людей, потому что опасности и труды я делила с моими товарищами до конца, и что неустрашимости моей сам Главнокомандующий очевидный свидетель*. Письмо это было писано рукою *Хитрова*, зятя *Кутузова*; руку его батюшка хорошо знал, потому что *Хитров* жил несколько времени в В**** и отец имел случай переписываться с ним. Я показала письмо батюшке, и старый

отец мой так тронут был милостями и вниманием ко мне знаменитого полководца, что не мог не заплакать. Я хотела было сохранить это письмо памятником доброго расположения ко мне славнейшего из героев России, но батюшка, взяв к себе эту бумагу, заставлял меня двадцать раз в день краснеть, показывая ее всем и давая каждому читать. Я принуждена была унести это письмо тихонько и сжечь; когда узнал отец о моем поступке, то очень оскорбился и строго выговаривал мне, укоряя в непростительном равнодушии к такому лестному вниманию первого человека в государстве. С почтительным молчанием выслушала я батюшкины упреки, но, по крайней мере, довольна была, что нескончаемое чтение письма Кутузова прекратилось.

Здесь живут пять пленных французских офицеров; трое из них очень образованные люди. Уверенность их в благоразумии Наполеона делает честь собственному их благоразумию: они указывают на карте *Смоленск* и говорят мне: *monsieur Александр, франсус тут*. Я не имею духа вывести их из счастливого заблуждения; на что мне говорить им, что безрассудные французы в западне!

Наконец после множества отлагательств батюшка решился отпустить брата: да и пора! снег весь уже стаял, я горю нетерпением возвратиться к военным действиям. Получа свободу готовиться к отъезду, я принялась за это с такою деятельностью, что в два дня все было кончено. Отец дал нам легкую двухместную коляску и своего человека до Казани, а там мы поедem уже одни. Отцу очень не хотелось отпустить брата без слуги; но я представила ему, что это могло бы иметь весьма неприятные последствия, потому что лакея ничто не удержало бы говорить все, что ему известно. Итак, решено, что мы едем одни.

[Оглавление](#)

1813 ГОД

1-го мая, в понедельник, на рассвете оставили мы дом отцовский! Совесть укоряет меня, что я не уступила просьбе батюшки не ехать в этот день. Он имеет предрассудок считать *понедельник* несчастливым; но мне надобно было уважить его, а особливо в этом случае. Отец отпускал любимого сына и расставался с ним, как с жизнью! Ах, я не права, очень не права! сердце мое не перестает укорять меня. Я воображаю, что батюшка будет грустить и думать гораздо более теперь, нежели когда б мы, согласно воле его, выехали днем позже. Человек неисправим! Сколько раз уже раскаивалась я, поступив упорно потому только, что считала себя вправе так поступить! Никогда мы не бываем так несправедливы, как тогда, когда считаем себя справедливыми. И как могла, как смела я противопоставить свою волю воле отца моего, я, которая считаю, что отец должен быть чтим детьми своими как божество? Какой демон наслал затмение на ум мой?..

За три станции не доезжая Казани коляску нашу изломало в куски: нас сбросило с косогора в широкий ров; коляска наша растрескилась, но мы, к счастью, остались оба невредимы. Теперь мы поедem в телеге. Как странна участь моя! Сколько лет уже разъезжаю я именно на том роде повозки, которой не терплю!

Москва. Митрофанов сказал нам горестную весть: *Кутузов умер!* Теперь я в самом затруднительном положении: брат мой записан в Горную службу и в ней числится, а я увезла его, не взяв никакого вида от его начальства. Как мне теперь отдать его в военную службу! При жизни Кутузова необдуманность эта не имела бы никаких последствий; но теперь я буду иметь тьму хлопот. Митрофанов советует отослать Василия домой; но с

первых слов об этом брат решительно сказал, что он ни для чего не хочет возвратиться в дом и, кроме военной службы, ни в какой другой не будет.

Смоленская дорога. Проезжая лесами, я долго не могла понять причины дурного запаха, наносимого иногда ветром из глубины их. Наконец, я спросила об этом ямщика и получила ответ, какого не могло быть ужаснее, сказанный со всем равнодушием русского крестьянина: *где-нибудь француз гниет.*

В Смоленске ходили мы по разрушенным стенам крепости; я узнала то место близ кирпичных сараев, где мы так невыгодно были помещены и так беспорядочно ретировались. Я указала его брату, говоря: «Вот здесь, Василий, жизнь моя была в опасности». Бегство французов оставило ужасные следы: тела их гниют в глубине лесов и заражают воздух. Несчастные! никогда еще ничья самонадеянность и кичливость не были так жестоко наказаны, как их! Ужасы рассказывают об их плачевной ретираде. Когда мы воротились на станцию, смотрителя не было дома; жена его просила нас войти в комнату и записать самим свою подорожную. «Лошади сейчас будут», — сказала она, садясь за свою работу и поцеловав нежно миловидную девочку, которая стояла подле нее. «Это дочь ваша?» — спросила я. «Нет, это француженка, сирота!..» Пока закладывали нам лошадей, хозяйка рассказала трогательную историю прекрасной девочки. Французы шли к нам на верную победу, на прочное житье, и в этой уверенности многие взяли с собою свои семейства. При гибельной ретираде своей, или, лучше сказать, бегстве обратно, семейства эти старались укрываться в лесах, и от стужи, и от казаков. Одно такое семейство расположилось в окрестностях Смоленска в лесу, сделало себе шалаш, развело огонь и занялось приготовлением какой-то скудной пищи, как вдруг гиканье казаков раздалось по лесу... Несчастные! к ним можно было применить стих:

Lusqu'au fond de nos coeurs notre sang s'est glace.

В глубине наших сердец кровь заледенела (франц.).

Они кинулись все врозь, куда глаза глядят, и стараясь только забежать в самую густоту леса. Старшая дочь, лет осьми девочка (эта самая, которая теперь стоит перед нами, опершись на колени своей благодетельницы, и плачет от ее рассказа), забежала в непроходимую чащу и до самого вечера ползала в глубоком снегу, не имея на себе ничего, кроме белого платья. Бедное дитя, совсем окоченевшее, выползло наконец при закате солнца на большую дорогу; оно не имело сил идти, но ползло на руках и ногах. В это время проезжал верхом казацкий офицер; он мог бы и не видеть ее, но девочка имела столько присутствия духа, что, собрав все силы, кричала ему: *mon ami! par bonte prenez moi sur votre cheval! (мой друг! сделайте милость, посадите меня на вашу лошадь! (франц.))* Удивленный казак остановил лошадь и, всматриваясь в предмет, шевелящийся на дороге, был тронут до слез, видя, что это дитя почти полунагое, потому что все ее одеяние изорвалось, руки и ноги ее были совсем заоченевши; она упала наконец без движения. Офицер взял ее на руки, сел с нею на лошадь и поехал к Смоленску. Проезжая мимо станции, он увидел жену смотрителя, стоящую у ворот. «Возьмите, сделайте одолжение, эту девочку на ваше попечение». Смотрительша отвечала, что ей некуда с ней деваться, что у нее своих детей много. «Ну, так я при ваших глазах размозжу ей голову об этот угол, чтоб избавить дальнейших страданий!» Пораженная, как громом, этою угрозой и думая уже видеть исполнение ее на самом деле, смотрительша поспешно выхватила бесчувственную девочку из рук офицера и унесла в горницу; офицер поскакал далее. Более двух месяцев дитя находилось почти при смерти; несчастное все поморозилось; кожа сходила лоскутьями с рук и ног, волосы вышли, и наконец, после сильной горячки, оно возвратилось к жизни. Теперь эта девочка живет у смотрительши как любимая дочь, выучилась говорить по-польски и, благодаря незрелости возраста своего, не сожалеет о

потерянных выгодах, на какие имела право по знатности своего рода: она из лучшей фамилии в Лионе. Многие знатные дамы, которым смотрительша рассказывала, так же, как и нам, эту историю, предлагали трогательной сироте жить у них; но она всегда отвечала, обнимая смотрительшу: «Маменька возвратила мне жизнь; я навсегда останусь с нею!» Смотрительша заплакала, оканчивая этими словами свою повесть, и прижала к груди своей рыдающее дитя. Сцена эта тронула нас до глубины души.

Курьерскую подорожную у меня взяли и дали другую только до Слонима, где все офицеры, почему-нибудь отставшие от своих полков, остаются уже под начальством *Кологривова*; и меня ожидает та же участь! На дороге съехались мы с гусарским офицером *Никифоровым*, весьма вежливым и обязательным, но немного странным. Мой повеса брат находит удовольствие сердить его на каждой станции.

Слоним. Опять я здесь; но как все изменилось! Я не могла даже отыскать прежней квартиры у старого гвардейца. Кологривов принял меня с самым строгим начальническим видом: «Что вы так долго пробыли дома?» — спросил он; я отвечала, что за болезнью. «Имеете вы свидетельство от лекаря?» — «Не имею!» — «Почему?» — «Не находил надобности брать его». Этот странный ответ рассердил Кологривова до крайности. «Вы, сударь, повеса...»

Я ушла, не дав ему кончить этого обязательного слова. Итак... что ж теперь делать? Имея на руках несовершеннолетнего брата, которого нельзя отдать в полк, потому что он числится уже в Горной службе: куда я денусь с ним! Так думала я, закрыв лицо руками и облокотясь на большой жидовский стол. Тихий удар по плечу заставил меня взглянуть на свет божий. «Что вы так задумались, Александров? вот вам приказ от Кологривова; вам должно ехать в *Лаишин* к ротмистру *Бибикову* и принять от него лошадей, которых вы будете пасти на лугах зеленых, на мураве шелковой!» Я совсем не имела охоты шутить: что я буду делать с братом? куда я дену его? взять с собою в полк, представить ему картину жизни уланской, такому незрелому юноше! сохрани боже! но что ж я буду делать?... Ах, для чего я не оставила его дома? мое умничанье растерзало сердце отца разлукою с нежно любимым сыном и вместо пользы принесло мне хлопоты и досаду!.. Печаль и беспокойство столько изменили вид мой, что *Никифоров*, наш дорожный товарищ, был тронут этим: «Оставьте у меня вашего брата, Александров, я буду ему тем же, чем были вы, и точно ту же дружбу и те же попечения увидит он от меня, как бы от самих вас». Предложение благородного Никифорова сняло тяжесть с сердца моего; я поблагодарила его от всей души и отдала ему брата, прося последнего не терять времени, писать к отцу и требовать увольнения из Горной службы. Я отдала ему все деньги, простилась и уехала в Лаишин.

Ротмистр *Бибиков*, *Рузи*, *Бурого* и я имеем поручение откармливать усталых, раненых и исхудавших лошадей всех уланских полков; на мою часть досталось сто пятьдесят лошадей и сорок человек улан для присмотра за ними. Селение, в котором квартирую, в пятнадцати верстах от Лаишина, окружено лесами и озерами. Целые дни провожу я, разъезжая верхом или прогуливаясь пешком в темных лесах и купаясь в чистых и светлых, как хрусталь, озерах.

Я занимаю обширный сарай, это моя зала; пол ее усыпан песком, стены украшены цветочными гирляндами, букетами и венками; в середине всего этого поставлено пышное ложе, во всем смысле этого слова, *пышное*: на четырех низеньких отрубках положены три широкие доски; на них настлано четверти в три вышиною мелкое душистое сено почти из одних цветов и закрыто некоторым родом бархатного ковра с яркими блестящими цветами; большая сафьянная подушка черного цвета с пунцовыми украшениями

довершает великолепие моей постели, служащей мне также диваном и креслами: я на ней сплю, лежу, сижу, читаю, пишу, мечтаю, обедаю, ужинаю и засыпаю. Теперь *июль*; в течение длинного летнего дня я ни на одну минуту не соскучиваюсь, встаю на заре в три часа, то есть просыпаюсь, и тогда же улан приносит мне кофе, которого и выпиваю стакан с черным хлебом и сливками. Позавтракав таким образом, иду осматривать свою паству, размещенную по конюшням; при мне ведут их на водопой; по веселым и бодрым прыжкам их вижу я, что уланы мои следуют примеру своего начальника: овса не крадут, не продают, но отдают весь этим прекрасным и послушным животным; вижу, как формы их, прежде искаженные худобою, принимают свою красоту, полнеют, шерсть прилегает, лоснится, глаза горят, уши, едва было не повисшие, начинают быстро двигаться и уставляться вперед; погладив и поласкав красивейших из них, приказываю оседлать ту, которая веселее прыгает, и еду гулять, куда завлечет меня любопытство или пленительный вид. В двенадцать часов возвращаюсь в свою сплетенную из хвороста залу: там готова уже мне *миска* очень вкусных малороссийских щей или *борщу* и небольшой кусок черного хлеба. Окончив обед, после которого я всегда немножко голодна, иду опять гулять или по полям, или над рекою; возвращаюсь домой часа на два, чтоб написать несколько строк, полежать, помечтать, настроить воздушных замков, опять разломать их, просмотреть наскоро свои *Записки*, не поправляя в них ничего; да и куда мне поправлять и для чего; их будет читать своя семья, а для моих все хорошо. Перед вечером иду опять гулять, купаться и наконец возвращаюсь присутствовать при вечернем водопое. После всего этого день мой заключается сценою, которая непременно каждый вечер возобновляется: теперь рабочая пора, итак при наступлении ночи все молодницы и девицы с протяжным пением (отвратительнее которого я ничего не слыхала) возвращаются с полей и густою толпою идут к деревне; у входа ее ожидают их мои уланы, тоже толпою стоящие; соединясь, обе толпы смешиваются; пение умолкает; слышен говор, хохот, визг и брань (последняя всегда от мужей); с таким гамом все они вбегают в деревню и наконец идут по домам. Иду и я лечь на пышное, мягкое, душистое ложе свое и в ту же минуту засыпаю; но завтра тот же порядок, те же сцены. Спокойствие, радость, веселые мечты, здоровье, свежий румянец — все это неразлучно со мною при теперешнем роде моей жизни, и я ни на одну минуту не чувствовала еще скуки. Природа, поселив в душе моей любовь к свободе и к своим красотам, дала мне неисчерпаемый источник радостей; как только открываю глаза поутру, тотчас чувство удовольствия и счастья пробуждается во всем моем существовании; мне совсем невозможно представить себе что-нибудь печальное, все в воображении моем блестит и горит яркими лучами. О государь! обожаемый отец наш! нет дня, в который бы я мысленно не обнимала колен твоих! Тебе обязана я счастьем, которому нет равного на земле: счастьем быть совершенно свободною! Твоему снисхождению, твоей ангельской доброте, но всего более твоему уму и великому духу, имевшему силу постигнуть возможность высоких доблестей в слабом поле! Чистая душа твоя не предполагала во мне ничего недостойного меня! не страшилась употребления во зло звания, мне данного! Истинно, государь проник душу мою. Помыслы мои совершенно беспорочны: ничто никогда не занимает их, кроме прекрасной природы и обязанностей службы. Изредка увлекаюсь я мечтами о возвращении в дом, о высокой степени, о блистательной награде, о небесном счастье — покоить старость доброго отца, доставя ему довольство и изобилие во всем! Вот одно время, в которое я плачу... Отец мой! мой снисходительный и великодушный отец! подарит ли мне милосердный бог эту неизреченную радость быть утешением и подпорою твоей старости...

Замечаю я, что носится какой-то глухой, невнятный слух о моем существовании в армии. Все говорят об этом, но никто, никто ничего не знает; все считают возможным, но никто не верит; мне не один раз уже рассказывали собственную мою историю со всеми возможными искажениями: один описывал меня красавицею, другой уродом, третий старухою, четвертый давал мне гигантский рост и зверскую наружность и так далее...

Судя по этим описаниям, я могла б быть уверенною, что никогда ничьи подозрения не остановятся на мне, если б одно обстоятельство не угрожало обратить наконец на меня замечания моих товарищей: мне должно носить усы, а их нет и, разумеется, не будет. *Назимовы*, *Солнцев* и *Лизогуб* часто уже смеются мне, говоря: «А что, брат, когда мы дождемся твоих усов? уж не лапландец ли ты?» Разумеется, это шутка; они не полагают мне более восемнадцати лет; но иногда приметная вежливость в их обращении и скромность в словах дают мне заметить, что если они не совсем верят, что я никогда не буду иметь усов, по крайней мере, сильно подозревают, что это может быть. Впрочем, сослуживцы мои очень дружески расположены ко мне и весьма хорошо мыслят; я ничего не потеряю в их мнении: они были свидетелями и товарищами ратной жизни моей.

Мне приказано сдать всех лошадей и людей старшему в команде моей унтер-офицеру, а самой отправиться к эскадрону нашего полка в команде штабс-ротмистра *Рженсницкого*. У нас их два. Старший какой-то чудак, настоящий *Шлейхер*, все знает, все видел, везде был, все делает, но службу не любит и мало ею занимается; его стихия при штабе. Но брат его — неустрашимый, опытный, правдивый офицер; всею душою предан и лагерному шуму, и острой сабле, и доброму коню. Я очень обрадовалась, что буду у него в эскадроне: терпеть не могу ничтожных эскадронных начальников; с ними в военное время беда, а в мирное — и смех и горе.

Приехав к *Рженсницкому*, я застала эскадрон на лошадях, готовый к выступлению в поход; этого я совсем не ожидала и очень была расстроена таким быстрым переходом от совершенного спокойствия к величайшей деятельности и хлопотам. — «Здравствуй, любезный *Александров*! — сказал *Рженсницкий*, — я давно тебя ожидаю; есть ли у тебя лошадь?» — «Ни лошади, ни седла, ротмистр! что я буду делать?» — «Тебе надобно остаться здесь на сутки и поискать купить седло; лошадь возьми из казенных; только на днёвке постарайся догнать эскадрон». После этого он пошел с эскадроном, а я отправилась к нашему поручику *Страхову*: нашла там многих офицеров своего полка, и один из них продал мне дрянной французский арчак за сто пятьдесят рублей. Хотя я и видела, что эта цена была безбожная, но что ж мне было делать? Если б он хотел взять пятьсот рублей за свое седло, и то должна б была заплатить.

На другой день, вместе с зарею, я встала и тотчас поехала по следам своего эскадрона. Около пяти часов пополудни приехала я в то селение, где ему назначена была днёвка: первый предмет, представившийся мне, был вахмистр в одной рубахе, привязанный у крыльца; сперва я этого не рассмотрела и хотела было отдать ему свою лошадь; но, увидя наконец, что он привязан, привязала также и свою лошадь. «За что тебя привязали?» — спросила я бедного узника. «Ведь вы видите, что за руки», — отвечал он грубо.

В Брест-Литовском, прежде выступления за границу, должно было нам выдержать инспекторский смотр. Целые два часа проливной дождь обливал нас с головы до ног. Наконец, промокшие до костей, перешли мы за рубеж России; солнце вышло из облаков и ярко заблестало; лучи его и теплый летний ветер скоро высушили наши мундиры.

Отряд наш составлен из нескольких эскадронов разных уланских полков; командиром у нас полковник *Степанов*. К нам присоединилось еще несколько эскадронов конно-егерских, которыми начальствует *Сейдлер*, тоже полковник и, кажется, старше нашего.

Пруссия. Мы идем к крепости *Модлину* и будем находиться под начальством *Клейнмихеля*. Вчера целый день шел дождь и дул холодный ветер. Нам должно переправляться через реку, хотя не широкую, но как паром не поднимает более десяти лошадей, то переправа наша будет очень продолжительна. Все наши уланы не похожи

стали на людей: так лица их посинели и почернели от холода! Хуже зимнего мороза этот холодный ветер при непрерывном мелком дожде. Мне вздумалось идти погреться в домик на горе, над самой рекою; вскарабкавшись по крутой скользкой тропинке и вошед в залу, в которой огонь, разведенный на камине, разливал благотворную теплоту, я была встречена грозным: «Зачем вы пришли?» Это спрашивал полковник Степанов, который расположился ожидать здесь, пока отряд его весь переправится. Я отвечала, что как эскадрон Литовский еще не начинал переправляться и что его очередь будет не скоро, то я пришел немного согреться. «Вам надобно быть при своем месте, — сказал сухо полковник, — ступайте сейчас». Я пошла и мысленно от всей души бранила полковника, выгнавшего меня из теплой сухой залы на холод, мокроту и темную ночь! Подойдя к берегу, я увидела, что эскадрон готовится к переправе. Я была дежурным и должна была находиться неотлучно как при переправе эскадрона, так и на походе; поставя на паром, сколько могло уместиться людей с лошадьми, я ушла в маленькую каютку на палубе, где в небольшой чугунной печке горел торф и немка варила кофе для желающих. Мягкая постель ее стояла подле самой печки; я знала, что переправа нашего эскадрона продолжится часа полтора, и для того велела смотреть за нею дежурному унтер-офицеру, которого исправность мне была известна, и, когда все кончится, уведомить меня. Распорядившись так благоразумно, уселась я на немкину постель и велела подать себе кофе, которого выпив две чашки согрелась. В каюте было не только очень тепло, но даже слишком жарко; я, однако ж, не имела никакой охоты выйти на палубу; дождь и ветер продолжались; в ожидании, пока весь эскадрон переправится и мне скажут об этом, я погрузилась в мягкие высокие подушки и уже не помню и не знаю, как заснула глубочайшим сном. Когда я проснулась, то не слышно уже было никакого шума ни от ветра, ни от дождя, ни от людей. Все было тихо; паром не шевелился, и в каюте не было никого. Удивясь этому, я проворно встала и, отворя дверь, увидела, что паром стоит у берега, что вся окрестность пуста, нигде не видно ни одного человека и что наступает день. «Что ж это значит? — думала я; — неужели обо мне забыли?» Взошед на гору, я увидела улана с моею лошадью. «Где же эскадрон?» — «Давно ушел». — «Что ж не разбудили меня?» — «Не знаю». — «Кто повел эскадрон?» — «Сам ротмистр...» Я села на лошадь. «Какой эскадрон переправился последний?» — «Оренбургский уланский». — «Давно?» — «Более двух часов». — «Что ж ты не сказал мне, когда наш эскадрон пошел?» — «Никто не знал, где вы». — «А дежурный унтер-офицер?» — «Он велел мне только взять вашу лошадь и ждать здесь на берегу». — «Далеко наши квартиры?» — «Верст пятнадцать...» Я поехала легкою рысью, будучи очень недовольна собою, своим уланом, дежурным унтер-офицером, ветром, дождем и полковником, выгнавшим меня так безжалостно. Утро сделалось прекрасное: ветер и дождь перестали, солнце взошло, и наконец я увидела близ густого леса квартиры нашего эскадрона. Приехав к своим товарищам, я нашла их покойными, довольными (то есть сытыми); они хорошо позавтракали и готовились к походу. Итак, мне оставалось голодной, не сходя с лошади, примкнуть к эскадрону и идти до новых квартир.

Модлин. Мы пришли к Модлину 10-го августа. Завтра эскадрон наш идет на пикет. *Рженсницкий* разместил всех нас на расстоянии двух верст; я в середине и главный командир этого пикета; *Ильинский* и *Рузи* по флангам, должны присылать ко мне всякое утро с извещением о всем, что у них случается, а я посылаю уже к ротмистру. Теперь я живу в маленькой пещере или землянке; к ночи половина людей моих в готовности при оседланных лошадях, а другая покоится.

Вчера Рженсницкий прислал мне бутылку превосходных сливок в награду за маленькую сшибку с неприятелем и за четырех пленных.

Видно, в Модлине большой запас ядер и пороху; стоит только показаться кому-нибудь из наших в поле, тотчас стреляют по ним из пушек, а иногда делают эту честь и для одного человека, что кажется мне чрезвычайно смешно: возможно ли в одного человека потратить ядром?..

Мы оставили Модлин и идем присоединиться к своим полкам. Наш стоит под Гамбургом.

Богемия. — Октябрь. Как живописен вид гор Богемских! Я всегда въезжаю на самую высокую из них и смотрю, как эскадроны наши тянутся по узкой дороге пестрою извилистою полосою...

Опять настала холодная, сырая погода; мы окружены густым туманом и в этом непроницаемом облаке совершаем путь свой через хребет Богемских гор. Сколько прекраснейших видов закрыто этой волнующеюся серою пеленою! К довершению неприятности у меня жестоко болят зубы.

[Оглавление](#)

НОЧЬ В БОГЕМИИ

«Ваше благородие завтра дежурным по эскадрону». — «Рано ли поход?» Вахмистр, объявлявший мне мое дежурство, отвечал, что в приказе отдано: в четыре часа утра быть на сборном месте. «Хорошо, ступай...» Сегодня до смерти устала! Только что пришли на квартиры, я отдала моего *Урагана* Киндзерскому и пустилась по первой тропинке, какая попала на глаза, идти, куда она поведет, и целый день проходила, то взбираясь на горы, то спускаясь в долины, то бегая от одного прекрасного места к другому; мне везде хотелось быть, где только я видела хорошее местоположение, а их было множество. Не прежде как по закате солнца кончилась моя прогулка. Спеша возвратиться в эскадрон, я не могла, однако ж, не остановиться еще на четверть часа, чтоб полюбоваться, как вечерний туман, подобно беловатому дыму, начинал наполнять узкие ущелья гор. Наконец я дома, то есть в эскадроне (извините, любезный батюшка! я всякий раз забываю, что вы не любите, когда я употребляю слово *дом*, говоря об эскадроне), и первую встречу был наряд на дежурство. Я позвала своего денщика: «Зануда, разбуди меня завтра на рассвете». — «Не *турбуйтесь*, ваше благородие; разбудит вас *генерал-марш!*» — «Ах, да, я и забыл, ну так не надобно».

Что может быть досаднее, как *генерал-марш* на рассвете!.. Заря еще не совсем занялась, а уже трубачи стали фронтом перед моими окнами и заиграли эту *штуку*, которая имеет волшебную силу не только прогнать сон, но и заставить в ту же секунду вставать и одеваться ленивейших из нашего вооруженного сословия. Хотя я считаюсь одним из деятельнейших офицеров, однако ж никогда еще мне так не хотелось остаться в постели на полчаса, как теперь. Но вот *Рузи* распахнул дверь настежь и влетел в полном uniforme. «Как, ты еще лежишь! а дежурство? вставай, вставай! какой ты чудак! разве не слышал *генерал-марша?*» — «Как будто можно не слышать, когда над самым ухом играют в десять труб!» — «Уж и в десять; какое великолепие! всего два трубача ездят по деревне. Однако ж вставай, ведь ротмистр шутить не любит». — «Вот еще вздумал страшать». — «Вставай, я иду выводить эскадрон...» Рузи ушел, а я в пять минут оделась. Мне что-то показалось, что к полному uniformу надобен султан, и я приказала Зануде подать его; но когда он принес, то я совсем не могла понять, что такое проклятый усач держит в руках; это была какая-то длинная, желто-бурая кисть. «Что это такое, *Зануда?*» — «Султан вашего благородия!» — «Это султан... где ж он был у тебя?» — «В чемодане!» — «И, верно, без футляра?» — «Без футляра!» — «Подай, негодный человек!..» Я с досадою

вырвала из рук остолбеневшего Зануды султан свой и, вложив его в каску, пошла к товарищам. Зануда ворчал вслед про себя: «На уroda все не в угоду; перед кем он хотел пияться с своим султаном!..» Взглянув на мои нахмуренные брови и на султан ни на что не похожий, офицеры хором захохотали: «Ах, как ты мил сегодня, Александров! Как тебе к лицу этот султан! Сегодня ты и он сотворены друг для друга!.. И к чему так украсился, позволь спросить?» — «Я дежурным». — «Так что ж?» — «Надобно быть в полной форме». — «И с султаном?» — «Да!» — «Как ты смешон... полно, брат, брось эту дрянь, а то он сломит тебе голову при теперешнем ветре». Я не послушалась.

Мы выступили. На походе Рузи сдал мне дежурство, и как он в четвертом взводе, то мы и ехали вместе за эскадроном. «Знаешь ли, Александров, где мы ночуем сегодня?» — «Знаю, в поместье барона N***». — «Ну, да! но ведь ты не воображаешь, какие удовольствия нас ожидают!» — «Какие же?» — «Мы квартируем в самом замке; барон богат, как Крез, гостеприимен; переход сегодняшний невелик, успеем прийти задолго до вечера; у барона, верно, есть дочери и фортепиано. О, я предчувствую что-то восхитительное!» — «Ты помешался, Рузи; кто тебя уверил, что барон расположен будет забавлять нас?» — «Немцы говорят, что он очень добр и любит жить весело». — «Ну, а дочери? Если их нет?» — «Найдутся...» Ветер от часу более усиливался. «Переедем, Рузи, на другую сторону; ты, кажется, правду сказал, что султан сломит мне голову; этот досадный ветер порывает его из стороны в сторону...» Мы переехали. В этот день назначено было рушиться всем надеждам Рузи. Ясное небо покрылось сперва легкими облаками, после тучами и наконец обложилось все черною непроницаемою пеленою; дождь с шумом и ветром спустился на нас рекою и нещадно поливал беззащитных улан. Пока мы успели надеть свои плащи, все уже было мокро на нас; проводники нас водили бог знает где, и короткий переход растянулся так, что мы пришли на квартиры в глубокую полночь.

Мокрые, дрожащие, обрызганные красною глиной, остановились мы наконец перед пышным замком барона N***. Ах, с какою радостью спрыгнула я с лошади; мне не верилось, что я уже на земле. Целый день на коне! целый день под дождем! Члены мои совсем одеревенели! Такой переход надолго останется в памяти.

«Что ж ты встал с лошади, Александров? — спросил ротмистр. — Разве ты забыл, что ты дежурный? садись опять и разведи людей по квартирам». — «Я могу это сделать и пешком, ротмистр», — отвечала я и, взяв в повод своего *Урагана*, пошла было перед эскадроном. Ротмистр усовестился: «Воротись, Александров! людей разместит унтер-офицер...»

Мы пошли вверх по чистой, светлой и, как стекло, гладкой лестнице; вошли в комнаты великолепные, роскошно меблированные и расположились отдыхать на креслах и диванах. Злой рок постиг все, к чему только мы прикоснулись как бы то ни было: ходили ль, стояли, сидели, везде оставляли следы красной глины, которою были обрызганы с головы до ног, или правильнее — с ног до головы.

Приветливый хозяин просил нас садиться за стол; ротмистр и товарищи мои в ту ж минуту уселись, шумно заговорили, забрячали рюмками, стаканами, тарелками, шпорами, саблями; и, полагая себя обезопасенными от дождя и ветра на всю остальную часть ночи, предались беззаботно удовольствию роскошного стола и веселого разговора.

Пользуясь их ревностным старанием около ужина, я ушла в спальню, или просто в комнату, для нас назначенную; двери из нее в столовую были растворены; несколько кроватей стояли рядом у стен. Как это не жаль барону дать такое прекрасное белье для

постелей! Одна пощада, какую могла я сделать бароновой роскоши, состояла в том, что скинула сапоги, облипнувшие глиною, в остальном же во всем легла на пуховик и пуховиком закрылась. Как все это было хорошо, чисто, бело, мягко, нежно, богато! все атлас, батист, кружева, и среди всего этого мокрый улан, забрызганный красною глиной!.. Положение мое казалось мне так забавным, что я смеялась, пока не заснула.

Я проснулась от громкого и жаркого спора нашего ротмистра с майором *Ничвалодовым* Оренбургского уланского полка: «В вашей канцелярии не умели написать», — говорил ротмистр. «Извините, — вежливо отвечал Ничвалодов, — у вас не умели прочитать». Спорили, кричали, наконец начали снова читать *приказ*, и оказалось, что Ничвалодов прав: мы не на своих квартирах. Вот ужасная весть!! Я вмиг выскочила из своего теплого приюта; ротмистр искал уже меня глазами: «Где дежурный офицер! Александров! ступайте, велите играть тревогу, да как можно громче! — Но, видя, что я не трогаюсь с места, спросил с удивлением: — Что ж вы сидите?» Ничвалодов отвечал за меня, что я в одних чулках. «Вот прекрасный дежурный! ну, сударь, идите хоть в чулках!» К счастью, денщик вошел с моими сапогами; я проворно надела их и бегом убежала, чтоб не слышать насмешливых восклицаний ротмистра: «Отличный дежурный! вам бы совсем раздеться!..» Ветер дул с воем и порывами; дождь лил, и ночь была темна, как нельзя уже быть темнее. На дворе стояли наши трубачи. «Ступайте по деревне и играйте тревогу сильнее», — сказала я им. Они поехали. Не было другого средства собрать людей наших, размещенных в деревне, растянутой версты на три по ущельям гор. Часа через полтора эскадрон собрался; мы сели на лошадей; проводники с факелами поместились впереди, назади и по бокам эскадрона; мы пошли, дрожа и проклиная поход, бурю, ротмистра и дальность квартир: нам должно было пройти еще две мили.

Отъехав с полверсты, ротмистр вдруг остановил эскадрон; мозг неугомонного начальника нашего озарила нелепая мысль оставить меня одну дожидаться людей, которые, полагал он, не слышали тревоги или не могли поспеть на сборное место. «Соберите их всех, Александров, и приведите за нами вслед на квартиры!» Прекрасное распоряжение! но делать нечего, возражать нельзя. Я осталась; эскадрон пошел, и, когда хлопанье по грязи конских копыт совсем затихло, дикий вой ветра овладел всею окрестностью. Вслушиваясь в ужасный концерт, я мечтала, что окружена злыми духами, завывающими в ущельях гор. Право, ротмистр помешался в уме! Почему он не оставил мне одного из проводников с факелом? Что я теперь буду делать? Как найду дорогу обратно в деревню? Ее не видно, огня нигде ни одной искры не светится. Неужели мне стоять тут, как на часах, и стоять до самого рассвета? Бесполезные вопросы мои самой себе были прерваны нетерпеливым прыжком моего коня; я хотела было успокоить его, лаская рукою; но это средство, прежде всегда действительное, теперь не помогло; он прыгал, подымался на дыбы, крутил головой, храпел, бил копытом в землю и ходил траверсом то в ту, то в другую сторону; не было возможности усмирить беснующегося *Урагана*. Шум окрестных лесов и вой ветра оглушали меня; но, несмотря на это, мне слышался другой шум и другой вой. Желая и страшась увериться в своей ужасной догадке, я невольно и с замиранием сердца прислушиваюсь; к неизъяснимому испугу моему, узнаю, что не обманулась; что это падает ручей в глубокую пропасть и что по ту сторону оврага воем что-то, но только не ветер. Воображение мое рисовало уже мне стаю голодных волков, терзающих моего *Урагана*, и я так занялась этим отчаянным предположением, что забыла опасность гораздо ближайшую и вовсе немечтательную: *пропасть*, в которую низвергался ручей, была в двух шагах от меня, а *Ураган* все еще не стоял смирно; наконец я вспомнила, и первым движением было броситься с лошади; но мысль, что она вырвется и убежит за эскадроном, удержала меня. Ах, добрый отец мой! что было бы с тобою, если б ты мог теперь видеть дочь свою на бешеном коне, близ пропасти, ночью, среди лесов, ущелий и в сильную бурю!.. Гибель прямо смотрела мне в глаза! Но промысл вышнего, отца нашего

на небесах, следит все шаги детей своих. Порыв ветра вырвал султан мой и понес быстро через ров прямо к кустарнику, где слышался мне, как я думала, вой волков, страшных товарищей ночной стражи моей; через минуту вой прекратился, и *Ураган* перестал прыгать. Теперь я могла бы уже встать с него, но прежнее опасение, что он вырвется, удержало меня еще раз, и я, подобно *конной статуе*, стояла неподвижно над обрывом бездны, в которую с шумом падал ручей.

Дождь давно уже перестал, ветер начал утихать, ночь сделалась светлее, и я могла явственно разглядеть предметы, меня окружавшие: за мною вплоть близ задних ног моего *Урагана* была *пропасть*! Во всю жизнь я не соскакивала так скоро с лошади, как теперь, и тотчас отвела ее от этого ужасного соседства. Всматриваясь с беспокойством в чернеющуюся глубь кустарников за оврагом, я не могла еще ничего разглядеть там; но *Ураган* покоен, итак, видно, ничего и нет. Хотелось, правда, увидеть мне и султан свой, однако ж нигде ничто не белелось, и если он не во рву, то вихрем занесло его бог знает куда. Продолжая присматриваться ко всему меня окружающему, я разглядела множество дорог, дорожек и тропинок, ведущих в горы, в ущелья и в леса; но где та, по которой мне надобно ехать? ни на одной не видно конских следов. Пока я старалась увидеть хоть малейший признак их, туман, предвестник утра, начал расстилаться вокруг меня белым облаком, сгустился и покрыл все предметы непроницаемою мглою; и вот я опять не смею сделать шагу, чтобы не сломить себе головы или не потерять вовсе уже дороги! Утомленная и опечаленная, легла я на траву подле рыхлой колоды; сперва я только облокотилась на нее, но нечувствительно склонилась и голова моя, сомкнулись глаза, и сон овладел мною совершенно.

Рай окружал меня, когда я проснулась! Солнце только что взошло; миллионы разноцветных огней горели на траве и на листьях; бездна, ручей, лес, ущелья — все, что ночью казалось так страшно, теперь было так восхитительно, свежо, светло, зелено, усеяно цветами; в ущельях столько тени и травы! Последнему обстоятельству обязана я тем, что *Ураган* не убежал; он покойно ходил по росистой траве и с наслаждением ел ее. Я пошла к нему, без труда поймала и села на него.

Не один раз уже испытала я, что *инстинкт* животного в некоторых случаях более приносит пользы человеку, нежели собственные его соображения. Только случайно могла бы я потратить на дорогу, по которой пошел эскадрон; но *Ураган*, которому я отдала на волю выбирать ее, в четверть часа вышел на ту, на которой ясно видны были глубокие следы множества кованых лошадей: это наш вчерашний путь! в версте от него, между ущельями, виднелась деревня барона N***; а вчера ротмистр оставил меня в нескольких саженьях от нее; все это возня проклятого *Урагана* отвела меня на такое пространство! Я поворотила его к деревне, чтоб посмотреть, нет ли там наших людей; но он решительно не согласился на то, поднялся на дыбы и весьма картинно повернулся на задних ногах в ту сторону, куда пошел эскадрон. Кажется, *Ураган* умнее меня: можно ли полагать, что уланы пробудут на ночлеге до восхода солнца, если б даже и остались от эскадрона?

Дав волю коню своему галопировать, как он хочет и куда хочет, я неслась довольно скоро то с горы на гору, то по закраинам глубоких оврагов. Узкая дорога круто поворачивала направо около одного глубокого обрыва, обросшего кустарником; проскакивая это место, увидела я что-то белое в кустах; я соскочила с лошади и, взяв ее в повод, побежала туда, нисколько не сомневаясь, что это мой султан, и не обманулась; это был он и лежал на ветвях кустарника в блистательной белизне; дождь вымыл его как нельзя лучше, ветер высушил, и предмет вчерашних насмешек был бел, пушист и красив, как только может быть таким волосяной султан. Вложив его в пожелтевшую каску свою, занялась я трудным маневром сесть опять на своего адского *Урагана*. Не знаю, почему я не могу

расстаться с этой лошадью, за что люблю ее? она так зла, так нетерпелива и заносчива, что голова моя всегда непрочно на плечах, когда сижу на этом воплощенном демоне. С четверть часа кружилась я с моим конем по кустарнику и, стараясь поставить ногу в стремя, прыгала на другой везде, где ему вздумалось вертеться; наконец гнев овладел мною, и я, рванув со всей силы повод, крикнула на него каким-то страшным голосом; конь присмирел, и я поспешила сесть на него.

Великий боже! на какие странные занятия осудила меня судьба моя! Мне ли кричать диким голосом, и еще так, что даже бешеная лошадь усмирилась!.. Что сказали бы прежние подруги мои, если бы услышали меня, так нелепо возопившую? Я сердилась сама на себя за свой вынужденный подвиг: за оскорбление, нанесенное нежности женского органа моим богатырским возгласом!

Красота местоположений и быстрый скок *Урагана* развеселили меня опять; я перестала досадовать и находила уже смешным и вместе необходимым средство, которым удалось мне смирить непокорного коня; но *Ураган* хотел, кажется, отплатить мне за минутный страх свой, а может быть, и чувствуя близость квартир, он начал храпеть, покручивать головой и галопировать с порывами. Я несколько оробела, зная, что когда он разгорячится, то, ничего уже не разбирая, скачет где попало; торопливые и неудачные усилия мои удержать его не служили ни к чему; я начала терять присутствие духа. Удивительно, как лошади могут скоро понять это и тотчас воспользоваться! *Ураган* полетел, как из лука стрела! Хранил меня бог, видимо, хранил! Разъярившееся животное летело со мною вовсе уже без дороги! Сначала я очень испугалась; но невозможность удержать лошадь, *ни* спрыгнуть с нее образумила меня; я старалась сохранить равновесие и держаться крепко в стремях.

Видно, в беде, как и в болезни, есть перелом: завидя вдали перед собой черную полосу, пересекающую путь мой, я обмерла и хотела сброситься с лошади; минута колебания отняла у меня время исполнить пагубное намерение; конь прискакал к истоку, клубящемуся в обрывистых берегах, и прямо бросился в него. Не помню, как я туда слетела с ним и как удержалась на седле; но тут и кончилось бешенство моего *Урагана*; исток был не шире трех сажен; укротившийся конь переплыл его вкось, взобрался с неимоверным усилием на крутой берег и пошел шагом, повинаясь уже малейшему движению поводов. Вышед опять на прямую дорогу, хотя он приметно вздрогнул от нетерпения нестись к своим товарищам, однако ж продолжал идти шагом, и, когда я позволила ему подняться в галоп, он галопировал ровно, плавно и послушно до самых квартир.

«Где изволили вояжировать? — насмешливо спросил меня ротмистр, — кажется, я поручил вам дожидаться оставшихся людей, и с ними вместе вы должны были прибыть в эскадрон. Что ж вас задержало? люди давно уже здесь». — «Я долго стоял на одном месте, ротмистр; вы не дали мне проводника с факелом, а ночь была, вы знаете, темна, как погреб, итак, я не смел никуда съехать, чтоб не упасть в ров». — «Так неужели вы стояли, как конное *изваяние* из меди, все на том же месте, где я вас оставил?» — «Несколько минут стоял; но, разумеется, кончил бы тем, что постарался бы сыскать дорогу обратно к барону в деревню, если б лошадь моя не стала беситься, чего-то испугавшись: тогда я уже занялся только ею и...» — «И не могли сладить», — перервал меня ротмистр. От этой неуместной и неприличной укоризны досада вспыхнула в сердце моем; я взяла каску в руки, чтоб выйти вон, и отвечала сухо и не глядя на ротмистра: «Ошибаетесь! я не хотел сладить: ни время, ни место не позволяли этого». Как ни хотелось мне рассказать моим товарищам происшествие бурной ночи, однако ж я удержалась; и к чему б это послужило! Для них все кажется или слишком обыкновенно, или вовсе невероятно. Например, волкам

моим они бы не поверили, сказали б, что это были собаки, что, может быть, и правда; а молодецкий скачок в реку делом столько обыкновенным, что даже нашли бы смешным слышать от меня рассказ этот за диковину. Им ведь не приходит в голову, что все обыкновенное для них очень необыкновенно для меня.

Прага. Здесь стояли мы до самой ночи; начальство города находило какое-то затруднение позволить корпусу нашему пройти через город. Наконец позволили, и мы прошли поспешно, не останавливаясь ни на минуту; за этим строго смотрели. Однако ж Ильинский, Рузи и я остались в трактире поужинать на скорую руку и после пустились догонять эскадрон вскачь, гремя по каменной мостовой. Немцы с испуга сторонились, и вслед нам раздавалось непрерывное «*швернот*». Зима здесь необыкновенно холодна; немцы приписывают это нашествию русских и, пожимаясь перед камином, говорят, что если б они могли предугадать прибытие незваных гостей, то заготовили бы больше торфу.

Гарбург. Вчера было неудачное покушение потревожить спокойствие Гарбурга. С полночи выступили мы вместе с Конноегерским полком к стенам этой крепости и расположились ожидать рассвета, для того чтоб громить ее пушками. Меня со взводом отрядили прикрывать два осадные орудия; всеми нами командовал один из начальников Ганзеатических войск. Рассвело; начали мы бросать в крепость бомбы и бросали часа два непрерывно; зажгли там два или три дома, но удостоиться ответа не могли: гарбургский гарнизон как будто вымер; нам не отплатили ни одним выстрелом. И какая цель была нашего восстания, не могу понять. Я думала, что будет приступ; но вся тревога наша кончилась тем, что мы бросили в Гарбург несколько десятков бомб и ушли обратно на свои квартиры. Экспедиция эта сделала вред одной только мне. В ожидании рассвета я легла подле орудия на мокрый песок и как теперь весна, то думаю, что от сырых испарений земли простудила голову и была целую неделю так жестоко больна, что меня нельзя было узнать, как будто после трехлетнего непрерывного страдания.

Гамбург. Ничего нет смешнее наших объездов по пикетам. Пароли, отзывы, лозунги так искажаются нашими солдатами, особливо пехотными рекрутами, что и нарочно нельзя выдумать таких нелепых названий, какие им представляются сами собою, потому что это все нерусское. И что за охота на русских пикетах давать паролем немецкий город! Сверх этого, рекрут спрашивает пароль таким образом: «*Кто идет? говори! убью!*» (Но это пустая угроза: он боится прицелиться, чтоб ружье, сверх ожидания, не выстрелило.) После этого, не дождавшись ответа, кричит во весь голос: «*Что пароль? пароль город ****» — и скажет какую-нибудь нелепость; спрашивает и отвечает сам же, а подъехавшему офицеру остается только удерживаться от смеху; впрочем, во всем есть хорошая сторона: если б бестолковый солдат, которого никак нельзя вразумить, что он должен спрашивать, а не сказывать пароль, выговаривал его как должно, то неприятельский пикет, будучи очень близко от нашего, мог бы его слышать и воспользоваться им к невыгоде нашей; но как он слышит то, чего ни понять, ни выговорить нельзя, то остается все спокойно по своим местам.

Вчерашней ночью полковник наш едва было не сломил себе головы, и хотя происшествие это само по себе нисколько не смешно, но сделалось, однако ж, столь забавным случаем, что и сам полковник рассказывал его со смехом. Ему хотелось проверить исправность своих пикетов, и он поехал осмотреть их один. Разъезжая несколько времени и не видя часовых на тех местах, где им должно было быть, полковник сильно досадовал на неисправность пикетного офицера; он думал, что часовых совсем не поставили, и был выведен из заблуждения очень смешным образом, от которого едва было не погиб. Часовые были все на местах; но как ночь была темна, как черное сукно, то они, слыша проезжающего человека, вместо оклика, таили дыхание; один из них, на беду нашего

полковника, заснул, сидя у пня, и от фыркания лошади проснулся, вскочил опрометью и дико закричал от испуга: «*Что пароль? лозунг — Гаврило!*», то есть архангел Гавриил. Лошадь кинулась в сторону и упала в яму вместе с своим всадником. По милости бога, полковник отделался легким ушибом.

[Оглавление](#)

1814 ГОД

Известие о взятии *Парижа*, заставило *Даву* сдаться. Французы вышли из Гамбурга, и военные действия прекратились. Мы теперь мирные гости датского короля. Пользуясь этим обстоятельством, я хочу объехать прекрасную *Голиитинию* одна в кабриолете, в который заложу свою верховую лошадь.

Ильинский вызвался быть моим товарищем. Мы взяли отпуск на неделю и отправились прежде в *Пениберг*. Желая пройти несколько пешком по прекрасной тенистой аллее, которая ведет от *Ютерзейна* к Пенибергу, встали мы оба с своего кабриолета; я обернула вожжи около медной шишечки спереди кабриолета и, в надежде на смирение старого коня, пустила его идти по дороге одного. Мы не заметили, что лошадь, чувствуя легкость экипажа, стала прибавлять шаг; но наконец я увидела, что она далеко ушла вперед; я побежала, чтобы остановить ее, но этим сделала то, что лошадь также побежала, и все шибче, шибче, вскачь и наконец во весь дух. Ильинский, собрав все силы, догнал было ее и схватил за оглоблю; но лошадь сшибла его на землю, переехала колесом ему через грудь и поскакала во весь опор к Пенибергу. Ильинский вскочил и, потирая грудь рукою, побежал, однако ж, вслед за исчезающею уже из виду лошадыю, я думаю, для того, что спереди на кабриолете лежал наш чемодан, где находились наши мундирные серебряные вещи и пятьсот рублей золотом; всего этого ни мне, ни ему потерять не хотелось. Однако ж и бежать до самого Пениберга не было возможности. Несмотря на это, Ильинский и лошадь скрылись у меня из глаз; я тоже пошла самым скорым шагом и нашла моего товарища и коня у самого въезда в Пениберг. Они были окружены толпою немцев; но чемодана уже не было. «Что теперь делать?» — спрашивал меня Ильинский. «Здесь есть их начальство, — сказала я, — ты хорошо говоришь по-немецки, поди к ним и расскажи, какие именно вещи были у нас в чемодане, так, верно, разыщут...» Ильинский пошел; а я, сев на кабриолет, поехала занять квартиру, где, отдав немцу-работнику лошадь свою в смотрение, пошла к начальнику этого города. Там был уже Ильинский; немцу что-то не хотелось разыскивать нашей пропажи; он говорил, что это дело невозможное: «Лошадь ваша бежала через лес одна; как можно угадать, что сделалось с вашими пожитками?...» Ильинский в досаде на такое хладнокровие к нашему невзгодью сказал, что если б это случилось в Петербурге, то через сутки пропажа была бы найдена, хотя бы несколько тысяч людей было тут замешано, и что нет в свете полиции, которая могла бы сравниться с русскою в деятельности, проницательности и остроумии средств, употребляемых ею для разыскания и открытия самых тонких мошенничеств. Эти слова свели с ума и вывели из себя хладнокровного немца: с покрасневшим лицом, сверкающими глазами и кипящею досадою вышел он поспешно из комнаты. Не видя надобности дожидаться его возврата, мы ушли на свою квартиру.

Ехать далее нам не было средств; у нас пропали все деньги, вещи и даже мундиры; мы оба остались в одних только сюртуках. Этот день мы не пили чаю, не ужинали и наутро ожидала нас печальная участь — не пить кофе, не завтракать и ехать тридцать верст обратно с пустым желудком. У меня оставалось два марка; но их надобно было употребить для лошади. Ильинский находил это несправедливым и сильно восставал против моего, как он называл, пристрастия к упрямому животному: «Счастлива эта

негодная скотина, что деньги у тебя в кармане; а если б они были у меня, так уж извини, Александров, пришлось бы твоему ослу поститься до самого Ютерзейна». — «А теперь попостимся мы, любезный товарищ, — отвечала я, — да и о чем ты хлопочешь? вообрази, что ты на биваках, на походе, что теперь военное время, *двенадцатый год*, что сухари наши и провизию бросили в воду, что казаки отняли у денщиков наших вино, жаркое и хлеб или что плуты эти сами съели все и сказали на казаков; одним словом, вообрази себя в одном из этих положений, и ты утетишься». — «Благодарю! утетишься ты один всем этим», — сказал сердито голодный Ильинский и спрятался в шкаф. Я не знаю, как иначе назвать постели затейливых немцев; это точно шкапы: растворя обе половинки дверец, найдешь там четверугольный ларь, наполненный перинами и подушками, без одеяла; если угодно тут спать, то стоит только залезть в средину всего этого, и дело кончено. Видя, что Ильинский ушел в шкаф с тем, чтоб до утра не выходить, я пошла убеждать хозяйку засветить для меня даром свечку; она исполнила мою просьбу, погладив меня по щеке и назвав добрым молодым человеком, не знаю, за что; я написала страницы две и наконец тоже легла спать на полу, вытащив из другого шкала все перины и подушки, сколько их там было.

В три часа утра я гладила и целовала доброго коня своего, который, не обращая на это внимания, ел овес, купленный на последние мои два марка; Ильинский спал; работник мазал колеса нашего кабриолета, и хозяйка спрашивала меня из окна: «*Гер офицер, волен зи кафе?*» Все эти действия были прерваны поспешным приходом гневного градоначальника. «Где ваш товарищ?» — спросил он отрывисто; в руках у него был наш чемодан. Обрадовавшись, увидя опять погибшее было наше сокровище, я побежала будить моего камрада. «Вставай, Ильинский! — кричала я, идя к дверцам его шкапа, чтоб их растворить: — вставай! наш чемодан принесли». — «Отвяжись ради бога; что ты распутился, — ворчал Ильинский невнятно, — не мешай мне спать». — «Я не шучу, Василий! вот здесь начальник Пениберга с нашим чемоданом». — «Ну, так возьми у него». — «Да это не так легко сделать; он, видно, хочет именно тебе его отдать и, как догадываюсь, вместе с каким-нибудь пышным возражением на вчерашнее твое сомнение в исправности их полиции». — «Ну, так попроси же, брат, его хоть в хозяйскую горницу, пока я встану». Через пять минут Ильинский вошел к нам. Градоначальник, до того все молчавший, стремительно встал с своего места и, подошел к Ильинскому: «Вот ваши вещи все до одной и все деньги тою самую монетою, какою были. Не думайте, чтоб полиция наша уступала в чем-нибудь вашей петербургской. Вот ваши вещи, и вот вор, — сказал он, с торжеством указывая в окно на восемнадцатилетнего юношу, стоящего на дворе. — Он вчера увидел вашу лошадь близ Пениберга, схватил с кабриолета чемодан, бросил его в ров за кусты, а лошадь отвел в город. Теперь довольны ли вы? Вора сейчас повесят, если вам угодно?» При этом ужасном вопросе, сделанном со всею немецкою важностью, Ильинский побледнел; я затрепетала, и мое желание смеяться над забавным гневом пенибергца обратилось в болезненное чувство страха и жалости. «Ах, что вы говорите! — вскрикнули мы оба вдруг, — как можно этого хотеть? нет, нет! ради бога, отпустите его...» — «Я вижу, что ошибался на счет вашей полиции; простите это моему незнанию», — прибавил Ильинский самым вежливым тоном. Успокоенный немец отпустил несчастного мальчика, который, стоя перед нашим окном, трепетал всем телом и был бледен, как полотно. Услыша, что его прощают, он всплеснул руками с таким выражением радости и так покорно стал на колени перед нашим окном, что я была тронута до глубины души, и даже сам пенибергский начальник тяжело вздохнул; наконец, он пожелал нам веселого путешествия по Голштинии и ушел.

Теперь мы уже смело потребовали кофе, сливок, сухарей и холодной дичи на дорогу. «Ах, какой счастливый характер имеешь ты, Александров, — говорил мне Ильинский, когда мы сели опять в свой кабриолет; — ты совсем не грустил о пропаже своего имущества».

— «К чему это великое слово *имущество*, Ильинский? Разве мундир, подсумок и сорок червонцев — имущество?» — «Однако ж у тебя более ничего нет». — «Нет, так будет; но твоя печаль была мне очень смешна». — «Почему?» — «Потому что тебе не привыкать быть без денег: как только заведется какой червонец, ты сейчас ставишь на карту и проигрываешь». — «Я иногда и выигрываю». — «Никогда! По крайней мере, я ни разу еще не видал тебя в выигрыше: ты игрок столько же неискусный, сколько я несчастливый». — «Неправда! Ты не можешь судить о моем искусстве; ты не имеешь никакого понятия об игре», — сказал Ильинский с досадою и после всю дорогу молчал.

За обедом мы помирились. В *Ищечое* мы ночевали и на другой день поехали к *Глюкштату*. Печальный вид Эльбы, которая здесь течет вровень с болотистыми берегами, стаи воронов с своим зловещим криком нагнали нам скуку и грусть; мы поспешили уехать оттуда и, свернув с большой дороги, поехали проселочными. В одном новом постоялом доме, как нам казалось, мы были приятно удивлены вежливым приемом и хорошим угощением. Наружность этого дома ничего не обещала более, как только картофель для обеда и солому для постели, и мы, вошед туда, спросили себе обедать, как обыкновенно спрашивают в трактирах, не обращая никакого внимания на хозяина. Но тонкая скатерть, фарфоровая посуда, серебряные ложки и солонки и хрустальные стаканы возбудили наше внимание и вместе удивление; этим не кончилось: поставя на стол кушанье, хозяин просил нас садиться и сел сам вместе с нами. Ильинский, который не терпел никакой фамильярности, спросил меня: «Что это значит? зачем этот мужик сел с нами?» — «Ради бога, молчи, — отвечала я; — может быть, это будет что-нибудь из *Тысячи и одной ночи*: кто знает, во что может превратиться наш хозяин?»... В продолжение этого разговора пришел хозяйский брат и тоже сел за стол; я не смела зачать говорить: недовольный вид Ильинского и беспечная веселость обоих крестьян до крайности смешили меня; чтоб не обидеть добродушных хозяев неуместным смехом, я старалась не смотреть на Ильинского. После обеда нам подали кофе в серебряном кофейнике, на прекрасном подносе, сливки в серебряном горшочке превосходной работы и ложечку фасона суповой разливальной ложки, тоже серебряную, ярко вызолоченную внутри. Все это поставили на стол; оба хозяина просили нас наливать для себя кофе по своему вкусу и сели пить его с нами вместе. «Что это значит? — повторял Ильинский; — простой трактир, голые стены, деревянные стулья, просто одетые люди — и прекрасный обед, превосходный кофе, фарфор, серебро, позолота, вид какого-то богатства, вкуса и вместе деревенской простоты. Как ты думаешь, Александров, что бы это такое значило?» — «Не знаю ничего, но думаю только, что нам нельзя будет здесь платить». — «Почему? а я так думаю напротив, что здесь мы заплатим вдесятеро дороже против других мест».

Мы ушли прогуливаться по прекраснейшим окрестностям, какие только могли быть на такой ровной и плоской стороне, какова Голштиния. Возвратясь, я просила Ильинского распорядиться во всем самому, требовать и расплачиваться, сказав, что на меня находит страх и я ожидаю какого-нибудь чудного явления. Нам подали чай с тою же ласкою, добродушием, богатством прибора и вкусом. Наконец надобно было ехать; лошадь наша была отлично вычищена, кабриолет вымыт, и брат хозяйский держал под уздцы коня нашего у крыльца. Я увидела, что Ильинский вертит в руках два марка. «Что ты хочешь делать? Неужели за столько усердия, ласки и угощения всеми благами земными ты хочешь заплатить двумя марками? Сделай милость, не плати ничего; поверь, что они не возьмут». — «А вот увидим», — отвечал Ильинский и с этим словом подал хозяину два марка, спрашивая, довольно ли этого? «Мы ничего не продаем, здесь не трактир», — отвечал хозяин покойно. Ильинский несколько смешался; он спрятал свои марки и сказал, смягчая голос: «Но вы так много издержали для нас». — «Для вас? Нет! я очень рад, что вы заехали ко мне; но разделил с вами только то, что всегда сам употребляю с своим семейством». — «Мы приняли вас за крестьян», — сказал Ильинский, подстрекаемый

любопытством и ожиданием какого-нибудь необыкновенного открытия; но он тотчас спустился с облаков. «Вы и не ошиблись, мы крестьяне!»... Наконец после нескольких вопросов и ответов узнали мы, что эти добрые люди получили наследство от дальнего родственника своего, богатого ямбургского купца; что не более полугода тому, как они выстроили себе этот дом, что ошибки, подобные нашей, им часто случается видеть и что мы не первые сочли дом их за трактир. «И вы всех так радушно угощаете, не выводя из заблуждения?» — «Нет, вас первых!» — «За что же?» — «Вы — русские офицеры; король наш велел нам с русскими обходиться хорошо». — «Однако ж, добрые люди, русским офицерам приятно было бы, если б вы не оставляли их так долго в тех мыслях, что они в трактире; мы все требовали так повелительно, как требуют только там, где должно заплатить». — «Вы могли угадать, что не за что платить, потому что мы обедали вместе с вами...» При этих словах Ильинский покраснел, и мы оба не говорили уже более, но поклонились доброму хозяину нашему и уехали.

Настала глубокая осень. Темные ночи, грязь, мелкий дождь и холодный ветер заставляют нас собираться перед камином то у того, то у другого из наших полковых товарищей. Некоторые из них превосходные музыканты; при очаровательных звуках их флейт и гитар вечера наши пролетают быстро и весело.

[Оглавление](#)

ПОХОД ОБРАТНО В РОССИЮ

Нет ни одного из нас, кто бы радостно оставлял *Голштинию*; все мы с глубочайшим сожалением говорим «прости» этой прекрасной стороне и ее добродушным жителям. Велено идти в Россию. Голштиния, гостеприимный край, прекрасная страна! никогда не забуду я твоих садов, цветников, твоих светлых прохладных зал, честности и добродушия твоих жителей! Ах, время, проведенное мною в этом цветущем саду, было одно из счастливейших в моей жизни!.. Я пришла к *Лопатину* сказать, что полк готов к выступлению. Полковник стоял в задумчивости перед зеркалом и причесывал волосы, кажется, не замечая этого. «Скажите, чтоб полк шел; я останусь здесь на полчаса», — сказал он, тяжело вздохнув. «О чем вы вздохнули, полковник? Разве вы не охотно возвращаетесь на родину?» — спросила я. Вместо ответа полковник еще вздохнул. Выходя от него, я увидела меньшую баронессу, одну из хозяек нашего полковника, прекрасную девицу лет двадцати четырех, всю расплаканную. Теперь я понимаю, отчего полковнику не хочется идти отсюда... Да! в таком случае *родина* — бог с ней!..

Итак, не охотно и с горестию расстались мы с Голштиниею и, конечно, уже навсегда? Там нас любили, хотя не всех — это правда; но где же любят всех!.. Нас любили по многим отношениям: как союзников, как надежных защитников, как русских, как добрых постояльцев и, наконец, как бравых молодцов; последнее подтверждается тем, что за эскадроном нашим следуют три или четыре амазонки! Все они в полной уверенности выйти замуж за тех, за кем следуют. Но разочарование ближе, нежели они думают; одна из них взята Пел***, сорокалетним женатым сумасбродом; он хочет нас уверить всех, что его *Филлида* следует за ним, уступая силе непреодолимой любви к нему! Мы слушаем, едва удерживаясь от смеху. Непреодолимая любовь к Пел***! к плешивому чучеле, смешному и глупому!.. Разве какое-нибудь очарование... — всего в свете *прекраснее его лягушачьи глаза!*

Что за странный расчет выбирать для похода самую дурную пору! Теперь глубокая осень, грязная, темная, дождливая; у нас нет другого развлечения, кроме смешных сцен между нашими влюбленными парами. Вчера вечером *Торнези* рассказывал, что был у Пел***,

son objet (его предмет (франц.)) сидела тут же, вся в черном и в глубокой задумчивости; Пел*** смотрел на нее с состраданием, которое в нем до крайности смешно и неуместно: «Вот что делает любовь, — сказал он, вздыхая; — она томится, грустит, не может жить без меня! гибельная страсть — любовь!..» Торнези едва не задохся, стараясь удержаться от хохота. «Да ведь ты с нею, чего ж ей грустить?» — «Все сомневается в моей любви; не надеется удержать меня навсегда при себе». — «Разумеется, ты ведь женат; я не понимаю, на что ты взял ее». — «Что ж мне было делать? она хотела утопиться!..» — «Я, право, не знаю, — говорил мне Торнези, — где бы она утопилась; кажется, в Ютерзейне вовсе нет реки. Пел*** долго еще врал в этом тоне; но, послушай, какой был финал всему этому и как Пел*** достоин был знать и видеть его: я вышел приказать, чтоб подали мою лошадь; возвращаясь, встретил в сенях задумчивую красавицу; она бросилась мне на шею, прижалась лицом к моему лицу и заплакала: *Cher officier! sauvez moi de ce miserable! je le deteste! je ne l'ai jamais aime; il m'a trompe!* (Милый офицер! спасите меня от этого негодяя! я его ненавижу! я никогда его не любила, он меня обманул! (франц.)) Она не имела времени более говорить; Пел*** отворил дверь из комнаты; увидя нас вместе, он ни на минуту не смутился: столько уверен в силе своей красоты и достоинстве! Проклятой шут!..»

Познань. Здесь назначено было судьбою расторгнуться всем связям любовным; я узнала это случайно; мне надобно было идти в полковую канцелярию к Я***, который теперь в должности адъютанта, потому что бедный наш *Тызин* не мог уже более не только заниматься должностью, но даже и следовать за полком; он остался в каком-то немецком городке с своею молодою и опечаленною женой. Квартира Я*** состояла из четырех комнат; в двух была канцелярия, а в двух он жил сам с *пажиком*, которого мы все называли *прекрасным бароном*. Узнав, что адъютанта нет дома, я пошла на его половину к барону; но, отворя дверь, остановилась в недоумении, не зная, идти или воротиться. По зале ходила молодая дама в величайшей горести; она плакала и ломала руки. Окинув глазами комнату и не видя прекрасного барона, я стала всматриваться в лицо плачущей красавицы и узнала в ней пажика Я-го. «Ах, *Dieu! a quai bon cette metamorphose, et de quai vous pleurez si amirement?..*» (Ах, боже! с чего такая метаморфоза, и почему вы так горько плачете?.. (франц.)) Она отвечала мне по-немецки, что она очень несчастлива, что Я*** отправляет ее обратно в Гамбург и что она теперь не знает, как показаться в свою сторону. Пожалев о ней искренно, я ушла. На другой день, на походе, не видя уже более ни одной из наших амазонок за эскадроном, я спросила Торнези, какая участь постигла их. «Самая обыкновенная и неизбежная, — отвечал он: — ими наскучили и отослали».

Обыкновенно впереди эскадрона едут песенники и поют почти во весь переход; не думаю, чтоб им это было очень весело; даже и по доброй воле наскучило бы петь целый день, а поневоле и подавно. Сегодня я была свидетельницею забавного способа заохочивать к пению: *Веруша*, унтер-офицер, *запевало*, несчастнейший из всех запевал, начинает всякую песню в нос голосом, какого отвратительнее я никогда не слыхала и от которого мы с Торнези всегда скачем, сломя голову, прочь; теперь он был что-то не в духе, а может, нездоров, и пел, по обыкновению, дурно, но, против обыкновения, тихо; *Рженсницкий* заметил это: «Ну, ну, что значит такой дохлый голос? пой, как должно!..» *Веруша* пел одинаково. «А, так я же тебе прибавлю бодрости!» — и с этим словом зачал ударять в такту нагайкою по спине поющего *Веруши*... Я увидела издали эту трагикомедию, подскакала к *Рженсницкому* и схватила его за руку: «Полно, пожалуйста, ротмистр! Что вам за охота! Ну, пойдут ли песни на ум, когда за спиной нагайка!..» Я имею некоторую власть над умом *Рженсницкого*; он послушался меня, перестал поощрять *Верушу* нагайкою и отдал ему на волю гнусить, как угодно.

Витебск. Вот мы и опять в земле родной! Меня это нисколько не радует; я не могу забыть Голштинию! Там мы были в гостях; а мне что-то лучше нравится быть гостем, нежели домашним человеком.

Квартирами полку нашему назначено местечко Яновичи, грязнейшее из всех местечек в свете. Здесь я нашла брата своего; он произведен в офицеры и, по просьбе его, переведен в наш Литовский полк. Я, право, не понимаю, отчего у нас обоих никогда нет денег? Ему дает батюшка, а мне государь, и мы вечно без денег! Брат говорит мне, что если бы пришлось идти в поход из Янович, то жида уцепятся за хвост его лошади; сильнее этого нельзя было объяснить, как много он задолжал им. «Что же делать, Василий! моя выгода только та, что я не должен, а денег все равно нет». — «У вас будут; вам пришлет государь». — «А тебе отец; а отец отдаст последние». — «И то правда; разве написать к батюшке?» — «А ты еще этого не сделал?» — «Нет!» — «Пиши, пиши с этою ж почтой».

В ожидании, пока весна установится, мы оба живем в штабе, потому что в эскадронах теперь вовсе нечего делать. Мы с братом достали какой-то непостижимый чай, как по дешевизне, так и по качеству; я заплатила за него три рубля серебром, и, сколько бы ни наливали воды в чайник, чай все одинаково крепок. Не заботясь отыскивать причину такой необыкновенности, мы пьем его с большим удовольствием.

Яновичи. Настало время экзерциций, ученья пешего, конного, настала весна. По настоянию эскадронного командира мне должно было ехать в эскадрон.

Смешная новость! К*** влюблен! Он приехал в Яновичи, чтоб взять меня с собою в эскадрон; дорогою рассказал, что он познакомился с помещицей Р*** и что молодая Р***, дочь ее, нейдет у него с ума, наконец, что он от любви и горести все спит. Справедливость слов своих он подтвердил самым действием — сейчас заснул. Все это было мне чрезвычайно смешно; но как я была одна, то смеяться что-то не приходилось, и я спокойно рассматривала чары вновь расцветшей природы. Однако ж, видно, К*** не на шутку влюблен; только что мы с ним приехали в эскадрон, он как по *инстинкту* проснулся; тотчас потребовал вахмистра, отдал наскоро ему приказание и велел закладывать других лошадей. «Поедем со мною, Александров, я тебя познакомлю». — «С кем, майор?» — «С моими соседками». — «Верно, с вашей Р***?» — «Ну, да!» — «Поедемте; я буду очень рад увидеть нашу будущую майоршу». — «Да чуть ли то не так будет, любезный! я что-то и день и ночь думаю об ней». — «Ну, так едемте скорей».

Я думала, что дорогою не будет конца разговорам К*** о красоте, достоинствах, талантах и о всех возможных совершенствах телесных и душевных божественной Р***, но очень приятно обманулась в своем опасении; К*** сел в бричку, не сказал даже — *ступай скорее!* и как будто ехал не к девице милой, прекрасной и любезной, но на какое-нибудь ученье или смотр, пустился толковать о строе, лошадях, пиках, уланах, флюгерах; одним словом, обо всем хорошем и дурном, но только *не* о том, чем, как мне кажется, должны быть заняты его мысли и сердце. Станный человек! Проговоря с полчаса как на заказ о всем нашем быту строевом, он наконец вздохнул, сказав: *еще далеко!* завернул голову шинелью, прислонился в угол брички и заснул. Я очень обрадовалась этому. Добрый человек и исправный офицер, К*** не имел ни того образования, ни тех сведений, ни даже того сорту ума, которые делают товарищество и разговор приятным; я была рада, оставшись на свободе, думать о чем хочу и смотреть на что хочу.

В этом странном любовнике все смешно! Как он может проснуться именно тогда, когда надобно! У самого подъезда он открыл глаза с таким видом, как будто не спал ни минуты; мы вышли из нашего экипажа. Входя на лестницу, я сказала К***, что он должен

представить меня дамам. «Да уж не беспокойся, я буду уметь это сделать!» Смешной ответ заставил меня бояться какой-нибудь странной рекомендации; но дело обошлось лучше, нежели я думала. К*** сказал просто, указывая на меня: «Офицер моего эскадрона Александров...» Покорившая строевое сердце К*** была лет осмнадцати девица, белая, белокурая, высокая, стройная, с длинными светлыми волосами, большими темно-серыми глазами, большим ртом, белыми зубами и с смелою гренадерскою выступкою; все это мне очень понравилось! Если б я была К***, то и я выбрала б ее в подруги жизни своей и любила б ее так же, как любит он: ехала б к ней, не спеша доехать, спала б всю дорогу и просыпалась бы у подъезда! Я сейчас познакомилась с ней и подружилась; это было кончено в полчаса. Но что меня дивило, и изумляло и восхищало, это была мать ее, прекраснейшая женщина! настоящая Венера! если б только Венера могла иметь признаки сорокалетнего возраста! На этом очаровательном лице было собрано все, что есть прекраснейшего из прелестей: блестящие черные глаза, тонкие черные брови, коралловые губы, цвет лица, превосходящий всякое описание!.. Я смотрела на нее и не могла перестать смотреть; наконец, не умея говорить иначе, как думаю, я сказала ей прямо, что не могу отвести глаз от ее лица и не могу себе представить, что за восхитительное существо была она в юности! «Да, молодой человек, вы не ошибаетесь, я была *Венера*; иного названия, ни сравнения не было мне! да, я была красавица в полном значении этого слова!..» Несмотря, что она говорит это о себе, я нахожу, что она еще очень скромна. Она говорит «была красавица», но она теперь, сию минуту необыкновенная красавица! Неужели она этого не видит!..

К*** сосватал Р***; через неделю свадьба; я очень рада. Молодая девица довольно образованна, веселого нрава и свободного, непринужденного обращения; надеюсь, мне будет очень весело в их доме, когда она сделается нашею полковою дамою. Ах, как я не люблю этих неприступных медведиц, которые, желая поддержать какой-то высший тон, не замечают того, что, вместо знатных дам, они имеют всю наружность надутых купчих. Глупые женщины!..

Вчера были мы приглашены на бал; я поехала с К***. Новобрачный, по прежнему обыкновению, заснул; а как нам надобно было ехать около десяти верст, то я имела довольно времени разговаривать с молодою майоршею. Мы рассказывали друг другу анекдоты, смешные происшествия и хохотали, не опасаясь разбудить счастливого супруга. Наконец разговор наш настроился на другой тон; мы говорили о сердце, о любви, о чувствах неизъяснимых, о постоянстве, счастии, несчастьи, уме, и бог знает о чем мы уже не говорили; я заметила в спутнице моей такой образ мыслей, который заставил меня удивиться, что она вышла за К***; я спросила ее об этом. «Я бедна, — отвечала она, — и, как видите, не красавица; сердце мое было свободно; матушка находила К*** выгодным женихом для меня, и я не видела большого затруднения исполнить волю ее». — «Пусть так, но любите ли вы его?» — «Люблю, — сказала она, помолчав с минуту, — люблю, разумеется, без страсти, без огня, но люблю как доброго мужа и как доброго человека; у него нрав превосходный; все его недостатки выкупаются его добрым сердцем».

Военный бал наш был таков же, как и все другие балы: очень весел на деле и очень скучен в описании.

Теперь я должна описать поступок, которого вот уже несколько дней с утра до вечера стыжусь. Пусть этот род исповеди будет мне наказанием.

Желая погулять по прекрасным рощам около Полоцка, я выпросилась в отпуск на неделю и, взяв в товарищи Р***, поехала с ним в поместье его отца. Лошадей давали нам только что не дохлых, но весьма уже готовых прийти в это состояние; мы ехали на простой

телеге по грязной дороге и то влеклись, то тряслись, смотря по тому, каковы были у нас лошади. Приключений с нами не было никаких, если не считать за приключение, что зазевавшийся ямщик, проезжая мимо толпы идущих крестьян, задел одного оглоблею, опрокинул его и переехал; что оскорбленные мужики шли за нами с дубинами более полуверсты, называя нас, именно *нас*, а не ямщика нашего, *псами и сорванцами*. Наконец мы приехали к реке, за которою было поместье Р***. Пока готовили паром, товарищ мой пошел в шалаш закутить трубку, а я осталась на берегу любоваться закатом солнца; в это время подошел ко мне старик лет девяноста, как мне казалось, просить милостыни; при виде его белых волос, согбенного тела, дрожащих рук, померкших глаз, его ужасной сухощавости и ветхих рубищ сожаление, глубочайшее сожаление овладело мною совершенно! Но как могло это небесное чувство смешаться с дьявольским, клянусь, не понимаю!.. Я вынула кошелек, чтоб дать бедному помощь, значительную для него; денег у меня было восемь червонцев и ассигнация в десять рублей; эту несчастную ассигнацию ни на одной станции не хотели взять у меня, считая, сомнительною, и я имела безбожие отдать ее бедному старику! «Не знаю, мой друг, — говорила я обрадованному нищему, — дадут ли тебе за нее те деньги, какие должно; но в случае, если б не дали, поди с нею к ксендзу ректору, скажи, что это я дал тебе эту ассигнацию, тогда ты получишь от него десять рублей, а эту бумажку он возвратит мне; прощай, друг мой!» Я сбежала на паром; мы переехали и через час были уже под гостеприимным кровом пана Р****. Здесь я прожила четыре дня; ходила по темным перелескам, читала, пила кофе, купалась и почти не видала в глаза семейства Р****, так как и самого его. «Гость наш немного дик, — говорила Р-му сестра его, — он с утра уходит в лес и приходит к обеду, а там опять до вечера его не видать; неужели он так делает и в полку? Умен он?» — «Не знаю; ректор хвалит его». — «Ну, похвала ректора ничего не значит. Он его без памяти любит с того времени, как узнал, что он дал десять рублей старому *Юзефу*». — «За что?» — «Вот за *что!* за что дают всякому, кто просит именем Христовым». — «Как! неужели старик Юзеф просит милостыни, и помещик его позволяет? в его лета?» — «Да, в его лета, помещик его не только позволяет, но приказывает гнать на этот промысел всякого того из своей деревни, кто не может работать почему б то ни было: по старости, слабости, болезни, несовершеннолетию, слабоумию; о, из его села изрядный отряд рассыпается каждое утро по окрестностям». — «Ужасный человек!.. Однако ж я не знал, что мой товарищ так мягкосерд к бедным». — «Товарищ твой дикарь; а дикари все имеют какую-нибудь странность». — «Неужели ты считаешь сострадание странностью?» — «Разумеется, если она чересчур. К чему давать десять рублей одному; разве он богат?» — «Не думаю; впрочем, я мало еще его знаю...» Я поневоле должна была выслушать разговор брата с сестрою. Возвратясь часом ранее обыкновенного с прогулки и не находя большого удовольствия в беседе старого Р*** и его высокоумной дочери, ушла я с книгою в беседку в конце сада; молодые Р*** пришли к этому же месту и сели в пяти шагах от меня на дерновой софе. Обязательная Р**** говорила еще несколько времени обо мне, не переставая называть дикарем и любимцем ректора; наконец брат ее вышел из терпения: «Да перестань, сделай милость, как ты мне надоела, и с ним! Я хотел поговорить с тобою о том, как убедить отца дать мне денег; теперь мачехи нет, мешать некому». — «Нет, есть кому». — «Например! не ты ли отсоветуешь?» — «Тебе грех так говорить; я люблю тебя и хотя знаю, что всякие деньги из рук твоих переходят прямо на карту, но готова б была отдать тебе и ту часть, которая следует мне, если б только имела ее в своей власти. Нет, любезный Адольф! не я помешаю отцу дать тебе деньги, а собственная его решимость, твердая, непреложная воля не давать тебе ни копейки...» Более я ничего не слыхала, но, подошед к дверям беседки, увидела брата и сестру бегущих к дому; видно, последние слова девицы Р**** привели в бешенство брата ее, он бросился бежать к отцу, а она за ним. Я поспешила туда же. Удивительно, какую власть над собою имеет старик Р****; я нашла их всех в зале; девица была бледна и трепетала; брат ее сидел на окне, сжимал судорожно спинку у кресел и тщетно старался принять спокойный вид; глаза его горели, губы

тряслись. Но старик встретил меня очень ласково и покойно спрашивал, шутя: «Уж не имеете ли вы намерения сделаться пустынником в лесах моих? Я желал бы это знать заранее, чтоб приготовить для вас хорошенькую пещеру, мох, сухие листья и все нужное для отшельничества».

Не знаю, чем кончилось между отцом и сыном, но расставанье было дружелюбное. Взмалошный Адольф привел в ужасное замешательство сестру свою, а меня просто в замешательство уверениями, что она и я очень похожи друг на друга лицом и что сестра живой его портрет; итак, мы все трое на одно лицо! Как лестно! Молодой Р*** похож, как две капли воды, на дьявола...

Наконец мы опять взмошлись на телегу и поехали. На первой станции, когда надобно было платить прогоны, я вынула кошелек, чтобы достать деньги, и очень удивилась, что из осьми червонцев двух не доставало. Я старалась припомнить, не оставляла ль кошелек на столе или на постели, когда уходила гулять; но нет, кажется, он всегда был со мною. Наконец я вспомнила и от всей души обрадовалась: червонцы, верно, запали в ассигнацию, которая лежала вместе с ними в кошельке и была свернута в восемь раз, чтобы уместиться в нем, я вынула ее и отдала нищему у паромы, не развертывая; итак, он получил от промысла божия ту помощь, которую я подала ему, но едва не испортила каким-то сатанинским расчетом! Впрочем, одно только чудовище способно дать бедному такую помощь, в недействительности которой было б оно уверено! Нет, отдавая ассигнацию, я думала только, что ее возьмут в гораздо меньшей цене, чего она стоит, и что на станциях не брали ее потому, что видели у меня золото и что поляки не терпят другой монеты, кроме звонкой.

Витебск. Я живу у комиссионера С***. Отпуск мой еще не кончился, и я проведу это время веселее здесь, нежели в эскадроне. Его королевское высочество принц *Виртембергский* любит, чтоб военные офицеры собирались у него по вечерам; я тоже там бываю; мы танцуем, играем в разные игры, и принц сам берет иногда участие в наших забавах.

[Оглавление](#)

ДУЭЛЬ

Сегодня часу в десятом утра Р*** пришел ко мне рассказать, что он поссорился с князем К*** и что князь назвал его подлецом. «Поздравляю тебя! что ж ты сделал?» — «Ничего! я сказал, что он негодай; но, кажется, он этого не слышал». — «Как все это хорошо! и ты пришел похвалиться, что тебя назвали подлецом! Я в первый раз от роду слышу, чтоб тот, кто так назвал благородного человека, остался без пощечины». Говоря это, мы оба стояли у открытого окна, и только что я кончила, князь К***, как на беду, шел мимо. Р*** позвал его; надобно думать, что К*** счел голос Р*** за мой, потому что, поклонясь вежливо, пошел тотчас ко мне; но, к величайшему удивлению своему, моему, моего хозяина и еще двух офицеров, был встречен в самых дверях от Р*** и вопросом «это меня вы назвали подлецом?», и пощечиной вдруг!! С*** просил всех нас провалиться из его дома: «Деритесь где хотите, господа, только не здесь!..» Мы все пошли за город. Разумеется, дуэль была неизбежна, но какая дуэль!.. Я даже и в воображении никогда не представляла ее себе так смешною, какою видела теперь. Началось условием: не ранить друг друга в голову; драться до первой раны. Р*** затруднился, где взять секунданта и острую саблю; я сейчас вызвалась быть его секундantom и отдала свою саблю, зная на верное, что тут, кроме смеху, ничего не будет особенного. Наконец два сумасброда вступили в бой; я никак не могла да и не для чего было сохранять важный вид; с начала до конца этой

карикатурной дуэли я невольно усмехалась. Чтоб сохранить условие не ранить по голове и, как видно, боясь смертельно собственных своих сабель, оба противника наклонились чуть не до земли и, вытянув каждый свою руку, вооруженную саблей, вперед как можно далее, махали ими направо и налево без всякого толку; сверх того, чтоб не видеть ужасного блеска стали, они не смотрели; да, как мне кажется, и не могли смотреть, потому что оба нагнулись вперед вполовину тела. Следствием этих мер и предосторожностей, чтобы сохранить первое из условий, было именно нарушение этого условия: Р*** не видя, где и как машет саблею, ударил ею князя по уху и разрубил немного; противники очень обрадовались возможности прекратить враждебные действия. Князь, однако ж, вздумал было шуметь, зачем ему в противность уговора разрубили ухо; но я успокоила его, представя, что нет другого средства поправить эту ошибку, как опять рубиться. Чудаки пошли в трактир, а я отправилась обратно к С***. «Ну, что, как кончилось?» Я рассказала. «Вы помешанный человек, Александров! что вам за охота была подстрекнуть Р***; самому ему никогда б и в мысль не пришло вызывать на дуэль, а еще менее давать пощечину». (Мне, право, не приходило в голову, что я подстрекала его к поступку, противному законам; и только теперь вижу, что С*** был прав.) Старый С*** принялся хохотать, вспомя сцену в дверях.

Надобно проститься с залюю принца Виртембергского! надобно оставить Витебск и возвратиться в грязные Яновичи. Эскадронные командиры с воплем требуют офицеров к своим местам; нечего делать, завтра еду.

Яновичи. Кажется, здешняя грязь превосходит все грязи, сколько их есть на свете. Не далее как через площадь к товарищу не иначе можно пробраться, как верхом; можно, правда, и пешком, но для этого надобно лепиться около жидовских домов, по завалинам, как можно плотнее к стенам, окнам и дверям, из которых обдает путешествующего различного рода паром и запахами, например, водки, пива, гусиного сала, козлиного молока, бараньего мяса и так далее... Можно быть уверену в насморке по окончании этого отвратительного обхода.

Витебск. В теперешний приезд мой старый С***, напуганный буйною сценою, не пустил уже меня к себе на квартиру, и мне отвели ее в доме молодой и прекрасной купчихи. Только что я расположилась там по-хозяйски пришел ко мне Херов, короткий знакомец брата. «Здравствуй, Александров! давно ли ты приехал?» — «Сейчас!» — «А брат?» — «Он в эскадроне». — «Где ты обедаешь, у принца?» — «Не знаю; я пойду явиться к принцу; если пригласит, так у него». — «Посмотри, какие славные шпоры купил я». — «Серебряные?» — «Да!..» Мы оба стояли у стола, и я облокотилась на него, чтобы поближе рассмотреть шпоры. В это время Херов наступил легонько мне на ногу; я оглянулась; вплоть подле меня стояла хозяйка: «Не стыдно ли вам, господа, говорить такие слова в доме, где живут одни женщины?..» Вот новость! я уверяла хозяйку, что слова наши могли б быть сказаны перед ангелами, не только перед женщинами. «Нет, нет! вы меня не уверите; уж я слышала!» — «Не может быть, вы ослышались, милая хозяйюшка». — «Прошу не называть меня милою, а вести себя лучше в моем доме...» Сказав это, она важно отправилась в свою половину и оставила нас думать что угодно об ее выходе. Херов взял было кивер, чтоб идти уже, но, взглянув случайно на мой кошелек и увидя, что в нем светилось золото, остановился: «Брат твой должен мне, Александров, не заплатишь ли ты за него?» — «Охотно! сколько он тебе должен?» — «Два червонца». — «Вот изволь». — «Какой ты славный малый, Александров! дарю тебе за это мои серебряные шпоры». Херов ушел, а я, приказав тотчас привинтить новые шпоры к сапогам, надела их и пошла явиться принцу.

В час пополуночи возвратилась я на свою квартиру; постель мне была постлана в маленькой комнате на полу; в доме все уже было тихо, и только в горницах хозяйки светился еще огонь. Полагая себя в совершенном уединении и полною владельницею своей комнаты, я без всяких опасений разделась. Хотела было, правда, запереть двери, но как не было крючка, то, притворя их просто, легла и кажется, что спала уже, по крайней мере, я не слыхала, как дверь в мою горницу отворилась. Я проснулась от шарканья ногами кого-то ходящего по моей комнате; первым движением моим было закрыть голову одеялом; я боялась, чтоб бродящее существо не ударило меня в лицо ногою. Не знаю почему, я не хотела спросить, кто это ходит, и к лучшему; я тотчас услышала голос, который спрашивал не совсем громко: «Где вы?» Это была хозяйка; она с нетерпением повторяла: «Где вы?» — и продолжала шаркать ногами по полу, говоря: «Да где же вы? Посмотрите, что у меня в ушах вместо серег; что-то недоброе! Кажется, в каждом висит по злему... то есть по черту! по одному только черту!..» Она смеялась при этом каким-то диким смехом, но не громким. Я пришла в ужас; не было сомнения, что хозяйка моя была сумасшедшая, что она укралась от надзора своих девок, что пришла ко мне, именно ко мне, и что она найдет меня очень скоро в комнате, которая всего полторы сажени длины и ширины. Что сделает она тогда со мною! Бог знает, какой оборот возмут тогда мысли ее! Может быть, она сочтет меня одним из тех демонов, которые, думает она, висят в ушах у ней вместо серег! Я слыхала, что сумасшедшие очень сильны, итак, в случае нападения я не надеялась выйти с честью из этого смешного единоборства. Думая все это, я таила дыхание и боялась пошевелиться; но мне сделалось до нестерпимости душно лежать с закутанною головой; я хотела открыть немного одеяло, и в этом движении дотронулась до подсвечника, он упал со стуком. Радостный крик сумасшедшей оледенил кровь мою! Но, к счастью, этот крик разбудил ее женщин; и в то самое время, когда она с восклицаниями кинулась ко мне, они вбежали и схватили ее уже падающую на меня с распростертыми руками.

Природа дала мне странное и беспокойное качество: я люблю, привыкаю, привязываюсь всем сердцем к квартирам, где живу; к лошади, на которой езжу; к собаке, которую возьму к себе из сожаления; даже к утке, курице, которых куплю для стола, мне тотчас делается жаль употребить их на то, для чего куплены, и они живут у меня, пока случайно куда-нибудь денутся. Зная за собою эту смешную слабость, я думала, что буду сожалеть и об грязных *Яновичах*, если придется с ними расставаться; однако же, слава богу, нет! Мы идем в поход, и я чрезвычайно рада, что оставляю это вечное, непросыхаемое болото. Вот одно место на всем Шаре Земном, куда бы я никогда уже не захотела возвратиться.

Полоцк. Сегодня утром, выходя из костела, увидела я Р***; он шел очень скоро и был, казалось, чем-то озабочен. Меня всегда очень забавляют его рассказы о его победах; вечно он героем какого-нибудь происшествия и из всякого выходит увенчанным или миртами или лаврами. Надеясь и теперь услышать что-нибудь подобное, побежала я за ним, догнала, поравнялась и остановила за руку: «Чем так озабочен, товарищ? Не надобен ли тебе опять секундант? я к твоим услугам...» Казалось, появление мое сделало неприятное впечатление на Р***. Это удивило меня: «Что с тобою? Куда ты так спешишь?» — «Никуда! я просто иду; тебе кланяется батюшка. Извини, брат! я виноват перед тобою: проиграл твои деньги». — «Какие мои деньги?» — «Два червонца». — «Я тебя не понимаю!» — «Разве ты не получал письма от ректора?» — «Нет!» — «А, ну так тебе и в самом деле нельзя знать ничего. Бедный старик, которому ты дал десять рублей, нашел в этой ассигнации два червонца и, полагая очень благоразумно, что ты не имел намерения дать ему такую сумму, отнес их к ректору, который, похваля редкую честность бедного, пришел с этими червонцами к батюшке. Я был тут же; ректор рассказал нам историю о червонцах и просил переслать их к тебе; я взял эту комиссию на себя; но, к несчастью, прежде чем увиделся с тобою, встретился искусительный случай попробовать счастья; я

поставил их на карту и — остался твоим должником». — «Очень рад! будь им сколько угодно; но зачем батюшка твой распорядился так нечеловеколюбиво! Деньги эти надобно было оставить у того, кому провидение их назначило». — «Ну, зафилософствовал! Я мог бы сказать тебе кой-что против этого, да уж бог с тобой, теперь некогда, иду взять в долг кордон и эполеты из офицерской суммы. Прощай!..» Сумасброд побежал, а я пошла прогуливаться. Я всегда иду очень скоро и совершенно отдаюсь мечтам, меня увлекающим. Теперь я думала о том, как прекрасна природа! как много радостей для человека в этом мире! Думала и о том, как неисповедимы пути, которыми велят нам идти к такому или другому случаю в жизни; и что самое лучшее средство сохранить мир душевный состоит в том, чтоб следовать покорно *деснице*, ведущей нас сими путями, не разыскивая, почему это или то делается так, а не иначе... Мысли мои были то важны, то набожны, то печальны, то веселы, а наконец, и сумасбродно веселы. Радостное предположение, что я буду иметь прекрасный дом, где помещу старого отца своего; что украсу его комнаты всеми удобствами и всем великолепием роскоши; что куплю ему покойную верховую лошадь; что у него будет карета, музыканты и превосходный повар!.. так восхитило меня, что я запрыгала на одном месте, как дикая коза! Теперь я вижу, что *Перретта* не выдумка. От сильного телодвижения мечты мои рассеялись. Я опять увидела себя уланским офицером, у которого все серебро на нем только, а более нигде, и что для исполнения мечтаний моих надобны, по крайней мере, чудеса, а без них ничему не бывать! Сделавшись по-прежнему уланским поручиком, я должна была в качестве этом спешить возвратиться в эскадрон, чтоб не опоздать к времени, назначенному для похода: за что иногда приходится строго отвечать!

[Оглавление](#)

1815 ГОД

В походе нашем ничего нет замечательного, кроме причины его: *Наполеон* как-то исчез с того острова, на котором союзные *государы* рассудили за благо уместить вместе с ним все его планы, замыслы, мечты, способности великого полководца и обширный гений; теперь все это опять вырвалось на волю, и вот снова движение в целой Европе!.. Двинулись войска, снова выются наши флюгера в воздухе, блистают пики, прыгают добрые кони! там сверкают штыки, там слышен барабан; грозный звук кавалерийских труб торжественно будит еще дремлющий рассвет; везде жизнь кипящая, везде движение неустанное! Тут важно выступает строй кирасирский; здесь пронеслись гусары, там летят уланы, а вот идет прекрасная, стройная, грозная пехота наша! главная защита, сильный оплот отечества — непобедимые мушкетеры!.. Хотя я люблю без памяти конницу, хоть я от колыбели кавалерист, но всякий раз, как вижу пехоту, идущую верным и твердым шагом, с примкнутыми штыками, с грозным боем барабанов, чувствую род какого-то благоговения, страха, чего-то похожего на оба эти чувства: не умею объяснить. При виде пролетающего строя гусар или улан ничего другого не придет в голову, кроме мысли: какие молодцы! какие отличные наездники! как лихо рубятся! беда неприятелю! и беда эта обыкновенно состоит в ранах более или менее опасных, в плене, и только. Но когда колонны пехоты быстрым, ровным и стройным движением несутся к неприятелю!.. тут уже нет молодцов, тут не до них: это герои, несущие смерть неизбежную! или идущие на смерть неизбежную — середины нет!.. Кавалерист наскочет, ускачет, ранит, пронесется, опять воротится, убьет иногда; но во всех его движениях светится какая-то пощада неприятелю: это все только предвестники смерти! Но строй пехоты — смерть! страшная, неизбежная смерть!

Ковно. Без дальних приключений пришли мы на границу и расположились квартирами в окрестностях этого местечка. Ведь можно же иногда попасть в убийственное положение

совсем неожиданно. Вчера постигло меня самое смешное несчастье: брат и я обедали у ковенского помещика, пана *Ст-лы*, старинного гостеприимного поляка. Несмотря на свои шестьдесят лет, Ст-ла был еще красивый молодец, из числа тех немногих людей, которые живут долго и состареваются за день только до смерти; он казался не более сорока лет; с ним вместе жили его сестра и племянница, девушка лет осьмнадцати, наружности обыкновенной. Надобно думать, что мы с братом очень понравились господину Ст-ле, потому что он не щадил ничего, чтоб сделать для нас приятным быть у него. После роскошного стола, всех родов лакомства, кофе, мороженого, одним словом, всего, чем только он мог пресытить нас, вздумалось ему довершить свое угощение изящнейшим из наслаждений, как он полагал, пением своей племянницы: *zaspięway ze, moja kochana, dla tych walecznych żołnierzy* (спой, моя дорогая, для этих доблестных воинов (польск.)). Бесполезно бедная девица уверяла, что не может петь, что она простудилась, что у нее насморк и болит горло; деспот дядя ничему не внимал и настоятельно требовал, чтоб она сию минуту пела; должно было покориться и запеть перед двумя молодыми уланами: она запела!.. Такого голоса нельзя забыть! Не имею духа ни описывать, ни делать сравнений!.. Девица была права, отбиваясь из всех сил от этого рокового пения... Услыша первые звуки ее голоса, я почувствовала содрогание во всем теле; желала бы провалиться или быть за сто верст от певицы; но... я была на диване, прямо против нее! и, к несчастью, дух-искуситель заставил меня взглянуть на брата; он не смел поднять глаз и пылал, как зарево. Я не знала, куда деваться, не знала, что делать, чтоб не захохотать; но, видя наконец безуспешность своих усилий, перестала и трудиться над этим... Я, как говорится, померла со смеху... Певица замолчала. А я!.. я, сделавшись в глазах ее дураком, безотчетным дураком, искала и не находила, чем извинить этот проклятый смех. К счастью моему, она пела русскую песню; в ней упоминалось что-то о бабочке; а девица, как полька, не умея хорошо выговорить, называла ее *бабушкою*. Я сложила всю вину на это слово, и все сделали вид, что поверили; но продолжать пение уже не просили более. Заплатя так хорошо за угощение и внимание пана Ст-лы, мы поехали обратно в Вильну, где расположился наш штаб и где мы будем стоять — впредь до повеления.

Эскадрон К*** стоит в имении бискупа князя Г***. Здесь живет сестра его, менее всего в свете похожая на то, что она есть, то есть на княжну Г***.

Вчера я в первый раз увидела нашу молодую майоршу после ее супружества: она сделалась неузнаваема: выросла и потолстела. Смотря на нее, я не верила глазам своим. Как в такое короткое время стать настоящим *богатырем Добрынею*! Я потому так назвала ее, что К*** в восхищении от ее роста и полноты, говорит всем, кто хочет его слушать: «Моя Сашенька раздобрела!»

Сегодня в полночь, возвращаясь из штаба и проезжая мимо полей, засеянных овсом, увидела я что-то белое, ворочающееся между колосьями; я направила туда свою лошадь, спрашивав «кто тут?». При этом вопросе белый предмет выпрямился и отвечал громко: «Я, ваше благородие! улан четвертого взвода». — «Что ж ты тут делаешь?» — «Стараюсь, ваше благородие!..» Я приказала ему идти на квартиру и более уж никогда не стараться... Забавный способ избрали эти головорезы откармливать своих лошадей! Заберутся с торбами в овес и обдергивают его всю ночь; это, по их, называется — *стараться*.

Дня три шел непрерывный дождь, и сегодня только проглянуло солнце. Я вывела свой взвод на зеленый луг и летала с ним два часа, то есть занималась взводным ученьем: после этого людей отпустила домой, а сама поехала еще гулять; заезжала к В***, видела его *diviniti* (божество (франц.)), которая теперь в женском платье и удивительно как похожа на кубарь; оттуда возвратилась в свое селение. Подъезжая к своей квартире, я услышала какое-то хлопанье: наконец слышу голоса, умоляющие о помиловании. Дх, боже! это у

меня наказывают палками! Кто ж это смеет? Я поскакала в галоп, и, когда вскакала на двор, К*** в ту ж минуту велел перестать и пошел ко мне навстречу: «Извини, Александров! я у тебя похозяйничал; твои уланы украли у жида восемнадцать гарнцев водки в спрятали на твоей конюшне в сено. Жида к тебе не допускали, так он приехал ко мне, и вот я все разыскал и наказал; не сердись, брат, нельзя было без этого». — «Как сердиться! напротив, я вам очень благодарен». Но досада кипела в душе моей. Что за проклятый народ эти уланы! Что за охота быть их начальником, когда перед моими глазами приезжают бить их!..

Вся наша жизнь здесь на границе проходит ни в чем: кто курит табак, кто играет в карты, стреляет в цель, объезжает лошадей, прыгают через ров, через барьер; но всего уже смешнее для меня наши вечерние собрания у того или другого офицера. Разумеется, что на этих собраниях дам нет. Несмотря на это, у нас раздается музыка, и мы танцуем одни; танцуем все — старые и молодые, мазурку, кадрили, экосезы; меня это очень забавляет. Какое удовольствие находят они танцевать без дам, особливо совершеннолетние!.. Я всегда танцую за даму.

Мы возвращаемся через Вильну обратно в Россию. Проходят дни за днями единообразно, монотонно; что было сегодня, то будет и завтра. Рассветает: играют *генерал-марш*, седлают, выводят, садятся, едут... и вот шаг за шагом вперед, к вечеру на квартирах. Ничто не нарушает спокойствия мирных маршей наших; не только что никакого происшествие, но даже ни дождь, ни ветер, ни буря, ничто не хочет разбудить спящего похода нашего! Мы идем, идем, идем, и — пройдем: вот и все тут.

Сегодня утром я обрадовалась... Стыдно бы мне это чувствовать и писать; но, право, обрадовалась, услыша плачевный вопль чей-то близ квартиры майора; по крайней мере, было для чего дать шпоры коню, прискакать, с участием спрашивать, разыскивать; я понеслась в карьер к квартире К*** и, увидя зрелище и смешное, и жалкое вместе, поспешила соскочить с лошади, чтобы остановить эту трагикомедию: майор наказывал улана *Бозье* (которого товарищи его называют — *Бозя*); бедняк с первой палки возопил горестно, простирая руки к небу: «*O mon Dieu! mon Dieu!*» (*о мой бог! мой бог! (франц.)*) — «Я тебе дам, каналья, *медю, медю!*» — говорил К***, стараясь принять сердитый вид, к которому, однако ж, комическое лицо его было несродно; но, впрочем, он в самом деле был раздосадован, и бедному *французу* досталось бы еще раз десять воскликнуть: «*о mon Dieu! mon Dieu!*» — а г-ну К*** столько же повторить свое: «я тебе дам *медю, медю*», если б я не упростила его перестать. «Ну, лентяй, благодари этого офицера, а то бы, вместо трех палок, я дал бы тебе тридцать». — «Что он сделал, майор?» — «Не слушает, братец, никого! унтер-офицер приказал ему вычистить седло, амуницию и приготовиться на вести к полковнику, а он ничего этого не сделал». — «Да понял ли он приказание унтер-офицера?» — «Вот, прекрасно! понял ли! должен понять!..» Бесполезно было бы толковать с К***, я выпросила только, чтобы он отдал бедного *Бозье* ко мне в взвод, на что он охотно согласился, говоря: «Возьми, возьми, братец, мне до смерти надоел этот *немец!*»

Великие Луки. Мы пришли! мы на месте! это наши квартиры, и все кончено!.. Исчезли очаровательные картины чужих краев! чужих нравов! Не слышно более привета добродушных честных германцев! Нет восхитительных, чарующих вечеров польских! Здесь все так важно, так холодно!.. Попробуйте попросить стакан воды у крестьянина; с минуту он еще не тронется с места, пойдет лениво, едва двигаясь; наконец даст вам воду, и как только выпили: «две копейки за труд, барин!» Провались они совсем.

Наш эскадрон квартирует в какой-то *Вязовщине*. Какое гармоническое название! Сейчас можно подобрать рифму и очень приличную. Право, я от скучных квартир, от дымных изб, грязи, дождя, холодной осени сделалась такого дурного нрава, что на все досадую: на запачканных крестьян, зачем они запачканы; на крестьянок, зачем дурны собою, зачем отвратительно одеваются, еще отвратительнее говорят; например: *свеца, на пеце, соцыла*. Проклятая! Кто подумает, что она *соцыла*, делала что-нибудь; ничего не бывало: это она *искала*.

Без смерти смерть стоять в этой *Вязовщине* без книг, без общества; лежать целый день на нарах, под облаками едкого дыма и слушать, как мелкий осенний дождь сечет в оконницы, затянутые или слюдою, или, что еще гаже, пузырем. О верх подлости!.. Нет, бог с ними, со всеми приятностями подобного квартирования; уеду в штаб.

Великие Луки. Здесь, по крайней мере, дым не ест глаз моих, и на свет божий смотрю сквозь чистые стекла! Всякий день приходит ко мне Г*** вспоминать счастливое время, проведенное в Гамбурге, и в сотый раз рассказывает о незабвенной *Жозефине*, о восхитительном вечере, в который она, приняв от него в подарок выигранные им тысячу луидоров, находила его весьма любезным целую неделю; но после двери ее всегда уже были закрыты перед ним, и он, как влюбленный испанец, приходил с гитарою перед дом, где жила эта *драгоценность*. После нескольких романсов, вздохов и разного рода глупостей он простирали руки к безмолвной каменной громаде и восклицал, как Абелард... *прибежище девиц богобоязненных, честных*? И все это он рассказывал мне совсем не шуточно, но с тяжелыми вздохами и наворачнувшимися слезами... О сумасшедший, сумасшедший Г***!

[Оглавление](#)

ДВЕ НЕДЕЛИ В ОТПУСКУ. 1816 ГОД

«*Отто Оттович!* отпустите меня в Петербург недели на две». *Штакельберг* отвечал, что этого нельзя теперь; время отпусков прошло и, сверх того, сам государь в Петербурге. «Впрочем, вы можете ехать с поручением», — сказал он, подумав с минуту. «С каким, полковник? Если не выше моего понятия, так сделайте милость, дайте мне его». — «В полк не донято из Комиссариата холста, сапог, чешуи, кой-что из оружия, сбруи, да денег тринадцать тысяч; если хотите взяться все это принять и привезть в полк, так поезжайте, я дам вам предписание». — «Справлюсь ли я с этим поручением, полковник? ведь я ничего тут не разумею». — «Да нечего и разуметь; я дам вам опытного унтер-офицера и рядовых, они все сделают; а вы должны будете взять только деньги тринадцать тысяч из Провиантского депо; ну, а на случай каких недоразумений посоветуйтесь с *Бурого*, он казначей; это по его части». — «Очень хорошо, полковник, я сейчас пойду к *Бурого*, спрошу его; и если обязанности этого поручения не выше моего понятия, то завтра же, если позволите, отправлюсь в Петербург».

От *Бурого* я не добила никакого толку; на вопрос мой, что мне должно будет делать, если буду откомандирован за приемом вещей? он отвечал: «Соблюдать строгую честность!» — «Как это? растолкуйте мне». — «Не нужно никаких толкований: будьте честны! вот и все тут; другого совета и наставления я не могу дать вам, да и не для чего». — «А этот мне не нужен! чтоб быть честным, я не имею надобности ни в советах, ни в наставлениях ваших». — «Не хорохорься, брат! молод еще; не все случаи в жизни перешел; я знаю, что говорю: будь честен!»

Бурого упряма; я знала, что если уже он заладил: «будь честен, да будь честен!», то другого ничего уже и не скажет. Бог с ним! ведь Штакельберг сказал, что пришлет мне опытного унтер-офицера; еду на авось.

Петербург. Я приехала прямо к дяде на квартиру; он все на той же и все так же доволен ею — смешной вкус у дядюшки! Квартира его на Сенной площади, и он говорит, что имеет всегда перед глазами самую живую и разнообразную картину. Вчера он подвел меня к окну: посмотри, Александр, не правда ли, что это зрелище живописное?.. Слава богу, что дядюшка не сказал — прекрасное! тогда я не могла б, не солгавши, согласиться; но теперь совесть моя покойна; я отвечала: «Да, вид картинный!» — прибавя мысленно: «только что картина фламандской школы...» Не понимаю, как можно находить хорошим что-либо неприятное для глаз! Что занимательного смотреть на толпу крестьян, неуклюжих, грубых, дурно одетых; окруженных телегами, дегтем, рогожами и тому подобными гадостями! Вот живая картина, всегда разнообразная, которою дядя мой любит уже девять лет сряду.

Сегодня дают концерт в *Филармонической зале*; иду непременно туда. Я думаю, это будет что-нибудь очаровательное: оркестр из отличных музыкантов, как говорят. Я, правда, ничего не смыслю в музыке, но люблю ее более всего: она как-то неизъяснимо действует на меня; нет добродетели, нет великого подвига, к которым я не чувствовала бы себя способною тогда, как слышу эти звуки, которых могущества ни понять, ни изъяснить не могу.

Я сидела у стены, под оркестром, лицом к собранию; подле меня сидел какой-то человек в черном фраке, средних лет, важного и благородного вида.

Зала была наполнена дамами; все они казались мне прекрасными и прекрасно убранными; я всегда любила смотреть на дамские наряды, хотя сама ни за какие сокровища не надела бы их на себя; хотя их батист, атлас, бархат, цветы, перья и алмазы обольстительно прекрасны, но мой *уланский колет лучше!* По крайней мере, он мне более к лицу, а ведь это, говорят, условие хорошего вкуса, одеваться к лицу.

Дамы беспрестанно приходили, и ряды стульев все ближе подвигались к нам — ко мне и моему соседу. «Посмотрите, как они близко, — сказала я, — неужели, мы отдадим им свое место?» — «Не думаю, — отвечал он, усмехаясь, — место наше для них неудобно». — «Вот еще ряд прибавился! Еще один, и они будут у самых колен наших!» — «А разве это худо?..» Я замолчала и стала опять рассматривать наряд вновь пришедших дам. Против меня сидела одна в розовом берете и платье, сухощавая, смуглая, но приятная лицом и с умною физиономиею; ей, казалось, было уже лет тридцать; подле кресел ее стоял генерал *Храповицкий*. Не жена ль это его? Я смотрела на нее, не сводя глаз; в наружности ее проявлялось что-то необыкновенное... Наконец я оборотилась к моему соседу: «Позвольте спросить, кто эта дама, в розовом, прямо против нас?» — «*Храповицкая*, жена этого генерала, что стоит подле ее кресел». — «Я что-то слышал...» Сосед не дал кончить: «Да, да, таких героинь у нас немного!..» Отзыв этот уколол мое самолюбие. «Кажется, была одна...» Меня опять прервали. «Да, была, но уж той нет, она умерла, не выдержала...» Вот новость! много раз случилось мне слышать собственную свою историю со всеми прибавками и изменениями, часто нелепыми; но никогда еще не говорили мне в глаза, что я умерла! с чего взяли это? Как мог пронестись слух о смерти, когда я жива, лично известна царю... Впрочем, пусть думают так, может, это к лучшему... Пока мысли эти пролетали в голове моей, я смотрела на товарища, разумеется, не видя его; он тоже смотрел на меня и, казалось, читал мысль мою в глазах: «Вы не верите? я слышал это от людей, которые доводились ей роднею...» Я не отвечала. Могильный

разговор этот испугал меня, и сверх того, боялась, чтоб он не заметил, как близко это относится ко мне. До окончания концерта я не говорила с ним ни слова.

Сегодня минула неделя, как я приехала в Петербург, и сегодня надобно мне начать свое дело. Я пошла явиться к дежурному полковнику *Доброву*; название это очень прилично ему; у него такое приятное добродушное лицо. «Когда вы приехали?» — спросил он, лишь только я кончила обыкновенную нашу форменную *скороговорку*, которою мы уведомляем наших начальников, кто мы, откуда и зачем. Я отвечала, что более недели уже как я в Петербурге. «И теперь только явились! За это надобно вам хорошенько голову вымыть. Являлись вы к князю?» — «Нет еще!» — «Ну, как же это можно! приходите ко мне в восемь часов утра, я сам поеду с вами к князю».

От Доброва я пошла в Комиссариат. Управляющий *Долинский* думал, что я кадет, только что выпущенный из корпуса, и очень удивился, когда я сказала, что десять лет уже, как я в службе.

Уланы мои мастерски крадут; я, право, не увеличиваю; они всякий день говорят мне: сегодня столько-то, а сегодня столько-то, ваше благородие, приобрели мы экономии. Сначала я не понимала этого; но теперь уже знаю: они принимают холст на меру и тут же крадут его. Чудак Бурого! не это ли он разумел, когда твердил мне — *будь честен!* Вот забавно! я что тут могу сделать? Неужели проповедовать честность людям, которые ловкую кражу считают, как спартане, молодецеством? Мы говорим улану: старайся, чтоб лошадь твоя была сыта! Он перетолковывает это приказание по-своему и старается красть овес на полях. Нет, нет, право, я не намерена хлопотать об этом вздоре; пусть крадут! Кто велел Штакельбергу давать мне такое поручение, о котором я не имею понятия? Он сказал, что даст мне опытного унтер-офицера! в добрый час! воровство пошло успешнее, как прибыл опытный унтер-офицер; теперь они говорят, что для всего лазарета достанет холста из экономии... Это я слышала, проходя мимо тюков, которые они увязывали; провались они от меня совсем, с холстом и с тюками! У меня голова заболела от таких непривычных упражнений: стоять, смотреть, считать и давать отчет.

Сегодня я пошла часу уже в одиннадцатом к своей скучной должности и, не находя большой надобности стоять именно там, где принимают вещи, прогуливалась по переходам, иногда останавливалась, облакачивалась на перилы и уносила мыслями к местам, не имеющим ни малейшего сходства с Комиссариатом. В одну из этих остановок раздался близ меня повелительный возглас: «Господин офицер!» Я оглянулась; за мной стоял какой-то чиновник в мундире с петлицами на воротнике, сухой, высокий, лицо немецкое. «Что вам угодно?» — спросила я. «Которого вы полка?..» Я сказала. «Вы, конечно, за приемом вещей?» — «Да!» — «Как же вы смели начать приемку, не дав мне знать? Как смели не явиться ко мне?..» Изумленная таким вопросом от человека, который, казалось мне, был штатской службы, я отвечала, что обязан являться только своему начальству военному. «Я ваш начальник теперь! Ко мне извольте явиться, сударь! приказываю вам это именем князя! И почему вы не рапортуете мне о успехе вашей приемки? От вас одних я ничего не знаю, ничего не получаю!» — «И вас одних я совсем не понимаю!» — «Как, как! вы смеете так сказать мне! я доложу князю». — «Я и при князе скажу вам это же самое: Я вас не понимаю; не знаю, кто вы, какие ваши права требовать от меня рапортов, отчетов, и почему я должен к вам явиться?..» Он утих: «Я советник П****! Князь поручил мне смотреть, чтобы господа приемщики не теряли времени по-пустому и чтоб приемка производилась безостановочно; для этого вы должны уведомлять меня всякий вечер, сколько чего принято. Теперь понимаете ли меня, господин офицер?» — «Понимаю». — «Итак, завтра извольте явиться ко мне за приказаниями! этого я требую именем князя». — «Нельзя, завтра я должен быть у

полковника Доброва и вместе с ним ехать к князю». — «Нет! со мною должны вы ехать; я представлю вас князю». — «Помилуйте! с какой стати вы представите меня! Это должен сделать мой настоящий начальник, военный...» От этого слова П**** чуть не рехнулся: он кричал и что-то еще приказывал именем князя; но я уже не слушала и ушла от него к своим людям. Видя, что они оканчивают на сегодня свою работу, я возвратилась к дяде, которому и рассказала смешную встречу на переходах.

На другой день пошла я к Доброву, а оттуда вместе с ним к князю. Корпусный начальник наш принял меня, как и всякого другого; выслушал, кто я, зачем и откуда. Когда кончила, он, сделав легкую уклонку головою и не обращая более на меня никакого внимания, оставил на волю делать, что хочу: стоять, сидеть, ходить, остаться у него часа на два или сейчас уехать; я выбрала последнее и поехала в Комиссариат. Там я нашла людей своих уже за работою; они опять принимали, мерили, обманывали. Я никак не считаю себя обязанною знать толк во всем этом. Зачем дают такое поручение фрунтовику офицеру? Я не казначей, не квартирмейстер; если что-нибудь приму не так, пусть пеняют на себя.

Оправдываясь таким образом сама перед собою, пошла я к графу *Аракчееву*. Пока дежурный ходил докладывать, вошел какой-то штаб-офицер. Увидя свободную поступь мою в передней графа, он, видимо, обеспокоился, надулся и начал осматривать меня, меряя глазами с головы до ног. Я не замечала этого минут пять; но, подошед к столу, чтоб посмотреть книгу, которая лежала тут раскрытою, я случайно взглянула на него; этой непочтительности не мог уже он выдержать; на лице его изображалась оскорбленная гордость. Возможно ли, простой офицер смеет ходить, смеет брать книгу в руки! одним словом, смеет двигаться в присутствии штаб-офицера! Смеет даже не замечать его, тогда как должен бы стоять на одном месте в почтительной позитуре и не спуская глаз с начальника! Все эти слова отпечатывались на физиономии штаб-офицера, когда он с презрительною миною спрашивал меня: «Кто вы? что вы такое?» Приписывая странный вопрос его неумению спросить лучше, я отвечала просто: «Офицер Литовского полка!» В эту самую минуту позвали меня к графу.

Говорят, что граф очень суров: нет, мне он показался ласковым и даже добродушным. Он подошел ко мне, взял за руку и говорил, что ему очень приятно узнать меня лично; обязательно припомнил мне, что по письмам моим выполнил все без отлагательства и с удовольствием. Я отвечала, что обязанностию сочла прийти к нему повторить лично мою благодарность за милостивое внимание. Граф простился со мною, уверяя в готовности своей делать все для меня удобное. Столько вежливости казалось мне очень несовместным с тем слухом, который носится везде о его угрюмости, неприступности, как говорят другие. Граф, может быть, только просто сердит иногда, в чем нет еще большой беды.

От графа пошла я к семейству N. N***, которое любило меня, как родного. Они собирались ехать в театр: «Не хотите ли с нами? Сегодня дают *Фингала*; вы, кажется, любите трагедии?» Я с радостью приняла это предложение. В шесть часов приехали к ним две сестры Д***, сухощавые, старые девицы: «Ах, вы, верно, едете в театр!» — «Да; не угодно ли вам вместе с нами?» — «Не стесним ли вас?» — «Нисколько!..» В семь часов пришли сказать, что карета подана, и мы пошли, я могла бы сказать, что мы высыпались к подъезду; нас было ровно восемь человек, а карета двухместная! «Как же мы поместимся?» — спросила я с удивлением. «Это я улажу, — сказал N. N***, поспешно усаживая меня в карету, — садитесь плотнее в угол!» Я думала, что он мог бы и не давать мне этого совета, потому что остальные семь человек, верно, так плотно прижмут меня в этот угол, как бы мне и не хотелось, а я, на беду, взяла с собою плащ. Не знаю, каким непостижимым средством N. N*** усадил всех нас так, что сидели покойно, не измяли нарядов и не

задохлись, хотя все мы были приличного роста и полноты, то есть не было между нами ни карлиц, ни скелетов. Хвала тактике твоей, почтенный N. N***, думала я.

В одно время с нами приехали к подъезду театра два гвардейских офицера; одна из нашего общества дам была красавица, и, к несчастью, ей первой надобно было выйти из кареты; это обстоятельство поставило нас в критическое положение. Увидя прекрасную женщину, гвардейцы остановились посмотреть и были свидетелями смешного зрелища, как нескончаемая процессия тянулась из двухместной кареты и наконец заключилась уланом, закутанным в широкий плащ.

Этот вечер смешно начался и смешно кончился: *Фингал* превосходная трагедия, но сегодня к концу действия непредвиденный случай вмиг превратил ее в комедию. Трагик, обыкновенно игравший Фингала, заболел; роль его отдали другому, для которого она была нова еще; он играл ее натянуто и торопливо; но представлявший Старна был настоящий Старн! Игра его возбуждала и участие, и удивление вместе; каждому казалось, что видит не актера, но точно царя и отца оскорбленного. Надобно думать, что превосходство игры его смущало бедного Фингала; он приходил в замешательство!.. В то самое мгновение, когда Моина должна была вбежать на сцену, смешавшийся Фингал, спеша схватить меч Оскара, толкнул как-то неловко Старна и оторвал ему бороду!.. В секунду ярый гнев старого царя утих... Партер захохотал; Моина, вбежав, остановилась, как статуя, и занавес опустился.

Вечером Долинский сказал мне, что П**** жаловался князю. «За что?» — спросила я. «Первое, что вы не явились к нему; а второе, что, вместо рапортов, пишете просто записки, сколько чего принято». — «Что ж князь?» — «Ничего, промолчал». Иначе не могло и быть; П**** вздорно жалуется; об приеме вещей, кажется, никогда не уведомляют рапортами. И что за странный человек! как он не может понять, что не вправе ожидать этого от военного офицера...

Мне ведено явиться завтра в *ордонанс-гауз* в пять часов утра. Весело мне будет идти ночью, не зная дороги и не имея у кого спросить. В этот час здесь глубокая ночь.

Меня разбудили в четыре часа; я оделась. «Что ж я буду делать, дядюшка? Как найду ордонанс-гауз? Не можете ли рассказать мне?» — «Очень могу, вот слушай...» Дядя зачал рассказывать мне весьма подробно, продолжительно и столько употреблял старания дать мне ясное понятие о моей дороге, что я именно от этого ничего и не поняла. Поблагодарив дядю за труд, я пошла на авось. Проходя мимо Гостиного двора, вздумала я перейти ближе к лавкам под крышу и только что хотела перешагнуть веревку, протянутую вдоль лавок, как страшное рычание собаки остановило меня и заставило отскочить на середину улицы. Путешествие мое в четыре часа утра по пустым улицам Петербурга, и к цели которого я не знала, как достигнуть, было бы очень занимательно для меня, если б не тревожил страх опоздать или и совсем не прийти к назначенному времени. Из всего продолжительного рассказа дяди я помнила только, что надобно идти мимо Гостиного двора; но ведь Гостиный двор имеет конец, куда ж тогда? Я подходила уже к последней лавке и хотела было направить путь свой прямо к дворцу, полагая, что такие места, как ордонанс-гауз, верно, находятся недалеко от него; итак, узнаю от часового. Стук дрожек заставил меня тотчас оставить все планы; это был экипаж извозничий; я остановила его, и кучер, не дожидаясь моего вопроса, спросил сам: «В ордонанс-гауз, барин?» — «Да!» — «Извольте, садитесь... Я сейчас только отвез туда офицера». — «Ступай же скорее!» И вот все, что было романического в вояже моем в глубокую *декабрьскую* ночь по опустевшим улицам обширного города в полном вооружении и имея в виду найти дом, к которому не знала дороги; и все это вмиг исчезло; теперь я обыкновенный офицер, поспешно едущий

на извозничьих дрожках в ордонанс-гауз; место менее всего в свете романическое, и где получу какое-нибудь приказание, сказанное тоном сухим и повелительным. «Ступай, пожалуйста, скорее! далеко еще?» — «А вот здесь», — сказал извозчик, останавливая лошадь у подъезда огромного дома, над дверьми которого была черная доска с надписью: «Ордонанс-гауз». Я взбежала по лестнице и вошла в залу; тут было множество офицеров пехотных и кавалерийских. За столом сидел адъютант и что-то писал; в камине горел огонь, я села близ него в ожидании развязки. Из офицеров никто не говорил один с другим, но все в молчании или ходили по зале, или стояли у камина, смотря задумчиво на огонь, как вдруг эта сонная сцена оживилась; вышел *Закревский*: «Господа! — по этому слову все офицеры встали в шеренгу. — Кавалерия, вперед, на правый фланг!» И вот мы, в числе четырех: кирасир, два драгуна и один улан, стали на правом фланге прямо перед лицом Закревского, он взглянул на меня очень внимательно раза два, пока отдавал нам свое приказание: «Явиться к командиру конногвардейского полка *Арсеньеву*!» Наконец нам объявили подробнее, что в конной гвардии обмундируют наших рядовых с какими-то переменами; мы выслушали и разъехались: кавалеристы домой, а покорные пехотинцы отправились прямо к Арсеньеву. Я узнала это потому, что у подъезда они, сговариваясь идти туда, спросили и нас: «А вы, господа, пойдете с нами?» — «Сегодня мне некогда», — отвечала я.

Я послала Рачинского в канцелярию конногвардейскую для примерки какого-то нового мундира. По возвращении он сказал мне: «Велено вашему благородию явиться самим туда». — «Куда?» — «В швальню к майору *Шаганову*». Наскучили мне все эти затеи! насили я развязалась с ними. Была только один раз у Арсеньева и сказала Шаганову, что буду присылать к нему улана; что мне вовсе не нужно присутствовать при этом и что я имею совсем другое поручение от своего полка. Сказав это, я ушла.

Завтра отправляюсь в полк; две *недели отпуска* миновали! Я провела их скучно: с утра до вечера в мундире, зятая, становясь во фронт, получая извещения — явиться туда! явиться сюда! Никогда более не поеду в такой отпуск.

[Оглавление](#)

ПОЕЗДКА НА ИЖЕВСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД

Я не знала, как употребить время своего четырехмесячного отпуска; в уездных городах мало средств проводить его приятно, а особенно зимою: бостон, вист, вист, бостон; пирог, закуска; закуска, пирог; вот все способы избавиться того *лишнего часа*, который найдется почти у всякого из нас. Для меня ни один из этих способов не годился; карт я не люблю, а пирог и закуска хороши только на полчаса. С месяц я прожила, однако ж, не скучая, пока было что говорить с отцом, братом, сестрами; пока было где ходить в лесах, по тропинкам, то взбираться на горы, то спускаться в овраги; наконец, узнав все места верст на двадцать кругом; переговора все, и забавное и страшное, и важное и смешное, и даже перечитав все ужасы Радклиф, увидела я, что не только один, но и все мои часы сделаются *лишними*; а отпуска оставалось еще два месяца; уехать прежде срока было бы странно; да и что-то не в обыкновении. Итак, я решила спросить батюшку, не позволит ли он мне поехать куда-нибудь недели на две. С первых слов снисходительный отец мой согласился: «Ты хорошо вздумал друг мой, — сказал батюшка, — в соседстве у нас Оружейный завод, поезжай туда. Начальник его, генерал Грен мне хороший приятель; там прекрасное

общество, составленное из людей образованных, хорошо воспитанных; у них свой театр, музыка; у многих отборная библиотека; поезжай с богом, я позволяю тебе пробывать там праздник Рождества и Новый год. Когда ты хочешь ехать?» — «Завтра, если позволите». — «Пожалуй, но успеешь ли? Ведь надобно достать повозку, у меня дорожной нет». — «У Казанцова есть готовая, недавно сделана; я куплю ее». — «А что он хочет за нее?» — «Триста рублей». — «Вели привезть, надобно посмотреть...» Я послала за повозкой; батюшке и мне показалась она стоящею гораздо более той цены, которую спросил Казанцов, и я в ту ж минуту отдала деньги. На другой день после завтрака я обняла и перецеловала всю мою семью поодиночке; с чувством прижала к сердцу руки добрейшего из отцов, поцеловала их обе и, сказав всем еще раз «прощайте», бросилась в повозку. Вся тройка, давно уже дрожавшая и от холоду, и от нетерпения, взвилась на дыбы, рванула с места разом, полозья завизжали, и повозка понеслась вихрем по дороге, углаженной и скованной морозом в тридцать градусов.

В одиннадцатом часу подъехала я к воротам полковника *Цеддельмана*. Это был старый знакомец отца моего. На осведомление мое, можно ли у них остановиться отвечали радостным криком две его своячины, молодые девицы, которых я любила без памяти; они обе выскочили на крыльцо, схватили с плеч моих шинель, бросили ее человеку в руки и умчали меня с собою в комнаты. Прошло четверть часа, прежде, нежели Цеддельман мог обнять меня, спросить о здоровье отца и предложить свое радушное гостеприимство. *Наталия* и *Мария* не выпускали меня из рук; они то обе вдруг говорили, то одна другую перебивали, так что я не знала, которую слушать. «Да перестаньте! вы одурите его, — говорил Цеддельман, смеясь и стараясь высвободить Меня из рук их; — дайте же мне поздороваться с ним...» Наконец радостный восторг моих приятельниц утих несколько; и как они сидели уже за столом, когда я приехала, то, пригласив меня ужинать, сели опять за стол. В продолжение ужина рассказали мне по порядку весь быт разных увеселений на заводе; главное был театр. «Кто же у вас актеры?» — спросила я. — «Сын генерала и много других чиновников». — «А дамы играют?» — «Ни одна». — «Кто ж играет женские роли?» — «Иногда практиканты, иногда берут кого-нибудь из генеральской канцелярии». — «И они хорошо играют?» — «Ну, как удастся; у нас отлично играют мужские роли, потому что молодой *Грен*, *Смирнов* и *Давыдов* — такие актеры, каких редко можно видеть на сцене, даже и в столице». — «Какого рода пьесы предпочтительно играют?» — «Комедии и оперы». — «Оперы?» — «Да! и какие оперы! какие голоса! какая музыка!» — «Вот, право, это любопытно видеть; я в восхищении, что вздумал сюда приехать. Часто у вас даются представления?» — «Два раза в неделю». — «Молодой Грен женат?» — «Женат, на красавице...» После ужина Наталия и ее подруга хотели было еще много рассказывать мне о разных происшествиях в их маленьком царстве; но Цеддельман увел их обеих, говоря: «До завтра, до завтра! не все вдруг; дайте ему и самому что-нибудь увидеть... Я надеюсь, вы у нас погостите?» — «Пока не наскучу вам». — «В таком случае вы останетесь у нас на всю жизнь. Вот ваша комната, желаю вам покойного сна». Я осталась у дверей, пока Цеддельман и обе девицы, перешед залу, скрылись в противоположную комнату. Тогда, отворя дверь своей комнаты и ожидая найти в ней и тепло, и светло, я очень удивилась, не найдя ни того, ни другого; из отверстой двери несло на меня холодом Гренландии, и во тьме ее белелись только окна, замерзшие на вершок толщиною. Изумление мое в ту ж секунду было прервано приходом моего человека с свечою в одной руке и жаровнею в другой. «Разве здесь нет комнаты теплее этой? тут, кажется, все равно, что на дворе». — «Что делать, сударь. Эту комнату натопить нельзя; ее всегда отдают гостям, не потому, чтоб хотели их заморозить, но потому, что она всех других приличнее для них: отдельна от спален хозяев, примыкает к зале, имеет лучшую мебель и особый ход; весь ее порок, что холодна, как собачья конура в зимнюю ночь». Слушая этот вздор моего человека, я вошла в комнату. Постель мне была сделана из мехов волчьих и медвежьих; человек поставил жаровню и на нее небольшой тазик с

спиртом, который он тотчас и зажег: «Вот, сударь, сию минуту будет тепло на целые полчаса; этого довольно, чтоб раздеться и лечь, а там уже вам будет и жарко между таким множеством шуб...» В самом деле, воздух тотчас начал согреваться. Я подошла к постели, желая рассмотреть это ложе из звериных кож; подняла верхний мех и очень удивилась и обрадовалась, увидев на самой середине волчьего меха премиленького щеночка недель шести; он спал, свернувшись клубком. Оборотясь к человеку, чтоб спросить, откуда взялось это прекрасное маленькое животное, я заметила на лице его какую-то глупоторжественную мину, по которой сейчас угадала, что это он сделал мне такую нечаянность. «Где ж взял ее?» — спросила я. «На улице; его мучили мальчишки и бросили; он начинал уже мерзнуть и чуть полз, когда я увидел его и тотчас взял. Если вам неужгодно, так позвольте мне удержать его у себя». — «Нет, пусть останется у меня...» — Я отослала человека, разделась и легла спать, взяв прежде на руки миленькую тварь, кроткую, беззащитную и одаренную от природы такою способностью любить, какой люди никогда не достигнут, несмотря ни на какие свои утонченности в чувствах...

Человек правду сказал, что мне будет жарко от шуб: я спала не более получаса и проснулась от визга миленького щенка: он упал с постели. Подняв его, я опять положила к себе под шубу; но ему, как и мне, сделалось нестерпимо жарко; он выполз наверх, растянулся на коже и дышал тяжело, хотя в горнице было до крайности холодно; видно, ему хотелось пить, и к тому ж теплота его природной шубы с теплотою мехов сделали ему жар нестерпимым; он метался по постели, падал с нее, ходил по полу и визжал; я всякий раз вставала, искала его ощупью под кроватью, опять ложилась и наконец совсем не рада стала своему приобретению. Поутру я, дрожа, одевалась в своей Лапландии и торопилась так, как никогда еще ни в каком случае не торопилась. Окончив в пять минут весь свой наряд, схватила я на руки своего маленького товарища и пошла к семейству Цеддельмана; все они были уже за чайным столом. «Это что за прелесть! — вскричали обе девицы, как только увидели мою собачку; — где вы взяли ее? неужели с собою привезли? что вчера не сказали нам? где она была?» — «Это бесприютная сирота, была вчера осуждена на смерть вашими уличными повесами; но судьбе не угодно, и вот она очутилась на моей постели в середине той полдюжины мехов, из которых она была составлена». — «Да, кстати, о мехах, было вам тепло?» — «Посреди мехов, пока лежал, разумеется, было не только тепло, но даже душно; а каково было тогда, как пришлось вставать и одеваться, так уже этого рассказать словами нельзя и надобно испытать». — «Как! да ведь мы приказали нагреть вашу комнату спиртом, пока вы еще лежите в постели». — «Ну так, видно, я не дал времени исполнить ваше приказание; я никогда не лежу в постели, проснувшись, и тотчас встаю и одеваюсь». Цеддельман прекратил пустой разговор наш, спрося меня, не хочу ли я ехать с ним к генералу? «Очень охотно, любезный полковник, поедemте!» — «А я возьму покамест вашего красавчика под свой присмотр, — сказала Мария и взяла у меня из рук собачку, — ее надобно вымыть», — говорила она, унося ее.

Нам подали сани, которые здесь зовутся *пошевнями*; экипаж довольно бедный и неприятный для глаз, по крайней мере, для моих. На облучке сидел татарин с сердитым лицом; он взглянул на нас обоих с выражением ненависти; мы сели. «Что ваш кучер так пасмурен, не болен ли?» — «О, нет! это обыкновенное выражение его физиономии; у него только вид такой, а на самом деле он очень добрый человек. Люблю этот народ! Татары во многих отношениях лучше наших...» Цеддельман сел на своего конька; он имел какое-то смешное пристрастие к татарам и, принимаясь хвалить их, нескоро оканчивал свой панегирик. Между тем мы ехали самую тихую рысью. «Все это так, почтенный полковник, но для чего мы едем почти шагом? теперь двадцать пять градусов морозу; так, вместо этого парадного шествия, нельзя ли приказать пролететь вихрем». — «Что вы! боже сохрани! *Шарын* придет в отчаяние да и просто не послушает: он любит лошадей более всего, что только может любить человек...» Я молчала; до квартиры генерала было

еще далеко, а мороз нестерпим; я решилась без согласия Шарына и Цеддельмана понуждать лошадей к бегу и стала щелкать ртом и цмукать, как то обыкновенно делают, чтобы придать живости лошадям. Средство это было успешно: лошади пустились большой рысью; пристяжная начала свиваться кольцом и подпрыгивать. «Что это, что это? держи, Шарын! Да держи, братец!..» Я перестала, но когда Шарын удержал лошадей, то опять принялась за свой маневр, и опять то же действие... «Не понимаю, что сегодня с моими лошадьми! отчего они несут?» — говорил Цеддельман. Шарын злился и ворчал что-то, упоминая *шайтана*! Он несколько не подозревал, что этим шайтаном была я. Ни Шарыну, ни Цеддельману нельзя было слышать тех подстреканий, которые я делала их лошадям: первый был глух, а последний слишком закутан. Наконец, щелкая и цмукая, бранясь и удивляясь, прыгая и извиваясь, долетели мы все к подъезду генерала.

Старый Грен принял меня очень ласково. Он был один из тех прямодушных, снисходительных и вместе строгих людей, которых служба так полезна государству во всех отношениях. Они обыкновенно исполняют свои обязанности усердно и в точности; имеют обширные сведения по своей части, потому что неусыпно вникают во все, что к ней относится; бывают любимы подчиненными, потому что исправляют их, наказывают и награждают отечески; уважаются правительством, потому что служат твердою подпорою всем его распоряжениям; таков был и старый Грен, и к этим достоинствам присоединял еще качества радушного хлебосола. «А, здравствуй! здравствуй, небывалый гость! — говорил он, обнимая меня. — Здоров ли твой батюшка? не стыдно ли тебе давно не приехать ко мне?.. Петя! Петя, — кричал он сыну, — что у нас завтра на театре?» — «Опера», — отвечал молодой Грен. «Какая?» — «Мельник». — «Роли все разобраны?» — «Все». — «Жаль! а я было хотел, чтоб и ты поступил в нашу труппу», — говорил Грен, обращаясь ко мне с усмешкою. Я отвечала, что охотно возьму какую-нибудь роль в комедии. «Ну, вот и прекрасно! Какая пьеса дастся в воскресенье?» Сын его отвечал, что будут играть *Недоросля*. «О, тут такое множество лиц! есть из чего выбрать...» Молодой Грен очень вежливо предложил мне выбрать себе любую роль: «Я прикажу ее списать для вас, потому что надобно вытвердить к репетиции». Я спросила, какую он сам обыкновенно играет? «*Кутейкина*». Я не могла не засмеяться, представляя себе этого прекрасного и статного молодого офицера в дьячковском балахоне и с пучком на затылке. «Ну так я возьму *Правдина*». Грен засмеялся в свою очередь. Возвратясь к Цеддельману, первую заботою было осведомиться о моем найденныше. Я не узнала его, так он сделался прелестен после купанья: шерсть его длинная, мягкая, блестящая была бела, как снег, кроме ушей, которые были темно-бурого цвета; мордочка остренькая, глаза большие, черные и вдобавок — прелесть необыкновенная — черные брови. В это время ее только что вынули из шубы, где она спала завернутая; и как ей было жарко, то она, чтоб свободнее дышать, разинула свой маленький рот, и розовый язычок ее вместе с черными глазами, бровями и носиком делал ее столько очаровательным творением, что я не могла насмотреться, не могла налюбоваться ею и целый день носила на руках. «Какое ж имя дадите ей?» — спрашивали меня обе девицы, «Амур, разумеется, разве можно назвать иначе такую красоту!»

Я провела у Цеддельмана три недели и во все это время была самым исправным истопником его. Я спала всегда в той же холодной горнице, которую, по невозможности натопить, перестали совсем топить; натурально, что после вставания и одевания в таком холоде я целый день не могла уже согреться и потому целый день заботилась, чтоб печи были хорошо вытоплены и жарко закрыты. Последнее обстоятельство было строго запрещено самим Цеддельманом; ему все казалось слишком тепло, хотя дом его был самый холодный и даже прославился этим качеством между всеми другими домами. Доказательством этому служило и то, что жена его и обе сестры ее ходили с утра до вечера в теплых капотах. Забавно было видеть, как Цеддельман ходил от одной печи к

другой, прикладывал руку к душнику и с восклицанием: «Ах, боже мой! как нажарили!!» поспешно закрывал его; а я ходила за ним следом и в ту ж минуту открывала. Всякий вечер он подтверждал работнику: *топить меньше*, и всякое утро этот работник получал от меня на водку, чтоб *топил больше*, и, разумеется, просьба и деньги брали верх над угрозой и приказанием. Цеддельман говорил, что он не знает, куда деваться от жару, и что совсем не может понять, какой бес овладел его работником, который, несмотря ни на какие запрещения, топил его печи не на живот — на смерть.

В продолжение этих трех недель щенок мой немного подрос и сделался еще красивее; разумеется, он был со мною неразлучно, исключая когда ездила в театр или к генералу, я отдавала его на руки одной из женщин Цеддельмана и просила ее, чтоб она не ласкала его и не кормила без меня. Мне хотелось, чтоб никто никаких прав не имел на любовь моего Амура и чтоб эта любовь вся принадлежала одной мне. Впрочем, я брала свои меры, чтоб собачка моя не нуждалась ни в чем снисхождении; прежде нежели уехать со двора, я кормила ее досыта, играла с нею, ласкала и наконец укладывала на постель, и, когда уже она засыпала, я оставляла ее на попечение Анисьи.

Вместе с окончанием праздников, святочных игр, танцев, репетиций и представлений наступило время возвратиться домой. Назначив день своего отъезда на завтра, я поехала к генералу, чтоб провести у него весь этот день. «Зачем ты так скоро хочешь ехать?» — спросил меня добродушный Грен. «Батюшке будет скучно так долго не видеть меня». — «Ну, так с богом! против этого нечего сказать...» Прощаясь со мною, генерал примолвил, что хочет подарить мне вещь, которая, он знает, будет мне очень драгоценна. По приказанию его человек принес стальной молоток отличной работы. «Вот, Александров, — сказал генерал, подавая мне его, — дарю тебе этот молоток; ты согласишься, что я не мог ничего дороже этого подарить тебе, когда узнаешь, что он был сделан для императора Александра...» Я не дала кончить, схватила молоток, поцеловала и прижала к груди. «Нет слов выразить вам мою благодарность, генерал, за такой подарок». — «Не хочешь ли узнать, по какому случаю вещь эта не достигла своего назначения и, будучи сделана для могущественного монарха, достается теперь его *protege?*» (*протееже, любимец, тот, кто пользуется покровительством (франц.)*) — «Сделайте одолжение, объясните! Вы сверх заслуг моих милостивы ко мне, генерал!» — «Ну, так слушай: государь император располагался осмотреть сам наши заводы; в этих случаях высокому посетителю показываются обыкновенно все работы, в действии которых и он берет участие; вот для этого и был сделан молоток, чтобы государь ударил им несколько раз по раскаленной полосе железа; после чего кладут на молоток штемпель с означением времени этого события и хранят уже его на все грядущие времена в воспоминание и приезда и труда августейшего отца России. Но как этот молоток вышел не так хорош, каким бы должен быть, то я велел сделать другой, а этот лежал у меня и вот долежал до того, что наконец достался в руки человека, которым царь-отец любим несравненно более, нежели другими». Поблагодарив генерала еще раз за подарок, за рассказ, радушный прием и отеческую любовь ко мне, я простилась с ним, надобно думать, навсегда.

Я застала батюшку занятого отправлением почты и, хотя знала, что он не любил, когда ему мешали в это время, однако не могла удержаться, чтоб не положить перед ним молоток. Батюшка вздрогнул от нечаянности и хотел было рассердиться, но, увидя, что это я, удовольствовался только сказать: «Эх, улан, когда ты будешь умнее! кстати ли пугать старого отца». — «Мне это и в голову не приходило, любезный батюшка; напротив, я хотела вас обрадовать. Знаете ли, какой это молоток?» — «После расскажешь, теперь некогда мне слушать; поди к сестре...» Я пошла было. «Возьми же молоток». — «Нет, батюшка, пусть он лежит перед вами! это драгоценность! вы после узнаете». Батюшка махнул рукою, и я побежала к сестре с моим *Амурчиком*, которого тотчас и

положила ей на колена. — «Ах, какая прелесть! что за прекрасная собачка! Верно, это подарок для меня», — говорила *Клеопатра*, лаская очаровательного Амура. «Нет, сестрица, извини! его уже никому и ни за что не отдам; он поедет со мною в полк». — «Как можно!» — «Да, непременно». — «Ну, так возьмите же его от меня; нечего и ласкать то, что не будет моим». — «Да, таки и не советую, я приревную». — «От вас это не новость; вы всегда хотите исключительной привязанности». — «А кто ж этого не хочет?..» Сестра замолчала и немножко надулась; я взяла свою собачку и отправилась к себе в комнату ждать окончания батюшкиных хлопот.

Выслушав историю *молотка*, отец взял его к себе и сказал, что эта вещь слишком драгоценна, чтобы он позволил мне таскать ее везде с собою, что она останется у него. Нечего делать, надобно было уступить. Я поглядела еще раз на блестящую, гладко полированную рукоять, которой назначение сначала было так велико, и отдала ее в руки отца, говоря, что мне очень приятно видеть его владельцем этой вещи.

С каждым днем более привязывалась я к моему Амуру. Да и как было не любить его! Кротость имеет неодолимую власть над нашим сердцем даже и в безобразном животном; но что же тогда, как самое доброе, самое верное и вместе самое лучшее из них смотрит вам в глаза с кроткою покорностью, следит все ваши движения, дышит только вами, не может ни минуты быть без вас, которое отдаст за вас жизнь свою. Будьте к нему несправедливы, побейте его напрасно, жестоко, хоть даже бесчеловечно; оно ложится у ног ваших, лжет их и, нимало не сердясь на вашу жестокость, ожидает одного только ласкового взгляда, чтобы кинуться к вам на руки, обнимать вас лапками, лизать, прыгать. Ах, добрейшее и несчастнейшее из животных! ты одно только любишь так, как нам всем велено любить, и одно только ты терпишь более всех от вопиющей несправедливости людей: имеет ли кто подозрение, что в пищу его положен яд, дают эту пищу собаке съесть, чтоб в том увериться!.. Состарелась собака при доме своего хозяина, служа ему, как назначила ей природа, он меняет ее на молодую. А что сделает тот, кто ее выменяет? убьет, разумеется, для кожи! Худо ловит борзая: повесить ее! За что ж все это, за что? Бедственная участь собаки вошла даже в пословицу, хотя из всех животных она одна только любит человека. Лошадь, благородное животное, расшибет лоб своему всаднику весьма равнодушно; кошка выцарапает глаза; бык поднимет при случае на рога, как бы их ни кормили, как бы ни ласкали. Один только беспримерный друг человека собака за черствый кусок хлеба остается ему и верна, и привержена по смерти. Случалось иногда, по безумию, мне самой непонятному, наказывать моего кроткого, незлобивого Амура. Бедняжка! как он вился около ног моих, ложился, ползал и наконец садился на задние лапки, смотря на меня своими прекрасными черными глазами с таким выражением покорности и печали, что я почти со слезами укоряла себя в несправедливости; я брала его на колени, гладила, целовала, и он в ту ж минуту начинал опять играть. Никогда ни на одну минуту не разлучалась я с моим Амуром. Где б я ни была, он всегда или лежал подле меня на полу, или сидел на окне, на стуле, на диване, но непременно подле меня и непременно на чем-нибудь мне принадлежащем, например на платке, перчатках или же на шинели. Без этого он не был покоен.

Однажды на рассветен выпустила его из горницы и дожидалась, пока он опять попросится в комнату; но прошло четверть часа, его нет. Я этим очень обеспокоилась и пошла искать его по двору: нет нигде! звала — нет! Смертельно испугавшись, послала человека искать его по улицам; целый час прошел в мучительном ожидании и тщетных поисках. Наконец собачка моя пришла и села за воротами. Услышав лай ее, я выглянула в окно и не могла не рассмеяться, увидев, что она, как большая, подняла мордочку кверху и завывала. Но я дорого заплатила за этот смех! Сердце мое и теперь обливается кровью при воспоминании этого воя! это было предчувствие... Я взяла беглеца моего в горницу и, видя, что он весь

мокр от росы, положила его на подушку и закрыла своим архалухом; он тотчас заснул; Но увы! не спала его злая участь. Через час я оделась и хотела, по обыкновению, идти гулять. Что-то говорило мне, чтоб я шла одна... Но когда ж мы слушаем тайных предостережений! они так тихи, так кротки... Я сняла архалух с спящей собачки: «Пойдем гулять, Амур!» Амур вскочил и запрыгал. Мы пошли; он бежал передо мною.

Через час я уже несла его на руках, бледная, трепеща всеми членами. Он еще дышал; но как!! Дух проходил в две широкие раны, сделанные зубами чудовищной собаки. Амур умер на руках моих... С того времени мне часто случалось и танцевать всю ночь, и смеяться много, но истинного веселия никогда уже не было в душе моей: оно легло в могилу моего Амура... Многие найдут это странным; может быть, и хуже, нежели странным... как бы то ни было, но смерть моего маленького друга выжимает невольные слезы из глаз моих среди самых веселых собраний. Я не могу забыть его!..

Сегодня я уезжаю. Батюшка, прощаясь со мною, сказал: «Не пора ли оставить меч? я стар; мне нужен покой и замена в хозяйстве; подумай об этом». Я испугалась такого предложения!.. Мне казалось, что вовсе не надобно никогда оставлять меча; а особливо в мои лета, — что я буду делать дома! Так рано осудить себя на монотонные занятия хозяйства! Но отец хочет этого!.. Его старость!.. Ах! нечего делать. Надобно сказать всему прости!.. и светлому мечу, и доброму коню... друзьям!.. веселой жизни!.. ученью, парадам, конному строю!.. скачке, рубке... всему, всему конец!.. Все затихнет, как не бывало, и одни только незабвенные воспоминания будут сопровождать меня на дикие берега Камы; в те места, где цвело детство мое; где я обдумывала необыкновенный план свой!!

Минувшее счастье!.. слава!.. опасности!.. шум!.. блеск!.. жизнь, кипящая деятельностью!.. *прощайте!*

[Оглавление](#)

Н.А. Дурова
Добавления к «Кавалерист-девица»

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ

«Вот и еще рассвет семнадцатого сентября!.. и все еще он алеет за Камою!.. все еще я дома!.. Все еще в белом платье девическом!..» Так думала я на заре того дня, в который исполнилось мне четырнадцать лет.

Когда я оделась, чтоб идти в церковь, матушка позвала меня. В этот день я не ожидала брани, однако ж голос ее произвел на меня обыкновенное свое действие: я испугалась.

Веселый вид матери успокоил меня: она ласково дала мне поцеловать свою руку и поздравила со днем именин, но замечая, что я беспрестанно смотрю на свой розовый кушак: «Долго ль твердить тебе, что ты не имеешь права на самолюбие?.. Красивая

розовая лента не имеет ничего общего с тобою!.. Она красива сама по себе и тебе ничего не придает!..» Я покраснела. «Пора тебе идти в церковь. Ступай, да, пожалуйста, смотри на образа, а не на свою ленту».

День прошел в играх с моими подругами; и как этого года у нас была дивная осень, ничем не хуже весны, то нам позволено было идти гулять на Старцову гору.

Казалось, я хотела наверстать принуждение целого года, потому что бегала во весь дух; скакала, как дикая коза; разбегалась с горы и перескакивала кусты вереса, по несколько, один за другим. Подруги мои не могли и подумать поравняться со мною в этом удалстве. Чтоб позабавиться их страхом, я прибегала на самый край стремнины, становилась на нем одною ногою, держа другую на воздухе. Вопль ужаса раздавался за мною, и нянька, которая водила с нами маленькую сестру мою, почти со слезами просила меня оставить такие страшные шутки. «Перестаньте, матушка барышня!.. вспомните, что ведь уж вам четырнадцать лет!.. кстати ли будет вам упасть с горы; а если еще, чего боже сохрани, изломаете ручку или ножку, что тогда делать?» Но я была глуха к доводам доброй Марьи: вечное заключение в горнице и проклятая кружевная подушка делали для меня день моей свободы чем-то волшебным, то и резвость моя по этой причине доходила до степени совершенного сумасбродства.

Наконец, устав прыгать и бегать, уселись все мы на траву есть пироги и лакомства, которых матушка дала нам в изобилии. По окончании нашего полдника, нам должно было возвратиться домой. Чтоб окончить этот день какою-нибудь шалостью знаменитою, спешила я пройти мысленно все свои резвости в Малороссии и вспомнила, что, живши там, случалось мне иногда находить змею, на которую я в ту ж секунду наступала ногою, наклонялась, брала ее осторожно рукою за шею, близ самой головы, и держала, но не так крепко, чтоб она задохлась, и не так слабо, чтоб могла выскользнуть. С этим завидным приобретением я возвращалась в комнаты бабушки и когда ее не было дома, то бегала за Гапкою, Хиврею, Вивдею, Мартом и еще несколькими, таких же странных имен, девками, которые все хотя были гораздо старше меня, но с неистовым воплем старались укрыться куда попало от протянутой вперед руки моей, в которой рисовалась черная змея!.. В настоящем смысле рисовалась, потому что она то яростно шипела, выставляя что-то изо рта, то очень картинно обвивала хвостом мою руку, обнаженную до локтя, то опять развивала и махала им в воздухе.

Избегав весь дом по всем углам, заставляя всех кричать столько, сколько у кого было голоса, я уходила в сад и в ту минуту, как хвост змеи, оставляя мою руку, колебался в воздухе, бросала ее вдруг на землю и вмиг убегала.

Теперь, вспомня эту приятную забаву, я от души жалела, что холодный климат наш вовсе неблагоприятен для змей и что у нас их почти нигде и никогда не видно. Приходилось эмблему вечности заменить лягушкою, которой одна из подруг моих смертельно боялась; но как гадина эта казалась мне слишком уже гадка, чтоб взять ее в руки, а, сверх того, и не было се наготове, а полдник наш приходил к окончанию, искать ее было некогда, то я и решилась подняться на хитрости.

Как только мы кончили нашу полевою трапезу и нянька, приказав людям убирать все, сказала нам: «Теперь пора домой, барышня! маменька приказала, чтоб к пяти часам вы были дома», я отбежала шагов двадцать от места нашего пированья и, ухватя черный засохший листок, показала его издали Аннете, говоря: «Посмотри, Аннета, вот лягушка!» Анкета помертвела, закричала и, как стрела, полетела на большую дорогу, прямо к заставе города; все кинулось за нею и все кричало...

Испугавшись этого слишком уже полного успеха своей глупости и страшась, чтоб с Аннетою не было чего дурного, бежала я за ними, крича, что это листок, не лягушка, и в уверение показывала его; но подружки мои ничего не слыхали: они видели только, что я догоняю их и держу в руке что-то черное. Они добежали до будки часового, ворвались в нее и заперлись.

Изумленный инвалид протирает глаза свои, полагая, что ему это помстилось, как они говорят; но, увидя и меня, летящую вслед за ними, осклабился милостиво и, указывая на свое обиталище, сказал: «Все тут спрятались!»

С трудом уверила я Аннету и подруг, что в руках у меня был листок, а теперь нет уже и его. Они не отпирали, пока ветеран не побожился, сказав: «Право слово, сударыни, в руках ее высокоблагородия ничего нет!» Тогда затворницы вышли; подошла и нянька с маленькою сестрою. Все в тишине и безмолвии отправились по домам. Аннета просила меня дать ей слово никогда не пугать ее более призраком лягушки. «Я могу умереть от этого, — говорила она, — тогда чем ты разделаешься с своею совестью?..» Я никак не могла понять этой необычайной степени страха, потому что сама ничего не боялась; однако ж видела, что подружка моя говорит правду: когда она увидела издали мой листок и по восклицанию предполагала, что я достала лягушку, чтоб пугать ее, то лицо у нее покрылось все черными пятнами. Расставаясь, мы помирились: я просила ее не сердиться, она простила; но, когда она опять повторила свою просьбу не шалить так безжалостно в другой раз, мне стало очень грустно. «Да разве ты думаешь, Аннушка, что это так возможно... В другой раз!.. А как бы ты думала, когда настанет этот другой раз?.. Не ближе будущих именин; а тогда кто знает, что будет? Ты старше меня более года, тебя отдадут замуж!.. Когда нам придется опять играть вместе?.. Матушка не пустит меня до будущего лета никуда больше!..» Сумасбродная резвость моя утихла, и слезы навертывались на глазах. Аннета обещала приходить ко мне всякий раз, как только мать ее пойдет к моей матери.

Мне никак не приходило в голову, что все мои дикие скачки на Старцовой горе, прыганье через кусты и мастерское балансированье на краю пропасти на одной ноге были видны матушке как нельзя явственнее: окно спальни ее было прямо против этого места; она взяла зрительную трубку, навела ее на место наших игр, и я в своем белом платье с розовым поясом подвизалась пред нею со всею возможною энергиею самой сумасбродной резвости.

«Ах, барышня, барышня, что вы наделали!.. — говорила мне моя Василиса, приглаживая мои волосы, как-то глупо переколотые булавками вместе с лентою. — Матушка хотела послать за вами Степана, чтобы вы сейчас шли домой, да уж Дарья Ивановна упросила; она сказала, что в этот день не надобно с вас взыскивать так строго». — «Да ведь мы недолго были там; сказано: прийти домой после вечерни; ну, вот мы и пришли в то самое время, когда люди вышли из церкви». — «Барыня не за это рассердилась: она видела из спальни, как вы скакали через кусты и становились по-журавлиному над пропастью; матушка все смотрела на вас в долгую трубку, что с обоих концов ее окошечки круглые, и беспрестанно вскрикивала: «Негодная повеса! она сломит себе голову! она слетит в пропасть! Чего смотрит там эта дура Марья?..» После подозвала она Дарью Ивановну и отдала ей длинную трубку. «Ну вот, посмотрите сами, Дарья Ивановна! Говорят, я строга; но с этою негодною девчонкою и сам ангел милосердия делается строг!» Дарья Ивановна смотрела долго и то вздрагивала, то хохотала... а матушка сердилась!.. Ох, как сердилась!» — «Ну, а Дарья Ивановна что говорила?» — «Да уж, видно, нельзя было закрыть-то вас; и она говорила, что в четырнадцать лет барышне можно б так и не прыгать... Какая, право! на что бы ей это говорить, когда видит, что барыня и так сердита?.. Ну теперь, барышня, я

все оправила на вас, идите к матушке; она приказала, как возвратитесь с прогулки, чтобы сейчас пришли к ней». Я спросила Василису, где батюшка, и, услышав, что у него гости, пошла к матери с сердцем, полным страха и каких-то грустных ожиданий.

«Ты бесновалась на горе!» — были первые слова, какими встретила меня матушка; я молчала и внутренне признавалась, что мать моя употребила настоящее слово... «Слушай же теперь!.. Я прощаю тебе этот раз, потому что за другой я сама тебе порукою, что тебе не удастся более так сумасбродствовать; но от этого дня я требую, чтобы ты посвятила себя на усовершенствование в женских работах. Ты, к стыду своему, не умеешь ничего делать! Другие матери хвалятся работою дочерей своих, а я стыжусь, бегу скорее закрыть гадкое твое кружево, когда кто спрашивает меня: «Это, конечно, рукоделие вашей дочери?»... Прекрасное рукоделье!.. Двадцать сорок не могли бы так напутать, как твои искусные руки!.. К тебе скоро уж можно будет применить пословицу: велика Федора!.. Кто поверит, что тебе сегодня только еще исполнилось четырнадцать лет?.. Ты имеешь рост и вид осмнадцатилетней девки!..» При этих словах матери моей я взглянула в зеркало, против которого случайно стояла; мать заметила это и отвела меня в сторону. «Кажется, нечем любоваться! Помни же мои приказания: книг не смей брать в руки, кроме праздничных дней, — и то, чтобы книги выбраны были мною; в будни занимайся работою и старайся непременно уметь все, что тебе прилично и необходимо; чтоб ты все сама делала для себя, шила и вязала...» Долго еще матушка делала мне наставления и отдавала приказания все в этом тоне; наконец, когда наступила уже ночь, она позволила мне идти в свою горницу. Мое сердце было полно грусти. Слезы чуть-чуть держались в глазах!.. Я побежала к Алкиду, обняла его шею, положила голову на гриву, и ручьи слез брызгами скатывались с нее к его копытам. Добрая лошадь круто поворачивала голову свою, чтоб приблизить морду к моему лицу; она нюхала меня с каким-то беспокойством, била копытом в землю, опять приставляла морду свою к моей голове и трогала верхнюю губою мои волосы и щеки; ржала тихонько и наконец стала лизать мне все лицо!.. Видимое беспокойство моего коня, моего будущего товарища, утишило печаль мою, я перестала плакать и стала ласкать и гладить Алкида, целовать его морду и говорить с ним, как то я делала с первого дня, как только батюшка купил его.

На другой день гнев матушки прошел, и она не повторяла уже мне приказания доводить до совершенства мою работу, потому, верно, что видела бесполезность этого требования.

Хотя я чрезвычайно боялась моей матери, но непомерная резвость одолевала меня и увлекала вопреки страха наказания; мне кажется, я вымышляла разные глупости невольно, *par fatalite* (фатально, по воле рока (франц.)). Мне принесли из леса молодого филина, но уже большого; я посадила его в сад и кормила дня три или четыре; но в один вечер вдруг пришла мне мысль принести его в горницу к матушке!.. Я взяла чудовищную птицу на руки, отворила тихонько дверь в спальную матери, и, увидя в зеркало, что она сидит на лежанке, я протянула обе руки вперед и, выставив из-за печи одну только голову птицы, едва было этою фарсою не перепугала насмерть свою мать, которая, увидя чью-то безобразную голову с круглыми желтыми глазами, крючковатым носом и видя, что эта голова одна только, без туловища, так высоко от земли и так быстро смотрит на нее, сочла, что это сам сатана выглядывает из-за печи!.. Глупая шутка прошла мне даром.

Между тем, как я от часу более укреплялась в силах, росла, выравнивалась и постоянно готовилась к преобразованию, так давно замышляемому мною, мать моя постепенно угасала; ее чудная красота от всего, что имела в себе чарующего, сохранила одну только необычайную белизну лица и томность прекрасных глаз. Теперь она была ничем более, как тенью той красавицы Дуровой, которою некогда все восхищались!.. Скрытная грусть иссушила источник ее жизни, и бедная моя мать, погружаясь в самоё себя, перестала

заботиться о моих шалостях; неуменье делать какую б то ни было женскую работу, а наконец, и мой рыцарский дух перестали ее тревожить. Она смотрела на все сквозь пальцы или, лучше сказать, не смотрела ни на что.

В начале весны матушка решилась ехать в Малороссию к родным; меня оставила дома, отчего я была в восторге. С собою взяла она меньшую сестру и, сказав мне и батюшке холодное прости! выехала на неопределенное время. Не знаю, как назвать то чувство, которое овладело мною, когда я увидела коляску, укатившуюся со двора. Когда я вошла в комнаты и могла уже смело ходить везде, громко говорить, стучать, прыгать, вертеться перед зеркалом, бегать в саду, выходить за ворота; могла бросить гадкую кружевную подушку на подволоку со всеми ее коклюшками и тою путаницею, за которую меня так часто били по рукам, — кажется, что чувство это было — безумная радость, что нет уже существа, имевшего власть стеснить мою свободу и лишить удовольствия. Не знаю, виновна ли я была, что чувствовала эту радость, но знаю, что чувствовала ее со всюю энергиею невольника, вырвавшегося на свободу. Батюшка дал мне полную волю делать, что хочу. Я вставала всегда на рассвете, потому что чрезвычайно любила видеть постепенное пробуждение природы, и восход солнца встречала всегда уже в поле на своем Алкиде, которого батюшка отдал уже мне совсем. Теперь я берегла своего доброго коня и не делала так, как два года тому назад, ездивши по тропинкам над пропастями, рискуя сломить шею себе и ему, не скакала, как сумасшедшая, по песчаной косе; напротив, теперь я имела терпение ездить иногда верст по пяти — шагом: это была величайшая жертва и самое сильное доказательство привязанности моей к Алкиду, потому что природная живость и нетерпение были так во мне сильны, что я никогда не ходила тихо ни в каком случае, но всегда бегала, прыгала, скакала и в целый день не оставалась и четверти часа на месте, исключая обеда. Я никуда не ездила в гости, именно потому, что в гостях надобно сидеть; но все дни проводила то в поле, то в лесу, а вечером играла с девками в жмурки. Батюшка обыкновенно проводил вечера у кого-нибудь из знакомых, а я оставалась полновластною госпожою комнат и своих поступков, которые все были ознаменованы самыми резкими повесничествами.

В один день вздумалось мне с своим причетом, столь же умным, как и я, одеть одну из моей свиты птицею; для этого превращения надобно было сделать некоторые довольно странные приготовления, и которых здесь никак нельзя так подробно описать, чтоб дать об них ясное понятие, да в этом, я думаю, нет и надобности; довольно, что работа наша увенчалась успехом, и мы все с торжеством смотрели на нашу огромную птицу, гордо расхаживающую по горницам. Это было вечером; я никак не ожидала, чтобы случилась какая помеха нашей забаве; но вдруг стук экипажей раздался на дворе, и отец с гостями вошел в комнату; птица наша ходила в зале, которая отделялась от передней комнаты еще двумя, и так я имела время убежать с своими нимфами; но бедная пернатая была беззащитна, потому что из рук ее было сделано употребление совсем не то, для которого назначила их природа, и все тело имело позитуру, удобную только для важной и горделивой выступки, но не для беганья; итак, следствием всего этого было то, что батюшка и гости с изумлением остановились в дверях, не понимая, какого рода животное бьется и кувыркается на полу залы. Кончилось тем, что бедную птицу очень небережно вытащили за ноги вон из залы. Сколько ни любил меня отец мой, однако ж на этот раз осердился и сказал, что он желал бы, чтоб время для меня остановилось, потому что голова моя слишком тупо зреет. Люди наши говорили мне, что я похорошела без матушки. Немудрено, мне теперь всякий день весело; я не слышу голоса, от которого всегда бледнела, хотя б и ни в чем не была виновата; страх не теснит сердца моего и голова не кружится от беспрестанного сиденья в горнице; свобода, свежий воздух, радостное ощущение в душе, не оставляющее меня в продолжение целого дня, возвратили

мне и ясность взора, и цвет юности, которые начали было тускнеть от душного воздуха неволи.

Сегодня батюшка говорил мне, что, видно, я и не думаю о назначении моем в свете... «Я не тесню твоей свободы, друг мой, и мне очень приятен твой удовольственный вид; но я желал бы, чтоб ты не употребляла во зло той воли, которую я даю тебе, и очень был бы доволен, если бы ты не все дни проводила в поле и на коне... Посмотри, на что ты похожа стала?... Так загореть и обветрить даже и мальчику было бы нехорошо, а ведь ты девочка!.. Мне иногда бывает и смешно, и стыдно, когда я смотрю на тебя, как ты в своем белом платье стоишь в толпе сверстниц, точно жук в молоке». Эти слова я выслушивала в почтительном молчании, нисколько ими не тревожась и никак не обижаясь тем, что была похожа на жука в молоке. Я совсем не понимала, на что мне белизна?... «Батюшке, — думала я, — все равно, бела я или черна, я тем не менее любимая дочь его. Алкид тоже любит меня и не понимает разницы между белым и черным, а у меня в целом мире только два предмета сильной привязанности: мой добрый отец и Алкид!.. Не вижу надобности томить себя скукою, скрываясь от солнца и ветра для того только, чтоб сохранить белизну, ни на что мне не пригодную. Батюшке стыдно, что я очень загорела, что я чернее всех своих подруг, даже самых смуглых!.. Не может быть! Верно, он сказал это без мыслей, думал о чем-нибудь другом». Так успокаивала я маленькое угрызение совести, какое чувствовала с полчаса после каждого замечания отцовского, что шалости мои приличны более прошедшему времени, нежели настоящему, и что я уже скоро из девочки сделаюсь девицею.

Марья тоже говорила иногда, одевая меня: «Умывайтесь чем-нибудь, барышня, хоть хреном или кислым молоком. Знаете ли, что вы, как две капли воды, похожи на плащеватую цыганку». — «А кто такая плащеватая цыганка?» — «Нелегкая их знает! Плащеватые цыгане, говорят, самые черные из всех других цыган». Нянька начинала мне рассказывать о различных поколениях цыган, чем они отличаются одни от других, и забывала, что я похожа на одну из самого черного их поколения.

Надобно думать, что четырнадцатилетний возраст служит границею и вместе переходом из детства в юношество и так же, как всякий перелом, имеет свой кризис; что многочисленные шалости мои были как будто прощальною данью летам детства, проведенным большею частию в слезах и угнетении.

В саду у нас было много больших развесистых берез. Батюшка очень любил густую тень их и приказал сделать под ними несколько дерновых соф. На беду этих деревьев, я увидела как-то, разъезжая по лесу на своем Алкиде, что мальчики, подрубливая деревья, и именно березу, топором, прикладывали к этой ране губы свои и сосали что-то. Я подъехала к ним. «Что вы это делаете?» — «Пьем сок березовый». — «Разве у березы есть сок?» — «Есть, и какой сладкий!.. Не хотите ль отведать?... Вон там, под деревом, стоит бурачок; чай, в нем много уже: с утра поставили». Мальчик побежал к дереву, взял небольшой бурак и подал мне: в нем было больше половины чистого, светлого и сладкого сока березы; я выпила. «Как же это делать, чтоб достать этот сок из березы?» — «А вот так, как мы делаем: надобно ударить острием топора вкось по дереву, делается глубокий разруб, и из него польется сок; тогда в разруб надобно положить маленький желобок и подставить кадочку или хоть чашку большую; сок идет до самого вечера, по закате солнца перестает; тогда взять посудину и унести домой». Возвратясь с прогулки, я тотчас поступила по данному наставлению: взяла у батюшки в кабинете маленький топорик, которым он подчищал сам деревья в саду, и как он был очень востер, то мне не стоило никакого труда сделать несколько очень глубоких разрубов на наших прекрасных ветвистых березах. Я вложила в их тяжкие раны небольшие трубочки из их же коры,

подставила под них банки из-под варенья и в полном удовольствии от того, что к вечеру буду иметь много березового сока, пошла наконец в свою комнату. Батюшка в этот день был занят с утра отправлением почты и давно уже посылал за мною; но как я была с трех часов утра за десять верст от своего дома, то, разумеется, призывы отцовские были мне не слышны; возвратясь же, я тотчас занялась работою около несчастных берез, и, видно, злой судьбе их угодно было, чтоб отец мой ушел на то время из кабинета, когда я приходила взять топорик, и таким стечением обстоятельств бедные березы подверглись моему тиранству беззащитно. Наконец батюшка узнал, что я возвратилась, и приказал позвать меня. Я пришла. «Разве ты забыла, — спросил меня отец голосом, в котором я не слышала обыкновенной его доброты, — разве ты забыла, что сегодня почтовый день?..» — «Извините, батюшка, совсем забыла». Ответ этот сейчас возвратил мне ласку отцовскую. «Много еще зефиром в голове твоей!.. Ну, садись за работу. У меня сегодня такая пропасть писем, что не знаю, как будет уломать экспедитора, чтоб принял, потому что никак не успею кончить к двенадцати часам». — «Так что же батюшка? Велите опять Андреяновичу стать перед ним на колени. Этот маневр был вам один раз удачен» — «Там увидим. Вот тебе десять писем; делай же хорошенько конверты, чтоб не были кривы; печати чтоб были круглы и не слишком велики; надписывай четко». Всякий почтовый день это была моя работа; я была на этот день батюшкиным секретарем и только тогда походила на что-нибудь путное, когда сидела за особнным столом в батюшкиной комнате и внимательно делала конверты, печатала, надписывала.

Вечером я взяла все банки, слила из них сок в большую суповую вазу и велела поставить на погреб с тем, чтобы завтра положить туда сахару и потчевать этим нектаром свою Аннету.

На другой день я уехала, по обыкновению, очень рано верхом и возвратилась к обеду. Только что я встала с лошади, батюшка вышел ко мне, взял меня за руку и повел в сад, говоря: «Поди-ка сюда!» Я пошла очень покойно, ожидая, что батюшка, верно, готовит мне какую-нибудь приятную нечаянность; может быть, купил мне какую-нибудь птицу или зверька, или что из лакомства положено на дерновом столе; но как ужасно разрушились все мои льстивые предположения!.. Я с испугом остановилась, завидя издали окровавленные пни белых берез, вчера надрубленных мною. «Что это, батюшка?.. — вскрикнула я чуть не плача; — отчего они все в крови?» — «Как отчего?.. ведь это ты изрубила их?» — «Я! но я хотела достать соку». — «Бессовестная!..» — Батюшка с досадою бросил мою руку и ушел в комнаты. Я совсем не знала, что от этих разрубов, которые делают на дереве для сока, оно на другой год засохнет и что для предупреждения этого надобно, как только сок перестанет течь, разрубы замазывать глиною, что обыкновенно бывает по закате солнца. Не знала также и того, что сок, обливший дерево, на другой день принимает красный цвет, настоящее подобие крови.

Целый день батюшка казался недовольным мною; но он любил меня, и сердце его было одно из тех, которые умеют только любить и прощать.

Комната, в которой я жила под надзором няньки, когда мне было лет пять или шесть, была и теперь моею, с тою разницею, что маленьких детей и бывшую няньку мою перевели наверх: так называли мы одну комнату с балконом, выстроенную на подволоке; в ней все наше поколение Дуровых жило и росло от колыбели до шести лет, а иногда и до восьми, а там уже отдавались на руки другой женщине и переводились в другое жилище, ближе к матушке. Я, как существо необыкновенное, неугомонное, неукротимое, требовала исключения из этого мирного порядка переходов с высших в нижние комнаты и была отведена за две тысячи верст в Малороссию на тринадцатом году от рождения; возвратясь через год под кров отцовского дома, я вступила во владение этой комнаты, которая

называлась детскою и сохранила это название навсегда, хотя уже после жили в ней люди всех возможных возрастов. Итак, я спала в этой детской одна с Василисою, моею горничною девкою (лет семнадцати), до невероятности глупой, что мне было очень на руку.

В один теплый весенний вечер, когда батюшки не было дома и нельзя было ожидать, чтоб он скоро возвратился, рассудила я заняться составлением фейерверка своего изобретения. На дворе было так тихо, что ни один листок не шелохнулся, и, сверх того, тепло и темно; я велела принести пороху, сажи и желтого воску, растопила, столкла порох и смешала его с серою, потому что я видела как-то, что сера очень красиво горит. Я очень жалела, что пороху было у меня немного, не более, как на один заряд. «У кого спрятан порох? — спрашивала я Василису. — Мне бы надобно его столько же, сколько сажи, полную тарелку. Не знаешь ли ты, у кого порох?» — «Я думаю, у дворецкого; ведь у него все на руках! — отвечала Василиса с глупым видом. — Идти попросить?» — «Сходи, пожалуйста! да ты не говори, для чего; скажи, что я хочу идти с ружьем». — «А батюшка-то!.. Ведь он не велит вам ходить с ружьем». — «Не твое дело. Поди! Не забудь же, как сказать...» — «Слышу — скажу!» Василиса возвратилась с отказом. «Петруша сказал, барышня, что батюшка строго запретил давать вам порох, и ружье ваше отнесено в анбар и там заперто». — «Ну, хорошо, я обойдусь без пороха; селитра горит тоже ясно; у нас ее много, кажется?» — «Много у повара: ею что-то солили». — «Ну, поди же, принеси». — «Да разве украсть у Никиты? ведь так не даст». — «С тобой конца не будет!.. Ничего не успею сделать!.. Поди, достань селитры, как хочешь!» — «Я украду!.. унесу тихонько!.. добром этот жидомор не даст». Василиса побежала и через пять минут принесла большую горсть селитры; я принялась за работу: смешала вместе сажу, порох, селитру: все это было уж очень мелко истолчено, истерто и просеяно; эту смесь всыпала в растопленный воск и сделала род теста, из которого наделала маленьких фигур, похожих на сахарную голову. Фигурок этих было около двухсот; я установила их очень симметрически на большом железном подносе, так что из всех их составила круглая пирамида или тоже род сахарной головы. Я зажгла нижний ряд; пламя охватило не вдруг, потому что воск препятствовал селитре гореть скоро, также и порох потерял от него много своей силы; итак, пирамида моя горела разного цвета огнями, светло, ярко и долго. Я была в восторге!.. Наконец она сгорела; поднос еще оставался на столе, но в комнате не было никакого запаха, потому что все окна были открыты; вдруг я услышала поспешные шаги и испуганный голос батюшки. Василиса вмиг бросила поднос за печку... Батюшка вбежал. «Где горит?.. отчего такой дым по всему двору?.. что сожгли?.. не тлеет ли где стена?.. что ты здесь делала?» Последний вопрос относился прямо ко мне, и на него я только отвечала очень непокойным голосом: «Ничего, батюшка!..» Отец оборотился к Василисе: «Говори, что вы делали здесь?» — «Ничего, сударь!.. сера и порох!..» — воскликнула Василиса, пошатнувшись от пощечин!.. В первый раз батюшка позволил себе ударить девку и в первый раз назвал меня дуροю.

После этого происшествия, которое так испугало отца моего, заставя его думать, что дом наш сию минуту вспыхнет, я притихла недели на две; но в начале третьей посчастливилось мне найти на улице гусарскую круглую пуговицу, и первая мысль моя была начинить ее порохом и бросить в печь к старой Прасковье, готовившей обед для людей. Я не могла не знать, что порох вспыхивает в секунду, итак, чтоб это свойство его не лишило меня удовольствия видеть испуг и удивление старой поварихи, я растерла порох с каплею воды и, смешав мокрый с сухим, хотя с большим трудом, но успела, однако ж, начинить пуговицу плотно до самого отверстия... Я и сама еще не понимала, что будет делать моя ручная граната, если я брошу ее в горящую печь; думала, что она лопнет там и более ничего, и радовалась только тому, что выстрел этот старуха припишет колдовству, начнет творить молитву, креститься, крестить горшки, печь, выгонять всех из

избы, говоря, что всему причиною чей-нибудь нечистый глаз! Вот все, чего я ожидала от моей пуговицы; но успех превзошел мое ожидание и заставил меня усмириться на целый месяц... Через минуту после того, как я бросила пуговицу в печь, она вылетела из нее со свистом, летала по избе, щелкала по стенам и наконец лопнула близ моей головы и взрыла мне кожу на самой ее верхушке; капли крови вмиг разбрызнулись по всем локонам. Я, однако ж, не вскрикнула, но поспешно убежала в свою горницу и заперлась. Платье мое все уже было испещрено кровавыми каплями. Сбросив его поскорее, я надела темное, вымыла голову вином и, вытерев полотенцем, засыпала ссадины углем; от этого средства кровь тотчас перестала, но дня три я чувствовала какое-то кружение в голове.

От того времени я не делала уже никаких опытов с порохом. Старая Прасковья рассказывала всем, кто хотел слушать, что дьявол вылетел из печи в то самое время, как она ставила кастрюлю, забывши сказать: «Господи, благослови!», что злой дух долго летал по избе, задел по уху Наталью, скоробил под лавку Ефима и, влетев снова в печь, молниєю выскочил в трубу, и что всем этим чудесам была свидетельницею сама барышня.

Лето приходило к концу, а вместе с ним и мой пятнадцатый год; матушка все еще была в Малороссии, а с нею и моя меньшая сестра; батюшка не скучал, а мне никогда и в голову не приходило, что матушка должна же ведь когда-нибудь приехать домой. Мне казалось, что я всегда буду вести такую свободную, счастливую жизнь. Я перестала делать опыты с порохом, не пугала старой Прасковьи, как-то вообще все порывы сумасбродства и резвости начали утихать; одно только, от чего я не могла отвыкнуть, да и не видела надобности отвыкать, это было раннее вставанье на заре и тотчас же прогулка в поле верхом; иногда я возвращалась в девять часов, время, в которое вставал отец, а иногда к обеду, потому что я ездила всегда очень далеко. Неутомимый Алкид мой не жаловался на это, по крайности, веселый и лёгкий галоп его утверждал меня в этом мнении: уставшая лошадь всегда идет лениво; впрочем, я заботилась об Алкиде несравненно более, нежели о себе. Если я заезжала так далеко, что не могла возвратиться домой прежде обеда, то разнуздывала Алкида и позволяла ему есть траву, а иногда покупала ему в деревне овса, насыпала его в свой платок и держала пред Алкидом не только с большим терпением, но и с большим удовольствием во все то время, пока он ел; после этого водила его пить к ручью или наливала ведром в колоду.

Наступила осень. К нам в город пришли казаки. Батюшка часто ездил гулять с их офицерами; но я старалась никогда не быть с ними вместе. В своей казачьей униформе мне очень нужно было, чтоб они никогда не видали меня так одетую: для этого я имела свои причины.

Батюшка приметно был доволен, что я сделалась несколько потише, как говорила моя нянька. В один день он принес мне несколько шелковых материй. «Пора тебе одеваться лучше; у меня часто бывают гости, а ты уже становишься велика; ты уже девица!.. Вот, прикажи сделать себе платья, какие носят». Говоря это, батюшка положил на стол свои дары и ушел. С того дня я всегда носила шелковое платье всякий день, и, как мне непременно надобно было, чтоб волосы мои не были так длинны, как их вырастила природа, а обрезать я не смела, то я старалась завивать их так круто, чтоб они только доставали до плеч.

Осень наша не бывает продолжительна: в первых числах октября нападает снег и нередко остается уже на всю зиму; оттепелей почти не бывает никогда. Как только настала зима, батюшка просил меня, чтоб я не ездила более верхом; а чтоб утешить меня в этом лишении, приказал сшить мне голубую бархатную шубу какого-то венгерского покроя с золотыми пуговицами и шнурами и такую ж точно шапку с соболем, кистями, шнурами,

и все это было для того, чтоб я могла ездить в саних и сама править. Блестящий наряд мой не утешал меня; я раз по двадцати ходила к Алкиду ласкать его и кормить хлебом. Один раз батюшка увидел меня задумчиво стоящую близ Алкида, положила руку на его гриву. «Что ты не попробуешь на нем ехать в саних? Прикажи заложить его, и пусть Ефим проедет: может быть, он хорошо пойдет». Я испугалась этого предложения.

Возможно ли унижить столько моего гордого, благородного коня!.. В оглобли!.. этого красавца в оглобли!.. Дерзкая рука грубого Ефима осмелится ударить кнутом это животное, столько меня любящее!.. «Нет, нет, ради бога, батюшка, не делайте этой обиды моему Алкиду! Я ведь только так пришла к нему; я не скучаю, что вы не приказываете мне ездить теперь верхом, я буду ждать лета». Батюшка рассмеялся и сказал мне, что я напрасно встревожилась, что эта лошадь подарена мне и находится в полной моей власти; но что он советует мне, если я не хочу, чтобы кто другой садился на нее, кроме меня, гонять ее на корде для сохранения ее здоровья и доброго аппетита.

Настали святки, начались игры, переодевания, гадания, подблюдные песни. В нашей стороне все это сохранилось еще во всей своей свежести; все мы, старые и молодые, очень протяжно припеваем: слава! и верим, как оракулу, что кому вынется, тому сбудется, не минется; и я, как мои подруги, шептала на свое золотое кольцо и клала его под салфетку в блюдо; но как я моему кольцу говорила не то, что мои подруги говорили своим, то очень удивлялась, если мне, вместо саней, выходила кошурка! Если которая из подруг не была тут и спрашивала меня на другой день, что тебе вышло: «Да вот эта гадкая кошурка!!» — «Гадкая кошурка!.. Да ведь это лучшая песня из всех!.. Ну, а тебе какой бы хотелось?» Я не могла сказать, какой именно: это была глубокая тайна моя!.. Впрочем, по наружности я ни в чем не отставала от моих подруг и, увлекаемая силою примера и ветренностью моего возраста, делала все то же, что и они.

В один вечер подруги мои собрались у меня. После всех возможных игр побежали все мы с зеркалом в руках наводить его на месяц; каждая кричала, что видит кого-то, и со страхом, настоящим или притворным, передавала зеркало в руки другой. Дошла очередь до меня; я навела зеркало на месяц и любовалась его ясным ликом... «Ну, что!.. Видишь ли что-нибудь?..» — спрашивали меня со всех сторон. «Постойте! еще ничего покуда!..» Это я сказала громко и в ту же секунду услышала, что снег захрустел от чьей-то тяжелой походки; подруги мои взвизгнули и побежали; я проворно оглянулась: это был мой Алкид! Он услышал мой голос, оторвался и прибежал ко мне, чтоб положить свою голову на мое плечо. Ах, с каким восторгом обняла я крутую шею его!.. Подруги мои воротились, и громкий хохот их заставил доброго коня моего делать картинные прыжки, все, однако ж, вокруг меня; наконец я отвела его к дверям конюшни, и он очень послушно пошел в свое стойло. Я от души верила, что появление Алкида во время таинственного смотрения на месяц было предвещением, что я вступлю в то звание, которое было всегдашним предметом моих мыслей, желаний, намерения и действий. Воротясь в залу, подруги мои рассказывали молодым дамам, что мой Алкид и прыжками своими, и брыканием разогнал всех возможных суженых и что они не могли никого увидеть.

В последний день святок назначено было в кругу нашем, девическом, повторить все способы, какими они допытываются у судьбы о хороших и дурных качествах своих суженых, а также и о том, будут ли у них эти суженые и скоро ли будут?.. Решено заключить все роды гаданий бросанием башмака через ворота. Для всех этих чар собрались ко мне, как в такое место, где больше раздолья и больше свободы; к одиннадцати часам вечера кончились все игры и все гадания; оставалось последнее: бросать башмак через ворота. Мы вышли толпою на двор в сопровождении нескольких девок; все мои подруги были одеты просто, потому что праздники уже кончились и

наряджаться парадно было не для чего; к тому ж в нарядном платье не так свободно можно заниматься волшебными действиями, как-то: полоть снег или упасть в него навзничь; итак, все девицы были одеты кто в ситцевом, кто в перкалевом белом платье; одна только я была в шелковом пунцовом с какими-то золотыми шнурками и кисточками. Все мы построились в шеренгу против ворот; я была в середине, итак, начинать было не мне; поочередно каждая снимала свой башмак, оборачивалась спиною к воротам и бросала башмак через голову и через ворота. Все мы бежали опрометью смотреть, как он лег, в которую сторону носком; девица надевала его, и мы опять становились во фронт. Дошла очередь до меня; я скинула свой атласный светло-голубой башмак, оборотилась спиною к воротам... В это время послышался скрип полозьев; но мимо дома нашего проезжали так же, как и мимо всякого другого, итак, этот скрип не помешал мне сказать моему башмаку, что куда я поеду, чтоб туда он упал носком. С последним словом я бросила его через голову за ворота. Башмаки моих подруг падали тотчас подле ворот; но я была сильнее их, итак, башмак мой полетел выше и далее. В то самое время, как он взвился на воздух из руки моей, какой-то экипаж быстро подкатился, остановился и восклицание: «что это!..» оледенило кровь мою; я окаменела от испуга: это была матушка!.. Она приехала, и башмак мой упал к ней в повозку.

Я стала безмолвна и бесцветна!.. Строгий взор матери моей заставил меня потупить глаза. «Как разряжена!.. Что значит этот наряд? И для чего вы, сударыня, не заплетаете волос в косу, как я вам приказала?.. И об чем вам угодно было гадать?.. Вам, я вижу, было очень весело без меня!.. Верю!.. Возвратитесь, однако ж, к должным вашим занятиям и не смейте никогда распускать волос, как Русалка, ни надевать шелкового платья иначе, как в годовые праздники».

Матушка ушла в свою спальню и заперлась; я с стесненным сердцем скинула красивый наряд свой и со слезами намочила водою локоны, чтоб распустились, для того, что надобно их было заплести в косу, которой я до крайности не любила. Окончивши эту работу, я пошла на минуту к Алкиду положить голову на его гриву и поплакать о печальной перемене свободы на неволю... Алкид с каким-то удивлением обнюхивал мою косу, глядел мне в глаза и, видно, находил меня хуже в этом виде горничной девки, в который я преобразилась, потому что начинал бить копытом в поди опять нюхать мое платье и косу!.. Этот маневр развеселил меня; я перестала плакать, обняла Алкида за шею и сказала ему, как будто он мог понимать меня: «Еще год, Алкид, еще один только год; а там, хотя б то жизни стоило, мы здесь не будем!».

Жизнь моя пошла опять такая ж, как за год до этого: проклятую подушку кружевную опять отыскиали на подволоке, обтянули новым полотном, повесили тьму коклюшек, и вот она опять передо мною!.. Я, право, не понимаю, отчего это матушка пристрастилась именно к этому рукоделию?.. Что в нем хорошего?..

Впоследствии я увидела, что матушке совсем не до того, чтоб смотреть, занимаюсь я рукодельем или нет, и многое уже она оставляла без внимания. Я могла ездить верхом, когда настало лето, могла не быть целое утро дома; казалось, что матушка этого не замечала; она почти не выходила из своей комнаты, глубоко задумывалась и часа по два сряду ходила по горнице взад и вперед, говоря что-то сама с собою. Бедная мать моя несколько не поздоровела от воздуха Малороссии!.. Ни кров отеческий, ни воздух родины не могли вылечить недуга душевного. Матушка часто укоряла меня в нечувствительности, говоря: «Если б ты была добрая дочь, то не осушила б глаз при виде материнских бедствий!..» Но могла ль я понимать эти бедствия!.. Я вовсе не разделяла ее горести, потому что не имела никакого понятия о свойстве и силе ее; неопытность возраста моего закрывала от меня все, что было безотрадного в положении моей матери!.. Если она

говорила мне: «Ты бесчувственна, как дерево!.. мать томится жизнью, прячется от света, а ты скачешь, сломя голову, по полям и долинам!.. Мне кажется, если я лягу в землю, то ты пронесешься на коне своем чрез могилу мою, не остановясь ни на минуту мыслию, что под этим бугром лежит тело матери твоей!..», я молчала, с трудом удерживая слезы, которые из глубины сердца выжимала жестокость материнского выговора, и когда она прогоняла меня, говоря: «Пошла вон, бесчувственная!», то я уходила в свою комнату и минут пять горько плакала; наконец переставала, с полчаса посвящала на то, чтоб разгадать, почему матушка не может утешиться в давно минувшей неверности батюшкиной?.. потому что теперь он всегда так ласков с нею; и об чем бы мне должно было плакать тут? как говорила матушка; но как на эти вопросы самой себе могло отвечать одно только время или опыт, то я, наскуча доискиваться бесполезно — что? как? отчего? и почему?.. отдавалась опять никогда не утихающему желанию идти куда-нибудь, ехать, скакать на лошади, прыгать чрез рвы, кусты, плавать, нырять, взбираться на недоступные крутизны, спускаться в пропасти; одним словом, быстрая кровь моя не позволяла мне оставаться минуты в бездействии, и горесть матери моей, ее выговоры, укоризны в бесчувствии исчезали, как сон, из памяти моей!.. Виновата ль я, если печаль ее не печалила меня?.. Виновата ль я была, если не понимала ее?.. Впрочем, не удивительно было бы, если б сердце мое и ожесточилось, потому что сколько я могу помнить, то она мне никогда ничего не позволяла любить!.. Всякая привязанность моя, к чему бы то ни было, находила препятствие!.. Довольно было увидеть, что я ласкала какое-нибудь животное, чтоб тотчас его отнять у меня!.. Вот я уже на своей воле, достигла цели своих желаний; но и теперь иногда с сожалением вспоминаю о той маленькой собачке, которую я первую еще любила. Мне было десять лет; не помню, кто подарил мне крошечную беленькую собачку, довольно смешной наружности и смешного имени: она была на самых коротеньких ножках, одно ушко стояло, другое висело, глаза разные: один голубой, другой черный, один немного больше другого, и, ко всем этим совершенствам, название Манилька делало ее существом ни для кого не интересным, кроме меня; я любила ее так, как после уж ничего не любила!.. Матушка приказала, чтоб я отдала моего маленького друга кому хочу, но чтоб только его не было у меня. Я не смела ничего сказать, не смела просить, чтобы этот приговор был отменен; но долго плакала, держа Манильку у груди своей и целуя ее черную мордочку, и думаю, что никак бы не собралась с силами отнесть ее сама в девичью, чтоб отослать со двора, но матушка прислала за нею. Манильку унесли, я принялась рыдать!.. К вечеру она опять прибежала и как-то прокралась в мою горницу. Я чуть не сошла с ума от радости и легла спать ранее обыкновенного, чтоб скрыть свою Манилечку от всех шпионских разведываний матушкиных девок; на беду, мать моя пришла ко мне в спальню, не знаю за что-то бранить меня; я лежала уже в постели, и собачка спала на руке моей, положила мордочку к плечу. После выговоров и наставлений матушка стала говорить со мною несколько ласковее и наконец хотела уже идти. Я радовалась, что благополучно кончилось, что она не видала моей собачки, которой белая шерсть не разнилась от белого рукава моей рубашки; как вдруг матушка наклонилась ко мне, говоря: «Отчего это у тебя дыры на рукаве?» — и с этим словом схватила рукою голову собачки. Ее черный носик и ресницы показались матушке дырами на моем рукаве. Она вздрогнула, отскочила, вскрикнула; ах!.. Манилька залаяла и, увы! была тотчас взята от меня!.. С того вечера я уже никогда ее не видала и никогда не могла узнать, что с нею сделалось и кому ее отдали. Бедное животное! может быть, ее тогда же убили, чтоб не иметь хлопот относить куда-нибудь!.. Случаю этому минуло уже много лет, но я все еще не могу ни забыть, ни заменить моей бедной Манильки. С того времени и до сих пор у меня не было никогда ни одной собачки.

Год спустя после происшествия с Манилькою солдат, стрелявший для нашего стола дичину, принес мне живую тетерку. Я жила тогда наверху, под надзором Марьи, и спала недалеко от комнат матери; обстоятельство это обеспечивало меня обладанием тетеркою:

я взяла ее и поместила за печью, кормила, чем могла и умела. Птица сделалась ручной, знала мой голос и выходила на него; но без меня сидела в своем захолустье. Нянька иногда угрожала, что выкинет ее, потому что она ночью ходила по головам всех спящих на полу, в том числе и няньки моей, с которой еще всякий раз стаскивала носом ее колпак и клевала в голову; но как добрая Марья, всех нас вырастившая, любила меня, то, разумеется, угрозы своей никогда не исполняла на деле, и я покойно владела птицею, любила ее, кормила. носила на руках и очень заботливо отыскивала для нее корм, какой она предпочтительно ела.

Но, видно, всякому надобно иметь свой черный день! Пришел черный день и моей бедной тетерке. За печью, где она всегда жила, окотилась кошка и осталась там с своею пискучею семьею. Днем птица моя беспрестанно заглядывала за печь; но, видя, что место занято, опять уходила под мою кровать; но когда наступила ночь, то любимица рассудила, что может отправиться в обход, и вот, промаршировав, по обыкновению, по головам спящих, пошла за печь, и наступила, видно, на котят... С каким-то писком выкинулась она оттуда, но уже злая кошка укусила ей ногу выше колена. Тетеря моя хворала месяца два. Ее можно б было вылечить, но я ничего в этом не знала, а нянька всегда говорила: «Провались она вставши! ее лечить!.. каким ее бесом лечить?»

В Вербное Воскресенье я принесла много этих лоз вербы, усеянных шишечками, и отдала их все своей больной птице, которая съела их с жадностию!.. Бедняжка ползала уже на одной ноге!.. На Святой неделе матушка приказала мне ехать с собой в гости... «Боже мой! — думала я, — в гости!.. а моя тетеря при смерти!..» Матушка рассердилась на меня за мой печальный вид. «Что ты все дуешь губы?.. Ты и без того нехороша!.. И как ты смеешь дуться, когда я приказываю ехать?.. Возьми ее, Марина, одень сейчас!» Мы поехали. Я сидела и не знала, будет ли конец этому посещению. Воротясь домой, я, как стрела, бросилась наверх. Птица моя была выкинута на балкон, но была, однако ж, жива еще. Я взяла ее на руки; она отдохнула!.. «Ах! нянька, начто ты ее выкинула?» — «Вот еще начто!.. ее надобно совсем забросить — она уже околеваает!..» Я молчала и спрятала умирающую птицу за кровать. Тетеря все еще жила. На другой день матушка опять приказала мне одеваться, чтоб ехать с нею в гости; я уже заплакала. «Это что значит? — сказала мать моя с удивлением; — как ты смеешь плакать?..» Я всхлипывала, и слезы катились градом. «Да об чем ты плачешь, негодная упрямица? — вскрикнула моя мать с нетерпением. — Пошла, сию минуту одевайся!» — «Тетеря умирает!» — сказала я наконец, задыхаясь от рыданий. «Что? кто умирает?» — «Тетеря!» — «Что это за адской вздор!.. Послать ко мне Марью!» Нянька пришла. «Что у нее там наверху?.. отчего она ревет?..» — «Да вот, сударыня, Шитов принес тетерку, давно уже, барин подарил ее барышне, а теперь эта птица от чего-то умирает». — «Так об этом плакать, Федорушка ты! Пошла, сейчас одевайся. Возьми ее, Марья... Тетерю выкинуть!» Все это было сказано таким голосом, который не оставил мне и тени надежды принять последний вздох моей бедной умирающей. Я оделась, беспрестанно плача. «Куда как хорошо! — говорила мне нянька; — расплакать так глаза!. Посмотри, на кого ты похожа?.. Умойся, сударыня!..» Я умывалась и плакала. «Да будет ли этому конец? — закричала Марья. — Я оторву голову твоей тетере!» Угроза эта вмиг осушила мои слезы. «Не буду, не буду плакать! Позволь ей лежать на месте». — Нянька ворчала что-то про себя; однако ж не тронула мою птицу, которая была еще жива.

Возвратясь домой, я не нашла уже ее. Нянька сказала мне, что птица издохла и что она выкинула ее на подволоку; от этой вести у меня замерло сердце. Всякому взрослому это покажется смешно, но тогда юная душа моя была так же полна чувством печали от этой потери, как семь лет спустя от трагической смерти Алкида.

Я с нетерпением дожидалась часа, в который мне ведено было ложиться спать; и как только нянька, уложив меня, пошла в девичью ужинать, я тотчас встала и, не смея взять с собою огня, пошла впотьмах искать ощупью своей умершей птицы. Проползав четверть часа по песку и глине, которые обыкновенно насыпаются на подволоках, я нашла наконец охладевший труп тетери. Ах! с каким прискорбием, сожалением, любовью и вместе радостью прижала я к груди своей мертвую птицу!.. Я плакала и целовала ее, легла с нею на постелю и закрылась одеялом совсем с головой, чтоб нянька не заметила ее. Между тем Марья возвратилась и, верно б, не подозревала ничего, если б я не обратила на себя ее внимание необыкновенными движениями своими под одеялом. Мне, как страусу, казалось, что нянька ничего уже не видит, потому что я сама не вижу ее. Итак, я, окутавшись кругом своим одеялом, обнимала, целовала мертвую тетерю, называла ее самыми нежными именами и потихоньку плакала. Марья, слыша мой шепот, поцелуи, какие-то беспокойные движения руками, сорвала вдруг с меня одеяло, говоря: «А! ты с тетерей!..» — и с словом этим схватила птицу и выкинула из окна через забор на улицу.

Целую неделю я плакала всякую ночь о своем пернатом друге и всякую ночь видела его во сне. Время утишило эту грусть. Я не смела уже ни к чему прилепиться сердцем, не смела любить ничего, потому что чувство это считалось во мне не тем, чем оно было — прекрасным качеством души, но просто шалостью, и как шалость строго мне запрещалось. В двенадцать лет все эти малолетние привязанности ребенка заменились сильным пристрастием к Алкиду; а как этот предмет моих ухаживаний и попечений был вне власти моей няньки, то мне и легко было утаить от нее это обстоятельство.

Я была уже на возрасте, когда случилось мне прочесть в одном из тогдашних журналов какое-то происшествие, взятое из времен идолопоклонства. Там описывался молодой человек, которого отцу Зевес позволял просить от него милости, какой ему рассудится, с полною уверенностью получить просимое. Безрассудный отец употребил это позволение на то, чтобы уничтожить в сыне своем все порывы добра и храбрости. При каждой замеченной им наклонности к чему-нибудь отец бежал повергнуться к подножию истукана Зевесова, прося погасить в душе сына его: то чувство любви, то порыв щедрости, то вспышку мужества!.. И Зевес, хоть неохотно, лишал, однако ж, юношу постепенно всех лучших даров природы, отнимая их один за другим. К двадцатилетнему возрасту сын, благодаря неусыпным мольбам отца, сделался хоть брось. Я находила большое сходство в участи своей с участью этого молодого человека. В самой нежной юности моей отличительными чертами моего характера были: живое сострадание ко всему, что было угнетаемо; готовность поделиться всем, что есть у меня лучшего, с моими подругами и пылкость к защите слабого от притеснений сильного. В этом последнем случае я увлекалась порывом негодования, не спрашиваясь сил своих. Мне не было еще полных тринадцати лет, когда я в один день, проходя вечером мимо детской горницы, услышала плач маленькой сестры моей; я отворила дверь, и дитя бросилось ко мне, прося защиты от матушкиной горничной женщины, которая хотела уложить ее спать, а ей хотелось еще поиграть. Я просила Марину позволить ребенку заняться еще с полчаса своими игрушками, но сердитая малороссиянка закричала: «Нет, нет! пусть сейчас ложится!» — и взяла ее за руку, чтоб поставить перед образом, говоря: «молись же!» и начала было ей сказывать молитву, но не имела для этого времени: руками, которые управляли Алкидом, я охватила стан Марины, с силою подняла ее от пола и, несмотря на сопротивление, вынесла ее в сени на крыльцо и убежала обратно в горницу к сестре, которая прыгала и хохотала от радости. Я заперла за собою дверь и не впустила Марины прежде, пока не прошли те полчаса, которых просила я у нее из чести. К счастью, женщина эта постыдилась жаловаться матушке, а то мне за мое заступление пришлось бы дорого расплатиться.

К концу тринадцатого года моего от рождения я сделалась равнодушна ко всем забавам своего возраста и, благодаря стараниям отнимать у меня все, к чему только замечали мою привязанность, я не любила никого, исключая Алкида; но привязанность к коню не имела ничего сходного с привязанностью к кроткой и ласковой собачке или к какой-нибудь птице. К бодрому и сердитому Алкиду отношения мои были совсем другие: я могла укрощать его, принося ему овса, хлеба, сахару, соли, и после садиться на него и ездить, где ему хотелось из благодарности возить меня; но я не могла быть с ним всегда, не могла так пестоваться, как с собачкою или птичкой: надобен был и другой возраст, и другие обстоятельства, чтоб сделать Алкида столько бесценным для меня, как он был впоследствии.

Когда истребились все роды привязанностей в сердце моем, когда я уже не любила никакого животного, ни четвероногого, ни двуногого, тогда, надобно думать, от пустоты душевной сделалась я до нестерпимости резва; и не удивительно, что матушка решила от меня избавиться, отвезя в Малороссию к бабушке. Станные выходки мои тем более ненавистны были матери моей, что я росла, как говорится, не по дням, а по часам. Я имела просто вид осьмнадцатилетней девки — по крайности, так говорила матушка; а шалостей моих нельзя было бы простить и пятилетнему ребенку!.. Каково было матери моей видеть дочь, почти взрослую и к тому ж нелюбимую, лозящую по деревьям, сбивающую камнями гнезда с них; а что всего страннее, смешнее и неприличнее, прыгающую с крыши или балкона на землю!.. Не понимаю и теперь, как я не изуродовалась, как не повредила чего-нибудь внутри, соскакивая с четырехаршинной высоты вниз.

В Малороссии резвости мои понемногу утихали с первых месяцев; только я бегала за девками с змеею в руках и выискивала каждый вечер самую огромную лягушку, чтоб посадить ее под кресла, на которых сидел дядя мой. Он смертельно боялся этой гадины, и страшная суматоха, которая поднималась в целом доме от моей лягушки, казалась мне очень занимательным спектаклем!.. А всего утешительнее было для меня чистосердечное удивление тетюшки, по какому чуду лягушка заходит каждый вечер на второй этаж дома и именно для того только, чтоб сидеть под креслами дяди моего!.. Но чтоб подумать на меня, приписать это моей шалости — сохрани боже! Вид мой был в совершенной противоположности с моими поступками. Строгое содержание в доме матери, привычка бояться ее напечатлели на физиономии моей какую-то робость, по которой никак нельзя было предполагать во мне способности к таким отчаянным шалостям.

К концу четырнадцатого года моего я увидела опять себя под кровом отеческого дома, и время прошло до шестнадцати лет, как выше описано.

[Оглавление](#)

ДОН

В чистых патриархальных нравах войска Донского, в его родной земле я находила самым благородным, что все их сотники, есаулы и даже полковники не гнушались полевыми работами!.. С каким уважением смотрела я на этих доблестных воинов, посевших в бранных подвигах, которых храбрость делала страшным их оружием, была оплотом государству, которому они служили, и делала честь земле, в которой родились! С каким уважением, говорю, смотрела я, как они сами возделывали эту землю: сами косили траву полей своих, сами сметывали ее в стога!.. Как благородно употребляют они время своего отдохновения от занятий воина!.. Как не отдать справедливости людям, которых вся

жизнь от юности до могилы посвящена пользам или отечества, или своей семье; как не отдать им преимущества пред теми, которые лучшее время жизни проводят, травя беззащитных зайцев и отдавая хлеб детей своих стае борзых собак!

Как я теперь весела от утра до вечера!.. Воля — драгоценная воля! — кружит восторгами голову мою от раннего утра до позднего вечера! но как только раздастся мелодическое пение казаков, я погружалась в задумчивость, грусть налегает мне на сердце, я начинаю бояться странной роли в свете, начинаю страшиться будущего!.. Национальный напев казаков трогает, отзывается грустью, и сюжет песен их почти всегда трагическое происшествие, где главную роль играет душа добрый конь!.. и, разумеется, седло черкесское, уздечка шелковая, стремяна позолочены!.. Второе лицо: молодой казак, тяжело раненный!.. Народные песни добрых казаков показывают воинское ремесло их и неиспорченность нравов; всегда воспеваемый герой, делая предсмертные поручения душе доброму коню, велит ему бежать стрелой к дому своей матери и говорить почти так же, как у малороссиян:

*Да як вийде к тобі да стара мати,
Ой знай, коню, що и одвичати.*

Уважение к родителям, безусловное повиновение воле их и заботливое попечение об них в старости служат отличительною чертою свойства обитателей Дона и несомненным доказательством чистоты их нравов.

Оглавление

ГУДИШКИ

Я перехожу из очарования в очарование!.. Польша!.. одно это слово сводит меня с ума от радости!.. Итак, вот этот край... театр стольких происшествий!.. Но где все то высказать, чем полна душа моя!.. Это тот край, в котором любовь поставила престол свой!.. Это тот край, в котором женщина — владычица!.. Женщина — герой, полководец, министр!.. Это тот край, в котором женщина управляет всем, покоряет все единственную, неодолимую властью, властью ума, красоты и любезности!.. Сколько блеска, сколько жизни, сколько чарующей таинственности в прелестном краю этом, и как прекрасны места здесь!..

Или уже это новость причиную, что все здесь приводит меня в восторг!.. Но мне даже эти глинистые поля, усеянные камнями, кажутся чем-то необыкновенно хорошим; я хожу по ним несравненно с большим удовольствием, нежели дома ходила по Старцовой горе, к Ерамаске, к Сигаевской мельнице, по дороге к Дубровке!.. У нас эти места считаются картинными; но здешние места имеют пред ними два великие преимущества: одно то, что я вижу их в первый раз, что они новы для меня; а другое то, что они полны воспоминаний, и каких воспоминаний!.. говорящих сердцу, душе, наполняющих ее чувствами умиления, удивления, энтузиазма!.. Сколько имен приводят на память эти безмолвные поля!.. Ян Собиеский!.. Валленрод! Альдона!.. Все, что я когда-нибудь читала о происшествиях этого края, о войнах Литвы, все это оживляется предо мною, все это движется на этих полях, возделываемых теперь худыми, бедными *chlорami* (мужиками (польск.)), которые следят меня бессмысленно глазами и никак не понимают, зачем молодой улан таскается во всякую пору по их болотистым полям, останавливается, смотрит то в ту, то в другую сторону, и лицо его делается то печально, то радостно!.. Что может дать им понятие о том чаде, который кружит теперь мою голову!.. Литвин мало чем разнится от тех баранов, с которыми живет в одной избе!.. Уж нет тех литвинок, ходивших некогда к Вилии за водою; ни об одной из них нельзя сказать *piekna litwinka co w niey szerepie wode, ma serce*

czystsze, slioznicysze jagody!..(прекрасная литвинка, что черпает в ней воду, сердцем чистая, прекраснейшая лицом (польск.)). Теперь это просто женщины, дурные лицом, дурно одетые и которые говорят: поручникос деньчкос праша рашке, то есть: денщик поручика просит миску. Можно б, кажется, разочароваться! Однако такова сила воспоминаний: я смотрю с удовольствием на бледных, худых chłopów z koltunami(мужиков с колтунами (польск.)) на голове, на безобразных баб и девок с зобами на шее, потому что это потомки тех, которые черпали воду в Вилие и которых красота превосходила красоту струй, отражавших в себе небо голубое!.. те, которые доблестно воевали с рыцарями храма!.. одним словом: это литвинки! это литвины!..

Пока эскадрон наш выправится, выучится и выхолится так, чтоб можно было его представить с пользою пред лицо неприятеля, Казимирский велит мне и Вышемирскому выполнять все обязанности службы наравне с старыми солдатами. Товарищ мой находит это распоряжение очень неприятным, а я напротив. Унтер-офицер мой, видя, что я всякое поручение исполняю скоро, охотно и с удовольственным видом, мало заботился наблюдать очередь в своих нарядах; но как только надобно было куда послать, сейчас посылает меня. В один вечер принесли от ротмистра записку, которую надобно было отвезти к одному из взводных начальников, квартировавшему от нас в пяти верстах, в селении Гудишках. Солнце уже закатилось, когда унтер-офицер пришел ко мне на квартиру с этою запискою. «Съезди, Дуров, с этою бумагою к поручику Б-ву; теперь еще не так темно, солнце только что село; не тебе бы очередь, да где того ленивца докличешься. Пожалуйста, поезжай ты». На этот раз мне что-то не хотелось ехать; однако ж я оседлала Алкида и поехала в раздумье: не слишком ли я уж ревностно берусь за всякое поручение?.. Ведь этим никого не удивишь! Непросвещенный унтер-офицер рад случаю без хлопот и без возражений посылать одну меня, избегая чрез то ссоры с беспокойными головами!.. На беду, весь этот полк из дворян, хотя, не во гнев им, я думаю, что дворянство их легко, как пух; но, несмотря на это, каждый из них не уступит ни на шаг — так они всегда выражаются, — если думают, что ими повелевают пристрастно. Между тем что я ни думала, но все ехала вперед, и в поле стало совсем темно; дорога, однако ж, была видна, я ехала рысью, чтоб поскорее отделаться от своего поручения, и вот въехала в деревню, подъехала к окну первой избы, постучала в него поводом. «Чего тоби?» — спросил женский голос. «Как называется эта деревня?» — «Деревня? Гудишки». — «А где квартира поручика?» — «Якого поручика?» — «Офицер где стоит?» — «Офицер? здесь нет офицера!» — «Это не те Гудишки, товарищ, — отозвался голос солдата, — есть другие, в версте только отсюда». — «Да куда ж надобно ехать?» — «Да прямо, куда ж больше? здесь одна только улица; выедешь за деревню, так увидишь Гудишки вплоть». Я поехала, выехала за деревню и точно увидела селение очень близко; но прямо проехать к нему нельзя было: надобно объезжать очень большое болото, поросшее кустарником. Нечего делать, я поехала кругом. Наконец я и опять в селении, опять стучу поводом в слюду окна, опять тот же вопрос: «чего тоби?», и опять на вопрос вопрос: «как зовется деревня?», и опять ответ: «Гудишки»; одним словом, точь-в-точь так, как было в первых Гудишках: «где офицер?.. какой офицер?.. здесь нет офицера!»... Даже Алкид мой выходил из терпения! Здесь тоже стояли солдаты. «Не знаете ли вы, где здесь квартирует уланский поручик Бо-в?» — спрашивала я двух или трех проходящих мимо меня драгун. «Как не знать... Один уланский офицер квартирует версты две отсюда, в Гудишках». — «Опять! да ведь это Гудишки?..» — «Конечно, Гудишки; но здесь стоим мы, драгуны, а уланы дальше». — «Нельзя ли мне дать проводника?» — «Только наметните им об этом, так ни одного мужика не найдете в целой деревне, все до одного спрячутся». — «Ну так хоть расскажи мне, как найти эту деревню, где стоят уланы». — «Да это под боком; как за деревню, так и увидите. Зимой полверсты только дороги, а теперь болота не допускают; кругом будет версты две; но дорога все одна, не заплутаетесь; держитесь только все вправо». Я поехала. За деревнею дорога круто

повернула влево; а ведь мне сказано держаться вправо; но вправо нет вовсе дороги... Однако в той стороне отдавался собачий лай, итак, там должна быть деревня; к тому ж и Алкид мой сам собою повернул тотчас направо. Он хотел было галопировать, однако ж я удержала. Кто знает, чем еще кончится и когда кончится такой несчастливый поход.

Более часу ехала я почти наудачу, потому что дорога то появлялась под ногами коня моего, то опять исчезала. Здесь я не могла ввериться безусловно инстинкту Алкида, потому что рисковала попасть в болото, если б дала ему волю идти прямо в ту сторону, где он предчувствовал жилье; итак, при малейшей топкости места я сворачивала в сторону; но, выехав на твердую землю, опять направляла Алкида туда, откуда от часу явственнее слышался лай собак; наконец я вдруг увидела себя близ домов. Все уже спало в этих низеньких, крытых соломой лачужках, огня не видно было ни в одном окне. Я проехала далее в середину деревни; но надобно же было начать тем, чем начинала в двух первых деревнях: надобно было спрашивать, что это за деревня? Начался приступ по-прежнему. На стук мой в окно отвечала сперва одна только маленькая собачка испуганным ворчаньем, а после пронзительным лаем с визгом; этот лай и мой стук разбудили наконец все, что было усыплено в мрачной внутренности этого обмазанного короба, в котором литвин живет и называет своим домом. «А кто там?.. чого тобі?» — «Какая это деревня?» — «Гудишки». Я несколько времени оставалась безмолвна; мне что-то уже страшно было спросить: где квартира офицера? и я решилась прежде узнать, кто стоит здесь — конница или пехота, итак, я начала опять спрашивать: «А кто квартирует у вас?..» — «Коннопольцы». — «Ах, слава богу! наконец я нашла, что искала. У кого стоит офицер? Укажи мне!» — «Здесь нет офицера». — «Как?..» — «Чого тобі?» — «Нет офицера?» — «Да нет же; офицер в другом селе». — «Далеко отсюда?» — «Четыре версты». — «От часу не легче! А как [называется] то село, где офицер?» — «Гудишки». — «Боже мой! не заколдована ль я!.. Что за проклятые Гудишки обступили меня кругом!.. Будет ли им конец!..» — это я только думала... Наконец опять стала спрашивать: «Много уже прошло ночи?» — «А бог знает! думаю, что уж будет за полночь.»

Что тут делать?.. Из Гудишек не выпутаешься!.. Дороги не видно, а теперь ехать четыре версты!.. Не ехать нельзя!.. Проводника не дадут!.. Поеду опять наудачу. «Куда же мне ехать из деревни?» На этот вопрос я не получила ответа. Пока я думала и передумывала, что делать, крестьянин заснул. Снова стучу, снова лай и визг, и снова: «чого тобі», но уже с досадою и бранью: «от се якийсь бис наскочыв!..» — «Как проехать в те Гудишки, где офицер?..» — «Прямо, все прямо! никуда не сворачивать!» Ну хорошо, это, по крайности, безопасно; теперь уже не заплутаюсь, прямо ехать немудрено!.. Алкид шел нехотя; ему, верно, казалось очень странно, почему я ни в одной деревне не остановилась ни на минуту, не вставала с него и почему он этой ночи не может никуда отвезть меня!..

Я продолжала ехать все прямо и думала уже, что как по шнуру докачусь наконец к месту своего назначения. Теперь я не видела надобности тащиться шагом, дотронулась легонько ногами к бокам Алкида; он поднялся в галоп и после двух скачков стал, как вкопанный... Передо мною был забор вышиною вровень с головою коня моего и тянулся вправо и влево на такое пространство, о котором я не могла иметь никакого соображения, потому что было темно, и я видела только то, что было передо мною!.. Прошу теперь верить чему-нибудь! Что могло быть определительнее этих слов: «прямо, все прямо, никуда не сворачивая!»... Но как же не свернуть, когда прямо забор такой вышины, которую нельзя перескочить! Как тут не свернуть!.. Я поворотила направо и проехала вдоль забора. Я все ехала, забор все тянулся. Наскуча видеть его неотступно с левой стороны, я оборотила лошадь, проскакала в галоп до того места, от которого повернула вправо, посмотрела через забор, нет ли там дороги; но, не видя ничего, решилась ехать влево до тех пор, пока проеду эту досадную загороду. Она, однако ж, не кончилась, но повернулась круто

вправо, туда же повернула и я, рассудя, что благоразумнее держаться чего-нибудь солидного, нежели плутать наудачу в поле.

Мне казалось, что я проехала верст около двух все близ забора, по крайности я так думала, бесполезно стараясь вслушаться, не лает ли где собака. Все было тихо!.. Теплая и прекрасная весенняя ночь была темна, земля сыра, и снег не во всех местах еще сошел. Несмотря на темноту, я могла заметить, что в стороне этой было много болот и что они местами поросли мелким кустарником. Эти соображения заставили меня наблюдать большую осторожность и держаться своего забора как такого путевода, с которым я не рисковала утонуть в болоте; но вот забор опять круто поворачивает вправо!.. Вплоть к углу его подошла дорога; но куда и откуда?.. На эти вопросы отвечать некому. Однако ж если я все буду поворачивать направо, то, разумеется, объеду кругом забор и не подвинусь ни на шаг ближе к селению; итак, надобно ехать дорогою. Не может быть, чтоб она была через болото! Разве это зимняя!.. Надобно бы рассмотреть. Я встала с Алкида, наклонилась к земле и рассматривала дорогу: на ней видны были недавние следы колес и копыт конских, я опять села на седло, но Алкид, казалось, был недоволен этим: он не трогался с места и оборотил круто свою голову ко мне.. Я тотчас встала опять и повела его в поводу; он пошел, наклоняя морду до земли и стараясь захватить траву, которая только что начала показываться. Бедный конь устал и проголодался!

Наконец нетерпение кончить скорее странный и неприятный вояж свой взяло верх над желанием дать отдых Алкиду; я села на него и, не спуская глаз с дороги, поехала рысью. Скоро я услышала глухой лай собаки!.. Даже Алкид мой обрадовался при этом сигнале близкого окончания нашего ночного плутания, он вздрогнул и пошел в галоп; я не удерживала. Чрез полчаса что-то зачернелось вдали. как будто густая темная туча лежала на земле.

Ближаясь с каждою минутою более к черной массе, я увидела ее наконец обратившуюся сперва в лес, потом в стоги сена, а наконец в ряды домов, похожих на раздавленную черепаху, маленьких, почерневших, с оборванными соломенными крышами. «Худая стоянка лучше доброго похода!» — пословица всех старых солдат сейчас пришла мне на мысль, как только я почувствовала, что вид этих закоптелых развалин обрадовал меня не меньше, как и моего Алкида. В деревне все было погружено в глубокое усыпление, даже собаки лаяли нехотя, изредка и каким-то сонным голосом. Туго сплетенный конец ремennого повода опять стучит в слюду окна, и я уже ожидала обычного и неизбежного чого тоби?, однако ж на этот раз меня спросили по-польски: «Kto taki?...» (Кто такой?.. (польск.)). Я отвечала: «Коннополец». — «A kolego!.. jak sie masz? coz to na kresach?...» (А, коллега!.. как себя чувствуешь? ты на кресах?.. (польск.)) — «Нет, не на кресах; так вздумалось Батовскому послать; на глаза попался!.. Скажи, пожалуйста, где квартира поручика?» — «Какого поручика?» — «Ну, вашего, Бо-ва». — «Он квартирует не здесь!» — «Да это настоящее заколдование!.. Недостает только, чтоб это село было Гудишки и чтоб офицер был не здесь, а около версты отсюда в Гудишках!» — «Да так точно и есть, — отвечал улан, — это село называется Гудишки; в версте отсюда другое, тоже Гудишки; и там квартирует Бо-в. Когда ты так хорошо это знаешь, на что ж расспрашиваешь?»

Голова у меня шла кругом!.. Уж не сделалось ли какое преобразование в эту ночь во всем, что было построено на шаре земном!.. Кто мне поручится, что к рассвету я не увижу всю поверхность нашего полушария, усеянную Гудишками, и ничем более, как Гудишками! Что это значит?.. Не из земли ль они возникли в эту ночь? Алкид бил копытом в землю и оборачивал голову ко мне то направо, то налево. Ах, бедный конь! бедный конь!.. А ведь еще надобно ехать!.. «Ты точно уверен, товарищ, что не более версты до квартиры Бо-ва?» — «Я думаю, и версты не будет; это тотчас за селом, как выедешь».

Я погладила моего Алкида. Нечего делать, мой добрый конь, уж эту версту проедем, а там и на покой. Я поехала рысью и точно увидела что-то чернеющее недалеко от села. В полной уверенности, что это наконец квартира офицера, к которому записка, я поехала самую большую рысью и приехала к густому лесу... Я встала с лошади, решась идти пешком всю дорогу, сколько ее еще подготовит мне насмешливый случай. Мне чуть не до слез было жаль моего Алкида!..

Я вступила в темный лес; дорога шла широкая и многоезженная, заплутаться нельзя!.. Алкид беспрестанно наклонял голову, искал травы; но тут ее не было. Между тем начало светать; я увидела, что лес очень редок и невелик. При выходе из него дорога разделялась надвое и пошла в разные стороны. При помощи рассвета можно было усмотреть впереди две деревни; я пошла наудачу направо, в полчаса дошла до ней и в первой избе имела удовольствие еще раз услышать, что деревня эта — Гудишки; но что офицер квартирует не здесь, а с полверсты отсюда, в других Гудишках!.. Очень рада! но пусть проклятие ляжет на все Гудишки, сколько у вас их есть, а я далее не поеду!.. Я отвела моего Алкида в корчму, расседлала, подостлала ему соломы, положила сена, накормила хлебом с солью, укрыла своей шинелью; чрез четверть часа напоила водою, смешанною с овсяною мукою, и, оставя его под надзором жидовского работника; понесла записку пешком в деревню к Бо-ву, потому что она точно была не более полуверсты от места, где я оставила отдыхать мою лошадь.

«Почему это глупец Батовский не прислал этой записки вчера? — спрашивал меня Бо-в, проворно вскакивая с постели (он только что проснулся). — Здесь написано, чтоб я прибыл в эскадронную квартиру с моим взводом в четыре часа утра!.. Когда получена у вас эта записка?» — «Вчера вечером и тотчас отправлена к вам. Тут никто не виноват, кроме странного случая: я всю ночь ездил из Гудишек в Гудишки!» — «Тут никто не виноват, кроме дурака твоего унтер-офицера!.. Разве он не мог дать тебе проводника?..» Между тем Бо-в поспешно одевался и приказал седлать лошадей. Попрося у него позволения удалиться, я пошла скорыми шагами обратно в деревню, где оставался мой Алкид. Он спал очень покойно на своей соломенной постели.

Оставя его покоиться, я взшла в корчму. Там, за перегородкою, раздавалось жалобное завывание евреев, молившихся богу; за столом сидело уже несколько потомков Валленрода; перед ними стояла кварта водки и лежало несколько обаранок. При входе моем они было с робостию поднялись с своих мест, говоря: «Dobry den panu Zolnierzowi...» Но, взглянув на меня, уселись опять очень покойно, сказав мне довольно фамильярно: «Siadyi, moskaliu молодой, с нами !.. Chcesz wodku?» (Добрый день пану военному... Садись, русский... Хочешь водки? (польск.)). — «Нет, друзья, благодарю; пейте сами». Я села на стул и не знала, как сладить со сном, который смыкал глаза мои. Один из литвинов вынул гадкую табакерку из бересты, otvorил ее и с услаждением начал нюхать табак, который, без сомнения, был еще хуже того куска березовой коры, в котором хранился. Я слышала, что табак прогоняет сон. «Можно мне взять немного?» — спросила я, подойдя к столу и протягивая руку к табакерке; но мне не было уже надобности в ней; довольно приблизиться к той отвратительной пыли, которою она была наполнена, чтоб чихнуть ровно двадцать раз и чтоб прошел сон не только от усталости, но даже если б наслан был очарованием.

Набожное вытье за перегородкою утихло. Арендатор, сухой, длинный жид с плутовскою физиономиею, но вместе умною и насмешливою. Он спросил меня, не прикажу ли я сварить для меня кофе?.. «Моя жена, — говорил он, — делает его превосходно!» Я хоть не любила кофе, потому что дома никогда мне не давали его, однако ж согласилась на предложение еврея.

Пока Сора и Рифка (Сарра и Руфь) хлопотали и суестились подкрашивать кофе, чтоб был темен (без крепости, однако ж, приличной этому цвету), пока искусно подбалтывали муки в молоко, чтоб дать ему вид густых сливок, еврей подсел ко мне разговаривать: «Вы, конечно, дворянин?» — «А что?» — «Это видно по всему». — «Можно ошибиться; но оставим это. Для тебя, я думаю, все равно, кто б я ни был, а вот скажи мне лучше, кому принадлежат эти деревни? — Я указала рукою в окно, из которого видно было большое пространство плоской, болотистой земли, с частыми низенькими перелесками и кустарниками, а между ними множество небольших сел, или весок, как их называют в Польше. — Одного они помещика или разных?..» — «А! это вы спрашиваете о двенадцати Гудишках?.. Они все принадлежат одному пану Шамбеляну, короны польской графу Торле». — «Но зачем же всем им дано одно название?» — «Не могу вам рассказать хорошо, отчего именно, потому что и сам худо знаю об этом. Носится какое-то предание, что еще во время Литвы граф этот переселился к нам откуда-то, кажется, из Польши. Он был очень богат, имел большую семью и много людей; в числе прислуги его был мальчик лет одиннадцати, чудесной красоты, но самого дьявольского свойства: детские шалости его носили на себе резкий отпечаток злодеяний. Я знаю многие из них, но не хочу оскорблять вашей чувствительности этим рассказом; довольно вам знать, что мальчик этот имел способность совершенно натуральную подражать крику всякого животного, всякой птицы и всякому звуку, как-то: шелесту листьев, журчанию воды, шуму каскада, разбитому стеклу, одним словом, всему, что только дает голос свой в природе... Но всего лучше копировал он гул колокола погребального!.. Настоящий звук не производил такого замиранья сердца, как гудение этого зловещего голоса!.. За это страшное преимущество все семейство графа называло его Гудишек; иногда присоединяли к этому название грабовый, но после отменили, и при нем осталось только первое. Тут я уже теряю нить происшествий. Известно только то, что у графа было одиннадцать дочерей, что Гудишек этот вырос, был очень хорош собою и был одним из величайших злодеев; что семейство графа погибло каким-то сверхъестественным образом в одну ночь; что граф был свидетелем ужасов, от которых сошел с ума, но жил, однако ж, долго и пришел в рассудок за один час только до кончины. Говорят, будто бы он просил наследника, племянника своего, тоже графа М-го, чтоб он дал другое название всем Гудишкам; но, видно, воля его не была уважена, потому что они и теперь так называются... Но какую связь имеет это наименование деревень с тем, которое дано было злому мальчишке, об этом нет даже ни малейшего намека в рассказах народных, хотя очевидно, что они должны быть тесно связаны между собою каким-нибудь необыкновенным случаем... Надобно думать, что тайна эта слишком ужасна и мало делает чести фамилии, к которой относится, когда употреблены такие успешные меры, чтоб скрыть ее совершенно». — «И нет никаких догадок?» — «Никаких».

Чернобровая Сора, с быстрыми глазами и алым ртом, поставила передо мною поднос со всем, что должно быть подано к кофе, и спросила: сам я буду наливать или прикажу ей, и с этим словом нанесла руку на сахарницу, чтоб взять кусок. Я поспешила остановить... Жидовки очень хороши лицом, но сахар надобно брать самому.

Смесь эта, которую Сора величала кофеем и которую по справедливости можно было назвать сладкою микстурою, укрепила меня и ободрила. Счастливое свойство молодости! Уж, верно, совершеннолетнему человеку кофе этот, вместо пользы, принес бы вред.

Расплатясь с арендатором, я вышла проведать Алкида. Он уже был неспокоен и приветствовал меня тихим, благородным ржанием. Алкид редкий конь!.. У него есть ум и какой-то род вежливости; он никогда не ржет глупо, во весь голос, как делают другие лошади. У него, напротив, есть что-то мелодическое, что-то нежное в этом единственном способе, какой дала ему природа изъяслять свою радость.

Возвращаясь на квартиру, я имела удовольствие окинуть глазом все двенадцать Гудишек, рассеянных кругом не более как на двадцати верстах расстоянием, и благодарила судьбу, что она не заставила меня объехать их всех и не позволила услышать прежде о проклятом паже Гудишке. При всей смелости, данной мне природою, гробовый Гудишек мерещился бы мне на каждом шагу.

«Я думал, что ты утонул в болоте и с Алкидом», — сказал мне Батовский, когда я приехала на свои квартиры. «Да ведь только этого и недоставало». — «А что?» — «Да так! вы протурили меня без проводника, вечером, в село Гудишки... Как бы вы думали, сколько их здесь?..» — «Кого?» — «Гудишек». — «Не знаю! Я думаю, одни только». — «Их ровно двенадцать, и я был под видимою защитою неба, потому что проехал только в пять из них, а остальные увидел уже сегодня утром, проезжая мимо».

Оглавление

ДОМБРОВИЦА

Уланы нашли какой-то секрет расположить к себе старого графа П. а. е. а, а особливо жену его, до такой степени милостиво, что так же долго и шумно веселятся в доме его, как будто у кого-нибудь из равных себе, молодых шалунов. Нет уже и в помине раннего ужина в восемь часов; напротив, это время, кажется, никогда уже не настает в сутках, проходящих в доме графа; по крайности, на часах мы уже не видим стрелки на числе «восемь». Но прямо от шести или семи с половиною она перескакивает к десяти; но не прежде, как в самом деле будет уже двенадцать. Иногда граф удивляется странному ходу своих часов; но графиня даже и не замечает этого. Из всего общества нашего веселее всех она сама.

Я так же ревностно посещаю графские балы и так же ревностно танцую, как и мои новые товарищи; хотя в последнем находят меня очень застенчивым, особливо дамы очень неохотно идут со мною, потому что от той минуты, в которую пара моя подаст мне руку, и до конца кадрили или котильона ей должно, как ученику Пифагора, осудить себя на молчание, потому что я никогда ни слова не говорю ни с одною из них, и если моя дама, конечно, для удостоверения, не лишена ль я способности говорить, зачинает сама, то я отвечаю как могу короче и, по большей части, одними: «да» и «нет».

Я никак не могу понять, отчего полковник наш при разводе несколько не похож на то, чем он бывает поутру у себя в комнате. Вчера я пришла к нему часу в десятом рапортовать о исправности караулов и чуть было не спросила его самого: «встал ли полковник?»

Дома ему сорок лет; перед разводом двадцать пять! Дома, и именно поутру, он пожилой мужчина; но когда совсем оденется, это молодой красавец, от которого не одна голова кружится и мечтает.

Старшему Торнези вздумалось очень неудачно пошутить. Мы поехали в Стрельск, по обыкновению, на плетеной бричке, трое; ямщик у нас был мальчик лет четырнадцати, робкий, худой, больной и, как видно, очень запуганный: при всяком повышении голоса кого-нибудь из нас он приметно вздрагивал; я одна только обращала на это внимание и, чтоб сколько-нибудь ободрить его, спросила: «умеет ли он хорошо править?» В ответ на это он ударил длинною хворостиною лошадей своих, которые, однако ж, не прибавили шагу. «За что же ты бьешь их?.. Ведь они хорошо бегут». Другой удар и робкий взгляд были ответом. Лучше замолчать: он, видно, не понимает. Между тем мы подъехали к крутому спуску на поёмные луга; лошади наши были не взнузданы, а пристяжные и не

обвозжены. Я советовала выйти. «Напротив, — отвечал Торнези, — мы тут лихо отхватаем. Послушай, мальчик, видишь ты этот камень, что лежит на дороге?» — «Вижу». — «Ну, смотри же, правь так, чтоб ты непременно попал на него колесом». — «Чую, пане». — И с этим словом ударил лошадей изо всей силы своею хворостиною и точно наскочил прямо колесом на камень. От сильного толчка бричка полетела в сторону, и мы были разбросаны по дороге в весьма картинных положениях; особливо изобретатель этой потехи, старший Торнези, по какому-то чуду, долее нас оставался на воздухе, далее упал и больше ушибся. Безответному вознице нашему не сделалось никакого вреда, чему я была очень рада. «Возможно ли, какой дурак! — говорил Торнези, подходя к бричке, которую мы должны были подымать: мальчик наш не имел силы для этого подвига. — Думал ли я, что он шутку мою сочтет за приказание и переломает нам ребра!...»

Нельзя ненаказанно оскорблять самолюбия людей, и как справедлива эта пословица: что правда глаза колет. Всякую насмешку, какую угодно язвительную, люди прощают, если она несправедлива; но если внутреннее чувство говорит им, что их скопировали удачно, тогда нет непримиримее врага, как справедливо осмеянный человек. Недели две тому назад, в одно скучное и жаркое послеобеденное время, вздумалось мне от совершенного уже безделья декламировать Жуковского Людмилу. Старший офицер, который лег было спать за перегородкою, но, видно, еще не заснул, отозвался вдруг:

«Сейчас видно, что это баба сочинила!...» Ну что бы мне отвечать ему не вдруг!.. Так нет: я тотчас сказала, что он не может судить о том, чего не понимает; а как это была неоспоримая истина, потому что доблестный улан был небольшой грамотей, то ответ мой, заставя его замолчать, сделал, однако ж, из доброго товарища прочного врага, который никогда не пропускает случая дать мне это почувствовать. Взыскания его по службе слишком пристрастны, что иногда выводит меня из терпения, и когда я говорю ему, что «такой вздор, о котором он столько распространяется, мог бы быть сказан в двух словах и не так жестко», то он отвечает: «в этом позвольте уже мне разуместь более вас».

Вечером рассказывала мне молодая госпожа Выр...ва, что в омутистой речке, протекающей близ Домбровицы, поймали неводом черта. «Куда ж девали этот богатый лов?» «Бросили опять в реку». «Вы верите этому?» «Отчасти». «Как отчасти?.. Что вы хотите сказать?» «Что вытащили из реки хоть и не совсем черта, но что-нибудь очень похожее на него».

«Да что ж может быть в наших реках похожее на этого обитателя мрака? Дело другое, в море, там много чудовищ, о которых простой народ не имеет понятия; так, если б одно из них, по какому-нибудь чуду, завелось в нашей речке и было вытащено, тогда можно б поверить сходству его с сатаною... Но как этого нет, так я не понимаю, отчего такой странный слух!.. Не чурбан ли какой, облипший илом, выставился из невода?.. Они от страха не рассмотрели».

«Нет, это было нечто живое; и когда ему дали свободу, то оно бросилось в воду и ушло на дно». «Вы, кажется, хотите напугать меня». «Вас!.. Напугать улана!.. Вот забавно!.. Неужели вы способны испугаться?.. Да и к тому же, что вам за дело до сатаны?.. Я думаю, у вас нет с ним никаких сношений...»

«Теперь нет, но могут быть».

«Право?.. Ах, как это любопытно! Нельзя ли растолковать эту загадку?»

«Какая тут загадка! Тут просто беда. Ведь вы говорите, что mauvaix esprit (злой дух (франц.) вытащен был из нашей речки и опять в нее брошен?» «Да! но что ж из этого?»

«А вот что: в этой речке я всякую ночь купаюсь ровно в двенадцать часов».

«Какой вздор!.. Зачем непременно в двенадцать, в этот страшный час владычества духов, мертвецов и привидений?»

«Шутите, шутите! А двенадцать часов ночи имеют свои привилегии, которых никак нельзя отвергать». «Например?»

«Например, лев рыкает ровно в двенадцать часов ночи, собака воеет, петух поет; в это же время страшный сон видится; сердце ноет; грустно припоминается потеря невозвратимая друга, отца, чего-нибудь еще более милого, чем друг и отец; и все это непременно в полночь! Хоть посмотрите тогда на часы, когда это случается с вами. А, кстати! и срок близко. — Я указала Вы....вой на часы; стрелка была на десяти минутах двенадцатого. — Простите! Оставляю вам свободу для испытаний». «Вы домой?» «Нет, в реку». «Шутите! К чему так поздно?»

«Раньше нельзя: днем полон берег людей; вечером то на службе, то у вас; одна полночь моя».

«Смотрите, однако ж, будьте осторожны. Оставляя все вздорные слухи, легко может быть что-нибудь опасное в этой реке, исполненной омутов. Советовала б не искушать...»

«Кого?.. Вы, верно, хотели сказать: не испугать?.. Не опасайтесь, не испугаю и не испугаюсь: в омутах нашей речки обитают одни только раки и караси».

Оконча это пустословие, я в самом деле пошла купаться. В целой Домбровице отзывались одни только сигналы часовых, остальное все было погружено во сне; ночь была темная и тихая; я сбежала на берег, разделась и вошла в воду, ни о чем так мало не думая, как о страшилище, вытащенном рыбаками, и вовсе не ожидая, чтоб оно пришло сделать мне компанию вместе купаться. Противоположный берег хотя был близок, но как было очень темно, то его и не видно, но слышу я, однако ж, что-то бросилось с него в воду и прямо против меня; а как вода все-таки имела какой-то отблеск, то мне и видно было, что существо, прыгнувшее в воду, плыло прямо ко мне, что оно было черно и космато, но не слишком велико; впрочем, огромность его могла скрываться в воде. Оно плыло быстро, сильно рассекало воду и еще сильнее пыхтело. Я рассудила посторониться, чтоб неведомое животное могло беспрепятственно выйти на берег; итак, приняв в сторону шага на три, я имела удовольствие видеть, что на берег выскочила свинья и бросилась бежать со всех ног, верно, испугавшись моей головы, которая одна только виднелась поверх воды.

На другой день, тотчас после развода, я пошла к Выр....вой рассказать, как неблагородно превратился лукавый. Она много смеялась, и мы согласились с нею, что всем чудесностям служат основою почти всегда похожие на этот случай... Например, если б вместо меня вчера купался суеверный крестьянин или солдат и был свидетелем этой, очень естественной, переправы нечистого животного, кто б его уверил тогда, что это не сам Луцифер собственною особою изволит переплывать реку?

[Оглавление](#)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАТЕИ

Одного дня собрались все мы у Ар..., и было уже около девяти часов вечера, когда пришел к нам Груз...в. Он возвратился из рекогносцировки: так называл он невольную прогулку свою по грязному местечку в звании дежурного по караулам. «Что за негодное время, братцы! — говорил он, сбрасывая мокрую шинель свою на руки Ар...ва денщика. — Что за негодное время! Посмотрите вы на этот дождь, полюбуйте́сь им! На что он похож? На мак, на пыль, на мглу и на все это вместе!.. А что за великолепная грязь! Как зеркало!..» Груз...в расположен был, кажется, высказать несколько острот и сравнений, по его мнению, очень замысловатых; но как его никто не слушал, то он оставил бесполезный труд и подошел к столу посмотреть, чем его товарищи так прилежно занимались.

Шестеро их сидели около этого стола в глубоком молчании, устремля неподвижные взоры на руки седьмого, раздававшего, подобно Зевесу, направо и налево злое и благое.

Гру...в поместился тут же, также замолчал и также устремил взор на эти две руки, из которых одна была в непрерывном движении. Наконец радостное восклицание Р...: «Паллада моя!» нарушило всеобщую тишину и было сигналом к шуму, смеху, восклицаниям.

«Фортуна во всем потворствует своему баловню, — говорил Гру...в, — именно Палладу хотел он выиграть, и вот она его!» Раз... оглушил нас, крича во весь голос своему неповоротливому денщику: «Робакон!.. Глух, что ли, ты? Поди на конюшню ротмистра Бе-е-го, возьми там вороную кобылицу Паллалу и отведи ко мне; вели поставить особливо от других лошадей и покрыть голубою попоной. Послушайте, господа, я не играю более. Я без памяти рад, что залучил к себе красавицу Палладу, и уж, верно, не порискую опять потерять ее; а сверх того, мне уже до смерти надоело играть!» — «И мне тоже», — сказал Ч...ий, отталкивая от себя карты далеко на средину стола. «А меня уж просто одурь взяла, — говорил С..., усаживаясь по-турецки на диван. — Ровно три часа водят наших лошадей из конюшни в конюшню и обратно; это жернов Сизифа». — Кто ж вам велит катать его? — А что ж прикажешь другое делать? — Об этом вам стыдно было б спрашивать: ты, Арский, стихотворец, они двое — превосходные музыканты, Лип... — сочинитель, Р...з — поэт... — Боже мой, как ты смешон с своим торжественным провозглашением!.. Две недели сряду уже, как мы слышим всякий день игру Нав...ва и Яз...кого; и признаюсь, что, несмотря на превосходство их таланта, мычанье волов скоро уже покажется мне приятнее этого вечного бренчанья на гитаре. А о сочинителе и говорить нечего: нам не нужны средства от бессонницы; один только поэт был бы похож на что-нибудь путное, если б мог воспевать что-нибудь другое, а не наши балы и праздники полковые. Но этого рода поэзия кажется мне так несносна, так несносна, что я не нахожу слов, чтоб достойно разбранить ее; и предвещаю тебе. Раз..., что если ты не исправишься и будешь нести все ту же околесную: ура да Ура! ура и виват! с тобою навеки, мерзавец или красавец солдат! и бог тебя знает, что ты тут прибираешь; — ну так если другого ничего не будет, то тебе придется разве своего Кастора схватить за хвост вместо черта и читать ему поэтические описания бала, данного таким-то полком дамам такого-то города! Итак, в ресурсе остаюсь я — стихотворец... Но знаете ли, друзья, от какого места моей комнаты отталкивает меня, как электрическою силою? От того угла, в котором стоит стол с моими стихами!

— Вот уже четверть часа, как слушаю тебя, Арский, и не могу понять. Ты говоришь, что Раз... поэт, а ты стихотворец; да разве это не одно и то же?

— Разумеется, нет. Поэтом можно быть и без рифм; а стихотворцы непременно уже должны выражаться в такту: сверх того, название стихотворца, по моему мнению, можно

дать всякому, кто только прибирает рифмы, хотя б в них не было искры человеческого смысла; но быть поэтом может только тот, кто получил от природы этот изящный дар, не зависящий ни от навыка, ни от наук. Название поэта не дадут без разбора всякому, кто пишет стихи.

Ар.... замолчал; офицеры разлеглись на диванах, затягивались табаком, зевали, бранили погоду. Ар.... опять стал говорить: — Ну что ж, господа, неужели позволим скуке победить себя? Вы знаете, что нас побеждать могут одни только прекрасные глаза прекрасного пола, а во всем прочем наше условие, девиз, пароль не поддаваться неприятелю! Итак, давайте ратовать против скуки. Предлагайте всякий, кто какое средство выдумает.

— Я не знаю, что тут предлагать, когда ты обраковал музыку, поэзию и стихотворство.

— Нет, нет! это все хорошо, но только чтоб не вечно одно и то же; не вечно у себя, подле себя или около себя. Для чего бы кругу наших забав и занятий не быть обширнее?

— Ты до чего-то добираешься, Ар...., только я не могу разгадать.

— А вот до чего, друзья: каждый из нас в жизни своей или слышал, или видел что-нибудь любопытное, забавное, трагическое и даже поучительное; пусть всякий опишет одно какое-нибудь из известных ему происшествий или хоть свою какую мысль, но только с непременным условием не выводить на сцену полка, его балов, праздников, парадов, и чтоб как можно реже встречались в наших анекдотах слова лихой конь, шпоры, усы, сабля.

— Усы нельзя ли выключить из этой опалы? Они ведь не принадлежат исключительно одному нашему кавалерийскому сословию.

— Ну, хорошо, усы могут играть роль, если понадобится; а более ничего.

— Позвольте и мне замолвить слово за коня: он также, если не ошибаюсь, сотворен природою не для одних улан или гусар.

— Ну, так! я знал, что если кто уже вступится за коня, так, верно, это Александров! Извольте, пускай конь добрый, боевой, с детских лет товарищ, мой — пускай он гуляет по воле.

— Итак, у нас остаются в изгнании сабли и шпоры. — Полно невпопад остриться. Вы хорошо понимаете мою мысль; говорите же, согласны ли на этот план?

— От всей души, любезный Ар.... . Мысль твоя превосходна! Теперь надобно уговориться, кому начать, как весть очередь и когда вступить в должность Шехеразады?

— Я, с согласия нашего осьмиугольного братства, вручаю тебе жезл управления: избирай и назначай!

— Что он там выдумал? Какое осьмиугольное братство? — спрашивал Р.... .

— Тебе все надобно в рот положить. Ведь нас восемь человек? Ну вот тебе и осьмиугольное братство!..

— Прекрасное объяснение! Поэтому каждый из нас брат и угол вместе!

— Отвяжись, пожалуйста!.. Ну, пусть будет осьмичленное братство!..

Офицеры захохотали: «Нет уже, брат, уволь от названия». — «А для чего ж?.. Чем бы худо было название общество осьмиугольной звезды?» — «Вот еще что вздумал — общество!.. Смотри, ты забыл.....?»

— Ну, ну, бог с вами! обойдемся и без названия. Назначай же. Ар...., кому первая очередь.

— Если вы все единодушно избрали меня распорядителем этих затей, то я присуждаю начать младшему; и так, поочередно, окончится старшим.

— Младшему летами? Ну, так тебе, Александров, выступать на сцену. — Нет, Р.... моложе меня.

— Извини, брат, у нас тот моложе, у кого нет усов...

— Как будто для ваших усов назначен всякому один и тот же возраст. Могут, я думаю, они расти годом ранее или позже.

— Слышишь, Ар....? Это начало бунта. Употреби свою власть.

Ар.... сказал мне, что он как кавалерист руководствуется верностью глаза и что глаз его находит меня моложе Р....; почему он и требует, чтоб я беспрекословно повиновался назначению главы сообщников.

Нечего делать! я уступила тем скорее, что в споре об усах я боюсь заходить слишком далеко.

— К какому ж дню прикажете быть готову?

— Все мы имеем очень хорошее мнение о ваших способностях, итак, завтра надеемся, просим и ожидаем должного приношения на наш осьмигранный жертвенник.

— Что за великолепную чуху занес ты, Ар....? Какой еще осьмигранный жертвенник?

— Ну, да вот, видишь, нас восемь, так уже я не знаю, как и возвеличить это число. Прощайте, однако ж! Полно балагурить: скоро двенадцать часов. Завтра, господа, сборное место у меня. Завтра всех я ожидаю к вечернему чаю. Adieu! Александров, не забудьте, что завтра вы должны явиться к нам с тетрадью в руках.

Такое требование не слишком затрудняло меня: в чемодане моем лежало множество исписанных листов бумаги. Я решила посвятить часа три на то, чтоб пересмотреть их; выбрать, составить что-нибудь похожее на целое и завтра переписать набело. В этом намерении я вытащила из-под кровати чемодан, уселась подле него на пол, расшнуровала и, захватив рукою кипу бумаг, вынула ее на свет божий; и как же обрадовалась, увидя, что это одно из происшествий нашего дикого лесистого края: это злополучная Елена Г***!

Я толкнула опять чемодан под кровать, положила вынутые бумаги на стол, подле них приготовила несколько листов белой бумаги, чернил, перьев, песку; поспешно разделась,

легла, закрылась с головой и вот думала, что сейчас засну. Не тут-то было! Кажется, как будто я, вынудив описание жизни Елены Г***, вместе с этим вызвала ее с того света.

Хотя глаза мои были закрыты, но я видела ее; она являлась во всех изменениях: ребенком, девицею, молодою женщиною, красавицею, страшным уродом и, наконец, хладным посиневшим трупом, лохмотьями прикрытым! И когда доходила до этого последнего превращения, то опять начинала с того возраста, в котором я увидела ее в первый раз, грудным ребенком, сидящую в батистовой рубашечке на белой атласной подушке, обшитой блондами, и оканчивала тележкой, стоящею на улице под дождем и покрытой рогожею!.. Я потеряла терпение, встала, велела подать огня и села рисовать с натуры.

Вот передо мною описание жизни несчастной Елены Г***, и вот она сама в моем воображении переходит очевидно из возраста в возраст, из одного положения в другое; я слышу ее голос, детский плач, детский лепет, после веселый смех юности, вижу горькие слезы, бедность, позор, величайшую нищету, болезнь, ужасающую человечество, долгие страдания и лютую смерть!.. Товарищам моим и в голову не приходит, как страшно для меня мое полночное занятие!..

Я окончила свою работу, пересмотрела, поправила, переменяла, где должно, а на то и отнесла к моим товарищам, будучи утомлена как нельзя более от этой всеобщей сиденки.

На другой вечер была очередь Р.... Мы все собрались к Ар.... и с нетерпением ожидали прихода нового сочинителя; наконец, когда свечи уже подали и Ар.... начинал бранить медленность Р..., он явился с тетрадью в руках. «Милости просим, милости просим! — закричал ему навстречу Ар.... — По местам, господа!.. Посмотрим, Р..., чем-то ты нас обрадуешь!.. Столько ли твоя пиеса наделает между нами толков, споров, шуму, вздохов и восклицаний, как вчерашняя Елена с прекрасными, а после просто с красными глазами!..» — «Ну, господа, овому талант, овому другой!.. Условия не было писать умно, красноречиво, трогательно, грубо, глупо, поразительно; а просто писать, то есть описать что-нибудь кто как умеет. Итак, вот мое приношение; чем богат, тем и рад! Прикажете читать?» «Как же, как же! — закричал шалун С...., — читай! Обещаем тебе самое молчаливое внимание и самое внимательное молчание...» — «Господи! какой враль! Перестань, ради бога не мешай!.. Начинай, Р....» Р... вынул из принесенной тетради один только листок. Увидя это, С.... всплеснул руками: «Ну, пропали мы!.. Верно, опять стихи!» — «Да уймись. С...., дай ему начать... Впрочем, Р...., надобно признаться, что тощая наружность твоего приношения невольно обезоруживает... Но читай, читай, пожалуйста!.. Извини!.. Молчим и слушаем!..» Р.... начал:

— «Чего мы не делаем, к чему не прибегаем, чтоб только сократить время: трубки, вино, карты, музыка, женщины — все мало!.. все еще остается два часа лишних!.. Лишних!.. С этим нечего шутить!.. Два лишних часа, если не будут убиты, могут убить, и это еще меньшее из зол, каких они бывают причиною. Какой глупости не вздумает человек, имеющий пред собою два часа времени, которого не знает, куда девать, с кем провести, кому посвятить; одним словом, не знает, куда деться с ним, куда убежать от него?.. Ах, время лишнее, время лишнее! никто не хочет обратить внимания на тебя; а ты-то и есть источник всяческого зла, тебя-то и подстерегает враг рода человеческого, чтоб развернуть пред глазами праздного ума необозримый свиток обольщений всякого рода, вида, сорта, пола, цвета, возраста и количества!.. На нем купец находит для себя тот вид добросовестности, какой должно ему иметь, выхваляя покупателям доброту негодных товаров; погребщик — тайну подделывать дурное вино под хорошее так искусно, чтоб только одна расстройка здоровья употребляющих его давала им позднее понятие об этом;

кокетка — тот взгляд, тот жест, которыми, употребляя их вовремя и кстати, разоряет целые семейства и погружает их в бездну зол; полководец — ту проклятую мысль, что личная слава его должна быть им предпочтена славе отечества; наш Кордин — смету, что даром выкормит свою четверню башкирских жеребцов; Арский — те стихи, которыми убивает все, исключая времени, и, наконец, я, ваш покорнейший слуга, отыскал там вот эту галиматью, которую и имею честь представить вам на суд».

— Как! уже и конец?

— Конец. Воображение мое отказалось служить мне далее.

— Вот, что называется, поддел!.. Что ж теперь делать?.. Вечер только что начался; у нас уже не два часа лишних, а целых шесть!.. Ну, Р...., ты, который так хорошо разрисовал свиток сатаны, поищи на нем, куда нам девать, в чем провести большую часть вечера? Р.... подумал с полминуты.

— Извольте, нашел! Поедемте к Морозинскому: у него сегодня танцуют. Там будет красоточка, Варинька.

— С уважением. Р...., с уважением! Разве не видишь, как Дем.... вспыхнул?..

— При имени Вариньки? Нет, не этому божеству он поклоняется. «Смугла, свежа, румяна его прелестная Татьяна!»

— А! так вот перед каким огнем тает его сердце! Вкус не дурен! Прекрасная Негритяночка может хоть кому вскружить голову.

— Однако ж, воля ваша, господа, она уж чересчур смугла.

— Вот, чересчур смугла!.. Это, брат, будет заметно не прежде, как через пятнадцать лет; а теперь она с своими шестнадцатью годами, розовыми щеками, пунцовыми губами, черными, блестящими глазами и прекрасными жемчужными зубами, теперь она была, как лилия!..

— Ну, так что ж, господа, ехать так ехать!.. Полно вам рисовать красавиц, каких нет в натуре!.. Ваши описания перевернули и мой старый мозг вверх дном! Хочу увидеть эту Аравитскую лилию. Едем!

Это говорил Д.б.р.н.к.й, шестидесятилетний венгерец; он только что допил третий стакан пуншу, стукнул им по столу и хотел было реситировать похвалу выпитому нектару, но никак не мог склеить в памяти своей послания Давыдова к Бурцеву, где говорится что-то о шести стаканах пуншевых, в которых сокрыт небесный дар или жар — не помню и я так же, как Д.б.р.н.к.й.

— Едем, молодежь! — повторил старый ротмистр, вставая и вытирая платком усы, на которых блистали еще капли пунша.

— Как! и почтенные седины венгерские едут с нами? Бравый ротмистр наш хочет взять участие в этой ловле нежных вздохов и пламенных взглядов?.. А за эту честь мы все даем слово уступить ему место подле прелестной Негритянки на целый час...

— Да, если она просидит только на месте целый час.

[Оглавление](#)